АНТОН ЩЕРБАКОВ

ДЕСАНТ НА ОРЕХОВЫЙ БЕРЕГ

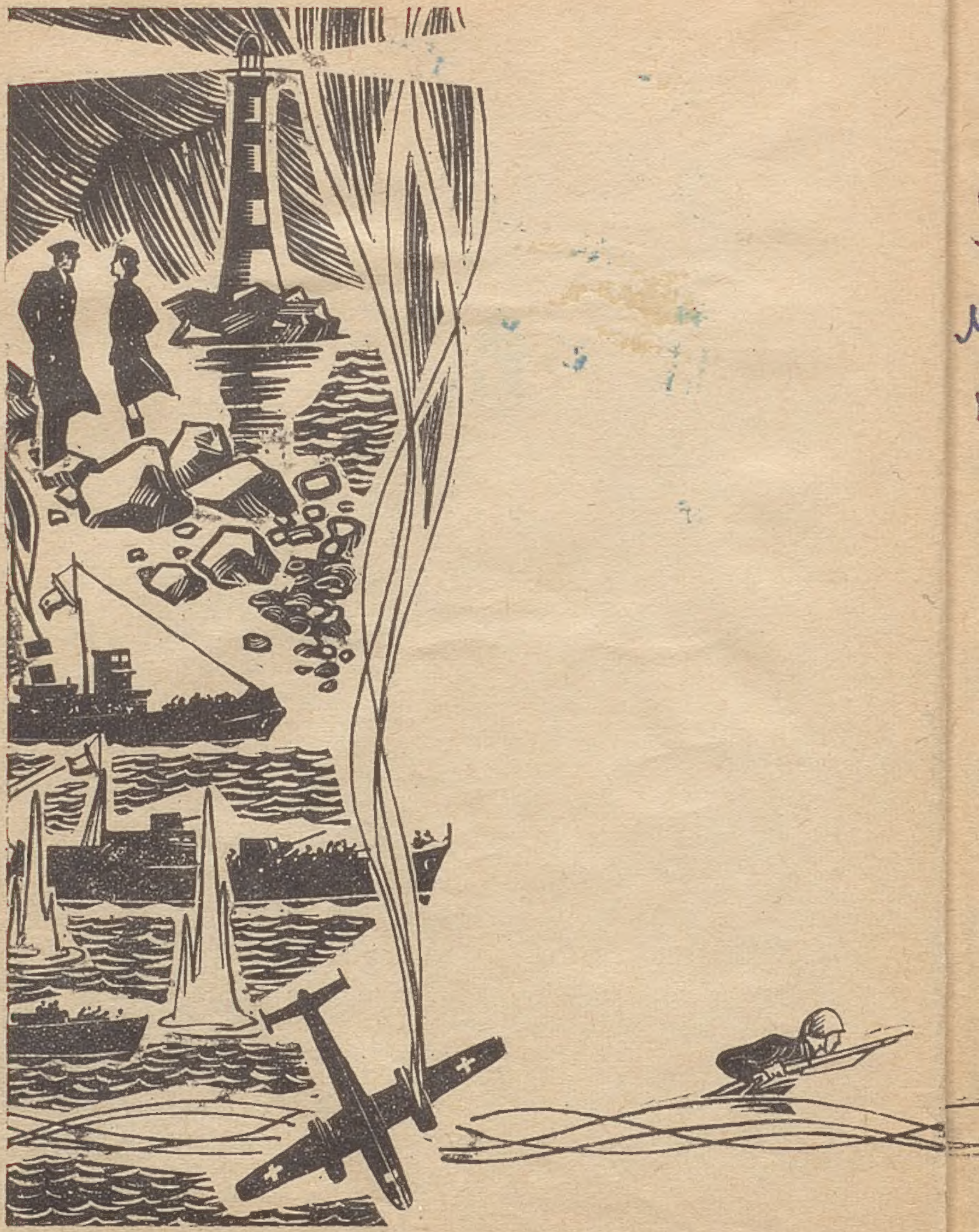
Антон Николаевич Щербаков родился в 1908 году. По основной профессии журналист, окончил Коммунистический институт журналистики в Ленинграде. Двадцать шесть лет служил на флоте. Войну начал на Балтике, позднее, в тяжелые месяцы блокады Ленинграда, служил на Ладожской флотилии.

Антон Щербаков пишет рассказы и повести о море, о моряках.

В 1962 году вышла его первая книга «Утро приносит заботы». Пять лет спустя — вторая книга «В солнечные и ненастные дни».

Сегодня мы предлагаем читателю новый роман Антона Щербакова «Десант на Ореховый берег», повествующий о действиях моряков Ладожской флотилии в трудные годы войны.

В
И



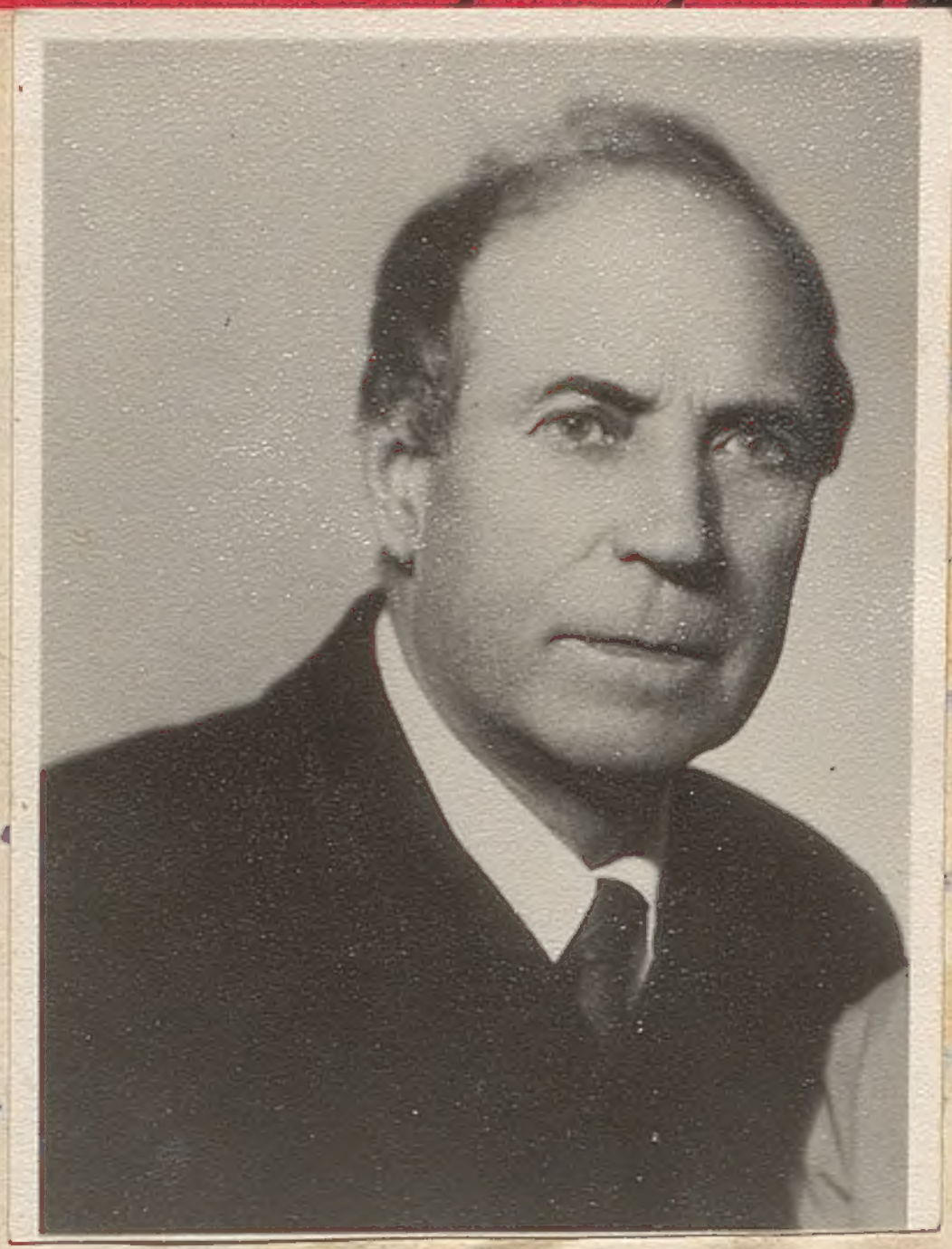
АНТОН ЩЕРБАКОВ

ДЕСАНТ на ОРЕХОВЫЙ БЕРЕГ

РОМАН

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1969

Р2
Щ61



Щербаков А. Н.

Щ61 Десант на Ореховый берег. Роман. Воениздат, 1969 г.

320 с. 100 000 экз. 50 к.

В новом романе Антона Щербакова рассказывается о высадке десанта на Ореховый берег, в нескольких километрах от Шлиссельбурга. Ценой героических усилий морякам-десантникам удается выполнить задание командования Ленинградского фронта.

Увлекательный сюжет, сильные характеры героев делают роман содержательным и интересным произведением.

7-3-2
321-69

Р2

Осиновец

Поселок Осиновец не только не обозначен на карте генеральной, но его редко встретишь и на картах областного масштаба. И это несмотря на то, что скромностью поселок не отличается — выпучился круглой, поперечнополосатой башней маяка и как бы кричит: «Смотрите и примечайте! Здесь, на западном берегу Ладожского озера, я самый важный».

Маяком, конечно, интересовались, особенно суда, изредка проходившие мимо.

Зимой поселок выглядел пустынно, а летом оживлялся: приезжало много дачников из Ленинграда.

С началом войны все изменилось. Осиновец неожиданно сделался видным пунктом, как бы воротами на большой дороге — Дороге жизни. Важность поселку придали штаб Ладожской военной флотилии — расположился временно — и военно-морская база. Правда, для базы ме-

сто было неприспособленное — берег необжитый, нет ни бухточки, ни причала, где бы корабли смогли укрыться от непогоды, разгрузиться, принять боезапас, топливо и продовольствие. Но выбирать было не из чего: северную, обжитую, часть берега пришлось поспешно оставить наседающим финнам, а к югу от Осиновца места были еще пустыннее, чем тут, да и немцы находились недалеко.

Осиновец имел и свои достоинства, одно, по крайней мере, несомненное — к нему подходила железная дорога, конечный пункт линии Ленинград — Ладожское озеро.

Итак, решение было принято. Засверкали топоры, зазвенели лопаты. Вскоре в озеро вдвинулся длинный причал, земля на берегу вспухла землянками и перерезалась траншеями. Отныне Осиновец будет местом сосредоточения судов и грузов. И главное, людей. Иные ничего не знают ни о Ладожской военной флотилии, ни о месте ее базирования, а судьба уже готовит им встречу в Осиновце.

Майор Лоблов — фигура колоритная, в свое время замеченная высоким начальством и чуть было не возведенная на верхние ступени служебной лестницы, но по случаю войны оставленная на перепутье. Теперь Лоблов в Ленинграде, по его выражению — «задвинут в резерв». Живет в казарме, скучает и поднимает свой моральный дух игрой в «козла». К флоту никакого отношения не имеет, и тем не менее скоро встретимся с ним на Ладоге.

Другой военный — лейтенант Стрепунин — не так заметен, небольшой, смуглявый. Хоть и носит черную шинель с золотыми нашивками на рукавах, но каждый скажет про него уменьшительно:

— Да-а, морячок...

Это он стоит в приемной госпиталя с девушкой в белом халате — грач и голубка. Говорит ей, словно признается в тайне:

— Выписывают меня, Софа. Пока в распоряжение штаба флота. А оттуда — сам не знаю куда.

Замялся. Еще что-то надо сказать, да нет решимости. Переступает с ноги на ногу, не уходит.

Незаметно у Софы теплых чувств к лейтенанту. Его слова скорее тяготят ее — вон как нетерпеливо одергивает халат и часто поглядывает на дверь, словно предлагая уходить.

Недоброжелательства он не замечает или притворяется простоватым — глядит преданно в лицо девушки и, собравшись с духом, говорит:

— Я напишу вам, Соня. Сюда, в госпиталь.

— Нет, нет, зачем же. Ни в коем случае, — горячится она. И добавляет как бы в свое оправдание: — И меня выписывают. Куда пошлют, как и вы, не знаю. Лучше не пишите.

Лейтенант отвел взгляд и опустил плечи. Не в его бы возрасте проявлять такую робость, что ли — ведь он раза в полтора, даже больше старше Софы. Но здесь, как мы видим, она устанавливает законы. Неожиданно проявляет к Стрепушину жалость, говорит:

— Мы еще увидимся, лейтенант. Да, увидимся.

И провожает его за ворота госпиталя, и машет ему рукой.

Уходя, Стрепушин держит равнение на ворота, словно там стоит его командир. Кричит, как приветствует:

— До свидания, Скорнякова!

В голосе слышится надежда на скорую встречу.

Капитан третьего ранга Коваль знает все флоты и флотилии в подробностях: на одних сам служил, другие

детально изучал. Как же иначе — заканчивает Военно-морскую академию. Вот и трудится в аудитории над разработкой операции, виртуозно вычерчивая схему. Жирная красная стрела показывает направление главного удара морских сил. Операция, понятно, учебная. А почему бы Ковалю не разработать и не провести нечто подобное на самом деле, в жизни? Сдаст экзамен и пойдет на действующий флот, а там... Едва ли такое возможно. Коваль штурман по специальности, и командную должность ему не дадут. Нет, не дадут.

Все же не может освободиться от мысли создать свою морскую музыку и самому продирижировать ее исполнение. У него вырывается:

— Да будет так! Будет!

У каждого своя забота. Капитан второго ранга Чирков за первые три месяца войны провел не одну операцию. Вот и сейчас высадил воинскую часть на левый берег Невы, к восьмой ГЭС. Победоносно воюет или нет — и сам сказать не может.

Серые шинели здесь перемешались с черными, сам же выделяется хромовым регланом. На взбудораженную волной и покрытую дымкой реку смотрит спокойно. Другие командиры настроены на эту же ноту. Говорят тихо, не желая выдать волнения голосом или резким жестом.

Противоположный берег не виден, но хорошо слышен. Там как бы идет боевое представление — вздыхают протяжно орудия, рвутся резко мины, прошивает строчку то один, то другой пулемет, отрывисто стучат автоматы.

Сквозь пальбу доносится стрекотание мотора. Лицо Чиркова заметно озаряется. Стрекотание нарастает, становится четким. В тумане обозначается катер, но с каждой минутой проступает резче, вон и кабина различима на корме. Мотор глохнет, и катер мягко врезается в берег.

Из кабины выскакивает мичман, пробегает по борту катера и вытягивается перед Чирковым:

— Высадились. Не продвигаются. Просят огня. Огнем помогите...

Операция продолжается.

На станции Званка теплушки вытряхнули из себя группу пехотинцев. Солдаты тут всё пожилые. Шинели топорщатся, не обвисли еще на плечах, пилотки как-то плохо идут к усам и бородам.

Молоденький лейтенант кричит:

— Смирно! — Подбегает к молодому майору и рапортует: — Группа построена. Всего триста шестьдесят один. Вместе со всем командным составом триста семьдесят!..

Через минуту группа замаршировала к берегу Волхова, чтобы сесть на речные баржи, спуститься до Новой Ладоги, там перейти на большую, озерную, баржу и плыть дальше.

Все они — майор Лоблов, лейтенант Стрепунин, Софа Скорнякова, капитан третьего ранга Коваль, капитан второго ранга Чирков и эта группа пехотинцев, которая марширует к реке Волхов, — все они вскоре устремятся в Осиновец. Но перед тем как им встретиться или не встретиться в Осиновце, на Ладожской военной флотилии произойдут важные события, о которых и будет рассказано в последующих главах.

Высадить десант!

— Вы спрашиваете, штурман, зачем нас вызывают в Новую Ладогу? — говорил пожилой командир, сидевший за столом. — А вы разве не догадываетесь?

— Может быть, генерал желает уточнить фарватеры?

— Нет. Генерал увеличит нам план перевозок. Раза в два увеличит. И протестовать нельзя. У Ленинграда одна отдушина — Ладожское озеро. Одна дорога — через нас. Хоть разорвись, а лямку вытяни. Да, когда у нас будет мерная миля?

Штурман стоял у стола, чуть наклонив голову, и был похож на тонкую черную птицу с большим, горбатым клювом. Ответил:

— Будет, товарищ капитан первого ранга. Скоро.

— А вы поточнее, капитан-лейтенант. Поточнее.

— Организуем.

— Когда же?

Капитан первого ранга встал — не по годам легкий, беспокойный. Вынул расческу в железной фигурной оправе, резкими движениями расчесал все еще густые, почти не тронутые сединой волосы.

Штурман поторопился заверить:

— В ближайшие два-три дня.

— Берите три дня. А то что это такое, Кулдачи? Не можем проверить ни скорости кораблей, ни их циркуляции. И еще...

Раздался телефонный звонок.

— И еще... — Снял трубку. — Я. Что тебе, Шостак? Сейчас ухожу. Фуражка в руке. Срочная? Так быстрее же... — Звякнул отбой. — Важная шифровка. Придется задержаться. Садитесь. Вот что еще мне надо — на всех судах определите и устраните девиацию...

Тут начался такой разговор, в котором без специальной подготовки и не разобраться. Сам штурман им тяготился: вынул из бокового кармашка хронометр, выразительно посмотрел на него и спрятал обратно. Этим он как бы намекнул капитану первого ранга: пора, мол, уходить. Тот так и понял, сорвал с аппарата трубку, набрал номер и нетерпеливо:

— Шостак? Жду! Дубровин, Дубровин, какое мне дело. Помоги ему.

Дал отбой, подтолкнул штурману коробку «Казбека», а сам опять потянулся к телефону.

В шифрпосту Шостак мудрил над цифрами, а Дубровин листал книгу и выписывал из нее слова на розовый бланк. Дело спорилось, но цифрового текста оставалось еще несколько рядов.

Резкий звонок прервал работу. Шостак оторвал от стола свою «разутую» голову — ему не больше двадцати пяти, а уже облысел — и сказал в трубку без малейшего волнения и суеты:

— Спеши-им. Как будет готова, так сразу... — И Дубровину после того, как опустил трубку: — Давай, старшина первой статьи, бегом, бегом...

В посту было снизо от дыма и сильно разило махоркой и клеем, а еще сильнее сургучом.

Дубровина подстегивать не надо — у него дело кипит в руках; как факир, угадывает он открыть книгу на той странице, которая нужна. Впечатление такое — не он ищет слово, а оно его. Сам крупный, и нос большой, приплюснутый, с седловиной, губы толстые. Дубровин полон сил.

— Ну вот и все, товарищ младший лейтенант, — не сказал, а протрубил он.

— Гм-гм, да, все, — как бы удивился Шостак. — Ты регистрируй, а я побегу. — Вложил шифровку в папку и размашисто, деловито зашагал из поста.

Капитан первого ранга с телефонной трубкой в руке был, как говорится, на последней грани терпения. Увидев Шостака, он не положил трубку, а тяжело придавил ею рычаг телефона и будто бы сразу освободился от первозности, сел и сказал почти спокойно:

— Выкладывай свою важность. — Было заметно: ему приятно видеть этого лысого младшего лейтенанта.

Шостак положил на стол раскрытую папку.

— Десант! — воскликнул капитан первого ранга, взглянув на первые строки шифровки. — На Ореховый берег. Впервые слышу такое название. Ореховый. Недалеко Шлиссельбургская крепость. Стоит на острове Орешек. Отсюда идет, видно, и условное название берега. Ну, Шостак, испортил ты мне всю обедню.

— Такое уж наше дело.

— Слышите, Кулдачи, десант. В самое неподходящее время.

— Поломаем перевозки,— отозвался Кулдачи.— И как теперь с мерной линией?

— Какая там линия! Не до нее. Самому бы мне с этим десантом. Самому! Да вот младший лейтенант запрещает. Не дело, говорит, командующему флотилией подменять своих подчиненных. Партизанщиной, говорит, пахнет. Так, что ли, Шостак?

— Да, так Москва пишет. А я передаю то, что получаю.

— Ладно, ладно, шучу. Высадить десант. Только погода совсем не десантная. Штормит. Но довольно философствовать, пора копать грядки. Товарищ Шостак, срочно ко мне начальника штаба, командиров оперативного отделения, связиста, механика. Высадим десант.

Первая ночь

Десантная группа выглядела разношерстной: тут были ученики-водолазы — народ крупный, широкогрудый, в черных шинелях с сияющими пуговицами; зеленели петлицами курсанты погранучилища; строители выглядели скромно — темные петлички, ватники, помятые пилотки. Матросы с погибших кораблей переметались с зенитчи-

ками, оставившими взорванные батареи врагу. Всего сто восемьдесят пять человек.

Сколотили и отряд плавсредств из «КМ» [1] и «ЗИСов» [2], дали отряду бронекатер для прикрытия, а в лидеры поставили транспорт «Ильмень» — судно, перед самой войной спущенное со стапелей, с надежными навигационными приборами — выведет всю мелюзгу в назначенную точку.

Люди есть, и есть на чем доставить их к месту высадки. Для переброски людей с катеров на берег дали десанту понтонные лодки, которые много лет пролежали в погранчасти мертвым грузом. Теперь отработают свое, послужат войне.

На полпути к месту высадки гидрографы выставили судно «Сатурн» — все честь по чести.

Командиром отряда кораблей назначен капитан-лейтенант Кулдачи. Он же флагманский штурман флотилии. Кому же, как не ему, знать район высадки. Доставит десант на место, а уж там, на берегу, бойцов поведет капитан Железякин — пехотинец, строевик.

День выдался мозглый. Рано наступила ночь. Небо почернело и нависло над Ладожским озером папахой. Ветер, волна — не шум, а рев сплошной. Иной час дождило, и тогда наплывала такая непроглядная темень — на катерах из рубки не видно было, что делается на носу.

Все катера ошвартовались у причала. Не без потерь, конечно. Один поломал лесерные стойки, другой заполучил вмятину. Первыми сели на катер водолазы. Один из пограничников им крикнул:

— Ну как, матросы, поплаваем?

Кто-то из водолазов ответил:

— Нам-то что, у нас костюмы, а вот вы...

---

[1] «КМ» — катер мореходный, предназначенный для прибрежной сторожевой службы.

[2] «ЗИС» — разновидность мореходного катера.

Сели строители. Их катер немилосердно болтало: то подбросит вверх, то палуба провалится из-под ног. Мокро, сапоги скользят. Кубрики не вместили всех бойцов. Многим пришлось хлебнуть ветерка на палубе. Стоят, стучат зубами, мешают команде. А вокруг шумит, пенится черное озеро. Только и утешение — дождаться очереди да нырнуть в кубрик, чтобы обогреться. Но и там беда — задыхаются десантники от спертого воздуха, укачиваются, мутит их.

Наконец десант посажен. Катера окружили на рейде транспорт «Ильмень», как мошки жука. Действительно — москитный флот!

Командиры катеров — парни задорные, только зелены еще — о совместном плавании понятия имеют весьма смутные, компасы у них непроверенные. Катера прибывают на флотилию по железной дороге. Как только столкнут их на воду, сразу же посылают в дело.

Кулдачи знал недостатки своего отряда больше, чем кто-либо другой. За навигационное обеспечение отвечает своей головой. Сам он пошел на транспорте. Стал вопрос: как вести москитный отряд? Не дать ли ему свободное плавание? При таком волнении? Да все суденышки разбредутся в разные стороны, как мальки, выпущенные из аквариума в море. Пойди их потом собери.

Пришла счастливая мысль — взять катера «КМ» и «ЗИС» на буксир. Чего проще! Переход всего каких-нибудь пятнадцать миль. При самом малом ходе часа три пути, не больше. Заводи буксиры. Транспорт примет головной катер, тот — своего соседа, и так по цепочке.

Очень счастливая мысль.

Транспорт «Ильмень» удачно подал на «КМ» трос, и там его без проволочки закрепили. Дальше пошло хуже. Вторым «КМ» командовал мичман Бычанинов. Он боялся столкновения, не хотел близко подходить к впереди идущему катеру и по-своему был прав: волна, ночь — того

и гляди сам разобьешься или соседа протаранишь. Бросали легость, кричали в мегафон, сигналили ратьером[1]... Долго возились с катером Бычанинова. А за ним стояло еще семь суденышек. До понтонных лодок дело дошло в третьем часу ночи. Вытянулся караван почти на полкилометра. Видеть было нельзя, но вообразить-то можно эту картину — транспорт «Ильмень», а за ним девять катеров и десять лодок.

На транспорте подняли якорь и дали малый вперед. Затем полный. Волна бьет в скулу транспорта, окатывает палубу, брызги долетают до мостика. И это на судне с высоким корпусом! Что же делается на катерах?

Натужно бьется внизу машина, невесело поют снасти, словно о беде.

За кормой транспорта заморгал ратьер. Сигнальщик доложил:

— Оторвало четыре катера...

Не было печали. Надо же их найти. Легко сказать — найти. Попробуй-ка в кромешной тьме да с хвостом из пяти катеров.

Все же нашли. Вторично взяли на буксир.

А время глухо к человеческим бедам, оно идет само по себе.

Транспорт лег на прежний курс — к берегу высадки.

Но если уж не повезет, то на одном и том же месте споткнешься десять раз. Снова оборвался буксир. Да и как ему не оборваться, бешеная волна разыгралась! Ну какие там тросы на катерах, разве им выдержать такую нагрузку? На беду Кулдачи донесение пришло слишком поздно. Оторванные катера отнесло далеко. Транспорт рыскал по озеру туда, сюда. Наконец! Вот они оторвавшиеся суденышки.

---

[1] Ратьер — фонарь для передачи сигналов направленного действия.

...Наступил рассвет. Внезапность потеряна. Высаживать людей нет смысла: фашисты их заметят и перебьют. Муторно у Кулдачи на душе, только он ничем не обнаруживает своей тревоги. Отдает приказание:

— Отряду возвратиться в базу.

Приказать нелегко, а еще тяжелее идти в эту самую базу.

Пришли в базу. Явился он, капитан-лейтенант Кулдачи, к командующему Ладожской военной флотилией, стал перед ним навытяжку и отрапортовал:

— Товарищ капитан первого ранга. Приказание ваше не выполнил. Десант не высадил.

Ну конечно же, Кулдачи доложил не так. Нашел более обтекаемую форму — начал со шторма и кончил им. Заключил:

— Все сделал, что было в силах человека.

Не сказал — в моих силах. В силах человека вообще — куда удачнее.

Командующий всю ночь не спал, все тревожился за десант. Ему надо в Ленфронт доносить, над ним тоже стоит неумолимый судья!

— Та-ак, — сказал капитан первого ранга. — Не высадили. Сорвали приказ Ленфронта. А я-то на вас надеялся. — Закончил с сожалением: — Эх, самому бы мне!

Недовольны остались и водолазы — уж очень настроены были на боевой лад, знали — их «одиссея» продолжится в следующую ночь. Какова-то она будет, эта новая ночь?

Пограничники и строители радовались. Озеро совсем их измотало. Радовались по-детски. Посиневшие, с красными глазами от бессонницы и ветра, они жаждали одного — тепла. Да еще мечтали о горячем обеде. Но это уже роскошь: они же получили сухой паек. Однако почему и не помечтать?

Вторая ночь

За день произошли изменения. Часть пограничников отправили в Ленинград. На фронте образовалось много дыр, пограничниками закрыли одну из них. Убыль десанта частично восполнили бойцами береговой батареи, снятой с острова Коневиц. Отказались от катеров «ЗИС» как от судов малоемких. Весь десант посадили на шесть «КМ», два из которых были сегодня сняты с железнодорожных платформ. Каждый катер взял на буксир по одной понтонной лодке.

Помня вчерашний печальный опыт, Кулдачи отрешился от буксировки катеров, они шли своим ходом. Сам командир отряда вместе с Железякиным сел на «КМ» мичмана Бычанинова.

Ночь благоприятствовала высадке. Ветер ослаб до четырех-пяти баллов, озеро меньше бесновалось, и тьма не была столь непроглядной, как вчера. На волнах просматривались белые гребешки. И вышел из базы отряд рано, до полуночи, взяв курс на Шлиссельбург. Теперь Кулдачи исправится, проведет отряд к Ореховому берегу.

Прошлую ночь Кулдачи проболтался с десантом в озере, днем готовился к новому переходу, глаз не сомкнул, а смотри-ка — бодр, энергичен, уверенно управляет своей маленькой эскадрой. Ветер на мостике «КМ» продувает его насквозь, и это хорошо — прогоняет сонливость. Кулдачи то следит за сияющей картушкой компаса, то подносит к глазам тяжелый, шестнадцатикратный цейсовский бинокль и впивается в серую муть — не замаячит ли какой-либо знакомый предмет, чтобы по нему определиться. Нет, берег далеко, не видно предметов.

А это что? «Сатурн»! Округлые очертания корпуса — конечно же он.

Гидрограф мигает ратьером, дает позывные.

Теперь Кулдачи знает, где он.

Все катера в строю. Концевой предупредительно доносит: «Все в порядке». Кулдачи сумел провести отряд половину пути, доведет и до места.

Но где «Ильмень»? Нет его, оторвался от отряда. Теперь дойдут и без лидера.

Идут прямо на юг.

По расчетным данным, берег находится недалеко.

Катер задрал нос, взмыл на гребень волны и стремительно покатился с нее, как с горки. Резкий, встряхивающий удар килем. Еще! Закурлыкало днище. Чувство у людей такое, словно прыгнули с мостика на палубу и отбили себе пятки.

Бычанинов забористо выругался:

— Банка, в селезенку ее... Камни.

Забренькал телеграф. Приказ мотористу:

— Самый малый!

На камни наскочили — легко и утонуть вместе с катерами. Это понимали все, поэтому никого не удивила команда Бычанинова:

— Стоп мотор!

Пора начинать высадку. Работы хватит — лодки малы, придется сделать на них не один рейс. Кулдачи обратился к Железякину, стоявшему тут же на мостике:

— Начинайте высадку, капитан.

— Слушаю, — отвечает тот, а сам неясно представляет, что от него требуется. Это проклятое море! Шагу не ступишь без поручней, того и гляди переломаешь ноги, а то и хуже — сыграешь за борт. Кричит десантникам:

— Начать высадку!

Матросы-катерники бегают по палубе, как по мостовой, для них катер словно и не танцует, и не кренится. Подтянули лодку к корме — тут волна тише и ровнее, ободряют воинов:

— Когда волна спадет, тогда и спускайтесь.

Десантники все больше народ молодой, армейской каши мало ели, а морской воды и вовсе не хлебали. Многих измотала морская болезнь, стали вялыми, как бы опоенными.

Подошел боец к краю кормы, лег на палубу животом, долго нащупывал ногой опору за бортом, но, и нащупав, не доверял неустойчивой, зыбучей лодке.

Матросы подают советы:

— Смелее ты, орел...

— За трос держись, за трос, браток!

— Прыгай!

Кулем свалился солдат. Столкнули в лодку и его винтовку.

Опускается еще боец. И еще...

Идет Железякин. Идет смело, только прыгающая посудина ускользает, никак не может поймать ее ногой. Ругается. Но и он в лодке. Отдают швартов. Неуклюже работают весла. Лодку несет ветром. Набегает вал и сильно ее кренит. Чтобы выровнять крен, десантники шарахаются к вздыбленному борту; поддает волна — лодка опрокидывается.

Ругательства. Вопли. Орет во всю глотку сигнальщик:

— Человек за бортом!

Катер отрабатывает малый задний. В озеро летят спасательные круги, пояса, концы...

Кулдачи не теряет головы, командует:

— Осторожнее, мичман. Не заруби винтом...

Тонущих вылавливают. Кто в силах, сам хватается за поданный трос, а иных подтаскивают крюком, выхватывают на палубу и сразу же отводят или относят в кубрик. Вытаскивают, как осетра, и командира десанта Железякина. Он спрашивает:

— В-в-все т-тут?

Кто-то говорит:

— Не выпули Глазкова.

Катер ходит вперед-назад, поворачивает в стороны, видны только валы да пена поверх них. Утонул Глазков — первая жертва десанта.

С другого катера доносят:

— Опрокинулась лодка... Вылавливаем людей...

Железякин еле ворочает языком:

— Пре-ек...тить высадку. Всем пре-ек-кратить.

Кулдачи протестует, но нетвердо:

— Второй раз сорвать десант, второй...

Капитан стучит зубами:

— Прек-кра-ратить... — И уходит в кубрик.

Еще на одном катере не досчитались бойца.

Близок рассвет.

Кулдачи, чертыхнувшись, командует негромко:

— Возвратиться в базу.

Самому-то зачем возвращаться? Палуба сырая, скользкая, споткнуться да за борт — и всем унижениям конец. И не надо будет встречаться с командующим флотилией. Второй раз рапортовать о неудавшейся операции. Это сверх всяких сил.

На пути в базу встретился транспорт «Ильмень». Он сильно уклонился к востоку, был недалеко от Бугровского маяка, а теперь на верном курсе, дымит, спешит туда же, в базу.

Опять, как и вчера, Кулдачи стоит навытяжку перед командующим и докладывает:

— Волна. Не смогли... Опрокинулись лодки...

В тонких, подвижных пальцах командующего цветной карандаш. Пальцы давят на карандаш, пробуют согнуть его, но он ломается. Командующий бросает обломки под стол и говорит:

— Вот так и вы меня сломали.

— Но, товарищ...

— Сломали. Что я донесу теперь в Ленфронт?

— Шторм, — еще пытается оправдаться Кулдачи.

— Отговорка для школьников. — Встал, вынул любимую расческу в фигурной оправе, неторопливо поводил по голове. Снова сел. Сказал еще суровее: — Шторм, камни. Почему бы не добавить — песок, ил... Позор! Командир десанта приказал, видите ли, прекратить высадку. А кто хозяин на переходе? Я вас спрашиваю — кто? Командир отряда, вот кто. Повторяю — командир отряда. Но как только бойцы ступят на землю, они переходят в полное распоряжение командира десанта. Так говорит устав. — Достал из ящика стола синюю книжицу, нервно перелистал ее, ткнул Кулдачи: — Вот, почитайте. А вы! Не командир, а... Даже и попытки не сделали подойти ближе к берегу. Да лучше бы катер потеряли...

Командующий вспыхнул и перегорел. Пришли усталость и раздумье. Надо бы заменить Кулдачи другим командиром. А лучше ли будет тот, другой? Этот свыкся с десантом, знает путь к Ореховому берегу. Еще не может простить Кулдачи двукратного срыва операции, но говорит уже в спокойном духе:

— В последний раз... В самый последний. Я знаю — операцию эту нам не простят. Это так, не простят. Железякина заменю. Пойдет командиром десанта подполковник Фрумин — разведчик.

Две бессонные ночи, две неудачи, огромная физическая и моральная нагрузка сделали свое дело: Кулдачи вышел от командующего шатаясь, словно угостили его добрым стаканом неразбавленного спирта.

Третья ночь

Из шести вчерашних «КМ» четыре покалечились: кто пробил себе борт, кто днище, поломал лопасти гребного винта, погнул перо руля... Поставлены на ремонт.

У причала стояли рыбацкий барказ и два мотобота. И их использовали под десант. Барказ принял сорок че-

ловек, мотоботы по пятнадцати. Два исправных «КМ» вместе взяли тридцать учеников-водолазов, шесть пограничников и четырех строителей. Десант невелик, а все же сформирован.

Решено: барказ и мотоботы потянет буксир «Богатырь». Транспорт «Пельмень» прошлой ночью заблудился, потому вышел из доверия и отставлен от похода. Отряд в точку выведет «МО-406». Его, правда, у причала еще нет, но скоро должен быть.

Начало операции удачное, посадку людей на суда закончили в двадцать один ноль-ноль.

Но где же «МО-406»?

Суденышки сильно било о пирс. Кулдачи решил: пусть «Богатырь» с барказом и мотоботами отдадут швартовы и выйдут на рейд.

Буксир отвалил от пирса.

Над озером ветер бесновался, вода клокотала, заполняя все вокруг мелкой пылью. Когда волны прошлись по палубе «Богатыря» от форштевня и до кормы, когда вода хлынула в кубрик и машинное отделение, командир буксира взмолился о помощи, ратьером передал на береговой пост сигнал бедствия: «Не могу управляться!»

Кулдачи и новый командир десанта Фрумин находились на «КМ». Получив сигнал с «Богатыря», они подошли к нему и своими глазами оценили бедствие. Кулдачи приказал:

— Возвратиться к причалу.

Решил: место «Богатыря» займет «МО-406». Только где он? На рейде, где же ему быть? На розыски морского охотника послан «КМ». Должен возвратиться скоро.

Ветер воет, волна плещет в сваи, поднимает и опускает суденышки, бьет о стенку причала. Трещат борта, корежатся шпангоуты.

Прошел час — посланца нет. Еще час. Время перева-

лило за полночь. Наконец «КМ» возвратился. Один. Командир виновато докладывает:

— Не нашел.

Расспросы, упреки. Один ответ:

— Не нашел. Весь рейд перепахал до самой бухты Морье.

Снял Кулдачи фуражку, потер висок, опять надвинул поплотнее и сказал:

— Высадим десант. Ваше мнение, подполковник?

— Сколько высадим?

— Что есть на катерах, с теми и пойдем.

— С сорока штыками?

— Хотя бы.

Было бы чудовищно сорвать операцию в третий раз. Такого Кулдачи допустить не может. Это с его точки зрения. Но Кулдачи решать легко. Он доставит людей к месту высадки и вернется восвояси. Подполковник Фрумин останется на берегу, в тылу врага, с горстью людей. Всего лишь сорок! Не лучше ли отложить операцию еще на один день? Нельзя этого делать. Ленфронт нетерпеливо торопит с высадкой. Ленинград окружен врагом, враг рвется раздавить город. Какие надежды связывает Ленфронт с высадкой десанта, ладожцам знать не дано.

Подполковник расстегивает ворот ватника — жарко на этом леденящем ветру. Отвечает:

— Ну что ж, высадим.

— Итак, на двух?

— На двух.

Пошли средним ходом. Самый полный развить невозможно: палубу захлестывает волна.

Как и в прошлые ночи, бойцы поочередно ходили в кубрик греться. Их даже пускали в машинное отделение. В жаре и духоте, где воздух перенасыщен парами бензина, запахом масла и краски, десантников особенно мучила тошнота, даже привычных к морю водолазов. Терпели все,

лишь бы не выходить на ветер, обжигающий тело. Волна колотила в борт, корпус катера потрескивал, скрежетал креплениями, а волна, как молот, все бух, бух. Еще один-два удара — и не выдержит эта тонкая, такая чувствительная обшивка, захлебнется катеришко.

Нет, мотор стучит, стрекочет винт — идет суденышко. Только нескончаемым кажется переход.

Наконец мотор приглох, перешел на низкие ноты, замедлился ход катера, ровнее, спокойнее стала качка. Подана команда:

— Десантникам наверх!

Мичман Бычанинов к Кулдачи:

— Дальше опасно.

— Идите! — приказывает Кулдачи.

— Камни. Я отвечаю за корабль.

— Идите!!

— Все погибнем.

— Какая глубина?

— Полтора метра.

— Не погибнем, мичман. Уверяю вас, не погибнем. На берег при такой глубине выберемся, пойдем вместе с десантом.

— А-а, мы-ы, — промычал мичман и приказал мотористу: — Самый малый!

Катер подошел к темной полосе, обозначающей берег или еще там что. Матрос доложил:

— Глубина один метр.

— Стоп мотор! — приказал Кулдачи.

На палубе все двадцать. Половина из них в легких водолазных костюмах. И сам Фрумин в резине и со шлемом на голове. Другая половина — в шинелях и ватниках. Один такой спросил:

— На чем же мы туда?

Ему ответили:

— Сейчас подадут сходню.

Никто не рассмеялся.

Фрумин несколько нервно:

— Всем в воду — марш!

Водолазы сползают с борта — не порвать бы резиновые костюмы, а вещевые мешки не замочить, в них жизнь: сухой паек и боезапас.

Бескостюмные пятились от ревущих, в белых гребешках волн. Кто-то уже успел вдоволь хлебнуть студеной водицы вчерашней ночью. Тогда лодку опрокинуло. А теперь сам прыгай в море и наслаждайся ванной. От одной мысли бросает в дрожь.

У Фрумина голос недовольный, с высокими нотами:

— Что же вы!

Бойцы подошли к борту, стали примеряться. Первым соскользнул в волны боец в шинели, должно быть пограничник. Очутившись по грудь в воде, не растерялся, озорно сказал:

— Ну и ванна. Ха-араша!

Ободренные примером, сползли в воду и другие десантники. Бултыхнулся и подполковник: нельзя отставать от группы, чего доброго, и потерять можно.

На палубе остался одинокий боец — никак не хотел идти в озеро. Нельзя мешкать — восток светлеет. Кулдачи уговаривает:

— Заблудишься. Спеши к товарищам.

Слова нисколько не трогают бойца.

Кулдачи сердится, кричит:

— Живо в воду! Приказываю!

Боец невменяем, руки словно приварились к поручням, дрожит мелкой дрожью.

Кулдачи приказывает матросам:

— Помогите ему.

Подошли двое, разжали десантнику руки, приподняли и опустили...

Холодный душ, видимо, подействовал, кое-как боец

побрел вслед за товарищами, поднимая над головой винтовку.

На другом катере высадка прошла успешнее — там были одни водолазы.

Десант высажен. Приказание штаба Ленфронта в какой-то мере выполнено. Это уже победа! Победа? Так ли?

Сдать дела...

Телеграмму командующему принес все тот же младший лейтенант Шостак. Невысокий, ходит вразвалку, в плечах не по росту широк. Чем-то понравился капитану первого ранга этот медлительный украинец. Может быть, немногословностью, а вернее всего — неутомимостью. Ночь ли не спит, две ли — ему хоть бы что, всегда ровен и тянет, тянет свою лямку, возится с радиограммами. Шостак несменяемый спутник командующего во всех ладожских походах.

Разные депеши отправлял и докладывал Шостак. Много их. Были и радостные, и неприятные. Сейчас передал исключительную. В ней приказание:

«Сдать дела и прибыть Москву».

Который-то раз командующий пробегает телеграмму глазами, по привычке вынимает расческу и проводит ею по непокорным волосам. Ему за пятьдесят, но какой еще представительный. Волосы не по возрасту густы и черны. Нет, на висках все же чуть заиндевели. Прячет расческу и достает из ящика стола коробку «Золотое руно», а из коробки трубку. Постоянно курит папиросы, а теперь необычный день — на трубку потянуло. Набивает ее табаком и декламирует:

Золотое руно, золотое руно,
Говорят, что несет людям счастье оно...
Без ума полюбил я, поверив молве,
Золотое руно на ее голове.

Прикурил трубку, затянулся, сказал:

— А какое твое мнение, Мина Ивановпч?

Шостак переступил с ноги на ногу и начал:

— Мое мнение? Да я что. Ничего не могу сказать.

— Увольняют нас. До потолка доросли. Дальше некуда, надо сгибаться. Сожмись, сожмись, капитан первого ранга Дорошкин. — И он ежится, сутулится.

Война идет три месяца, всего три, а кажется: прошли годы. Когда он, Дорошкин, вывозил с финского берега отрезанную от своих войск нашу дивизию? Полтора месяца тому назад. Всего лишь полтора месяца? И еще. Больше тридцати тысяч переправил. Снимал гарнизоны с Валаама, Коневиц... В этом месяце? Да не может этого быть. Набег на остров Лунсаари... Удивительный набег. На сторожевике «Конструктор». Ворвался в пролив ночью и ударил — носовым орудием направо, по острову, а кормовым налево, по материку. С материка ответные снаряды, воют над головой, проносятся дальше. Что за оказия? Лишь потом разобрались. Финны эсминца не заметили, переполошились, решили: советские войска захватили Лунсаари, а потому — не жалей снарядов! — открыли по своим частям губительный огонь. Очень помогли тогда «Конструктору» сами же финны расправиться с их батареей на острове.

Глаза командующего, теперь уже можно сказать — бывшего командующего, теплеют и увлажняются. Ах, телеграмма... Тикают на руке часы, как бы выговаривая: «Сдать дела! Сдать дела!»

Высадка десанта на Мантисаари, бои в Ирбенском проливе...

...Северная Двина. Давно это было, а как хорошо просматривается. Район Котласа. Пароходы, катера, баржи — все собрали белогвардейцы, все бросили на красных, чтобы прорваться к своему главарю — Колчаку. Соединиться с ним во что бы то ни стало! И красные кое-что наскреб-

ли. Тогда он, Дорошкин, — всего-навсего артиллерист на пароходе «Рыбинск». Молодой, лихой — девушки заглядывались. Отличился. Потопил один катер, второй. Зажег баржу... Отбили натиск белогвардейцев. И за это награда — орден Красного Знамени.

Проводит рукой по груди, там не один орден — целое отделение. Но первый, он, как первая любовь, неувядающая и неповторимая.

— Десант нас сокрушил. Десант. За три ночи — сорок человек. Курам на смех. Да, десант. Так что же, товарищ Шостак, будем сдавать дела?

Поражение командующего Шостак переживает, как свою личную невзгоду, недаром за какой-нибудь последний час так обострилось его лицо и резко выступили скулы. Отвечает:

— Приходится сдавать. Только...

— Ну что, что только?

— Не конец войне. У нас еще будут походы...

Не будь выскочкой

Десант свалил не только командующего. Не удержались на своих местах многие командиры штаба флотилии. На место Кулдачи прибыл Коваль, сюда его направили из Военно-морской академии.

Появился на флотилии и лейтенант Стрепухин, еще так недавно простившийся в госпитале с Софой Скориковой. Он пришел в штабной домик. Мелькают синие кителя, черные шинели, голубые матросские воротники. Дверь вторая справа — вот она. Стрепухин негромко стучит. Слышится хриповатый голос:

— Войдите!

Вошел. Комната крохотная. В ней двое — за столом и на топчане. За столом — старший, хотя и похож на мальчика, на голове ежик, лицо румяное, плечи узкие.

У того и другого на рукавах по три золотые ленты, только просветы разные: за столом — малиновые, на топчане — черные.

Стрепунин ест глазами человека с малиновыми просветами на рукаве. Фуражку долой, руки по швам, в голосе металл, в словах четкость:

— Товарищ батальонный комиссар... для дальнейшего прохождения службы...

— Обождите, лейтенант.

Голос у комиссара шепелявый.

— Шадитесь. — Это сказано быстро, скороговоркой.

Сел Стрепунин на самый краешек топчана. Фуражку на колени, плечи развернул, грудь выпятил.

Командир с черными просветами говорил веско, сознавая важность своих слов:

— Может быть, ничего реального и нет, а есть лишь одни слухи, одни непроверенные слухи?

— Возможно, возможно, — частил комиссар. — Вот и надо срочно (у него получилось — шрочно), как можно быстрее, быстрее проверить. Для этого тебя и посылаем, тебя, капитан третьего ранга, строевого морского командира.

— Искать по всему побережью...

— Каплодка «Нора» идет. Слышишь, «Нора». В Новую Ладогу. Снимается с якоря в двадцать. На ней ты... В отдел тыла. Возьмешь продуктов, глиссер — и по каналу, всё по каналу. Пройдешь Кабону, Лаврово, Бугры. Там они и есть, наши десантники.

Десантники, вот оно что!

Комиссар твердит:

— Запиши — деревня Липки. Там полк. Завтра быть в полку. Кто знает, может быть, люди голодают.... — Комиссар частил, словно его регламент был на исходе: — Где были наши десантники, что видели, сколько потеряли — ничего не знаем. Торопись и держи с нами постоянную связь...

Дальше Стрепунин не слушал. Перед ним возник ад у Старой Руссы. Два батальона было: один составляли коммунисты и комсомольцы, а другой — штрафники. Удивительное сочетание: самые сознательные, передовые люди шли рядом с преступниками, и все дрались во имя одной идеи — защиты Советской власти. От двух батальонов едва ли осталось тридцать человек. Стрепунина, контуженного, вынесла с поля боя Софа Скорнякова, та самая Скорнякова, которую он, еще совсем не зная ее, так сильно презирал. Жениха Софы, Нефедова, он посадил на гауптвахту, а после отправил на передовую линию, откуда тот и не вернулся. Каких только сочетаний дел и событий не бывает в жизни!

Его вернул к действительности голос комиссара:

— Получите документы, капитан третьего ранга.

Стрепунину показалось, что ли, будто капитан третьего ранга не желает идти к десантникам. Возьми да и брякни:

— Пошлите меня.

Комиссар сказал, только не Стрепунину:

— Идите, идите.

Работа найдется

Неловко Стрепунину — толкнул же бес, высунулся. Школяр, право школяр. Не подумал о том, что ты для флотилии первый встречный, на́ вот тебе, бери сразу ответственное задание. Как бы не так. И теперь промолчал бы. Ну зачем это:

— Вас, товарищ комиссар, я помню.

Не отозвался комиссар. Тактичности нет у тебя, Стрепунин. Нельзя старшему напоминать, что ты его знаешь — неизвестно, приятно ли это ему. Где там, Стрепунин уже разбежался, не может остановиться:

— В электромининой школе. Вы секретарем комсомола, а я электриком. Потом меня перевели...

Неловкая пауза.

— Ну что же, — говорит наконец комиссар, — рассказывайте.

— Контузия. Госпиталь.

— В какой воевали части?

Самое тяжелое — назвать часть. Стрепухин не может смотреть в глаза комиссару, видит его руку, тонкую, женскую. Она себе места не находит — перебирает бумаги, что-то чертит на них карандашом. Пересилил себя лейтенант, говорит не комиссару — в пространство:

— Штрафник.

Уф! Перепрыгнул зловещую черту, стало легче.

— Штрафни-ик?! За что же! И на какой срок?

— На месяц. За документы.

— Как? Вы же, насколько я помню...

— Да. Был.

— Потеряли документы особой важности?

— Нет, не потерял.

— Украли у вас?

— Не знаю.

— Так что же?

— Послал двоих на передовую. Не вернулись. С ними были документы — скомпрометированы.

— А вы тут при чем?

— Не тех людей послал. Особенно одного — Нефедова. Приказано было отобрать лучших, а я его... Недисциплинирован.

— У вас все такие проверенные. Неужели ваши, те двое, изменили? Сами-то верите им, особенно этому, как его — Нефедову?

— Верю.

— В чем же он проштрафился?

— Увлекся девушкой. Самовольно покинул штаб, на свидание ушел. Я его на гауптвахту...

— Ну-у. Самоволка и предательство. Дистанция слишком велика между этими делами. Вы женаты?

— Не-ет.

— Пора бы. И девушками не увлекаетесь?

На щеках Стрепунина сквозь смуглоту проступила краска. Он увлекся. И кем же? Да Софой Скорняковой. Той самой девушкой, из-за которой посадил Нефедова на гауптвахту.

Комиссар понял его молчание по-своему, сказал:

— Сейчас не до баб, хотя и не все с этим согласны. Да, не все. Кое-кому и война не война. Живут на отдельных квартирах, позавели себе кухарок, черт бы всех их побрал. И долго были на передовой?

— Два дня. На расширении коридора под Старой Руссой.

— Расширили?

— Какое там! Подтянули фашисты дивизию «Мертвая голова», пустили танки, авиацию...

— Суд считаете, конечно, неправым, начальство свое старое проклинаете. Разве не так?

— Считаю — осужден неправильно. И все же...

— Все же?

— Был в бою. Узнал, что такое война и...

Хотел было вылить перед комиссаром все самое тайное, задушевное. Так и вырывались слова: «Судьба бросила меня в самое пекло, и я рад этому, рад! Я готов был отдать...» Сказал же нарочито небрежно:

— Было немножко трудно, вот и все.

— На прежнюю работу не берут?

— Туда, видно, мне дороги нет.

— Не хнычьте, товарищ Стрепунин.

— Только факт констатирую.

— А вы не замечаете своей недисциплинированности?

— Кажется, нет.

— Вам приказали послать одних товарищей, а вы отправили других. Знаю, знаю, действовали по пословице «возьми, боже, что нам негоже». Нефедова не хочу порочить, не имею права. Но я желаю... Чего желаю? Вас понять. В электромининой вы были скромнее. Здесь строптивость показали. Далеко, далеко она может вас завести. Заблудитесь. Ладно, работу дадим. Нет у нас начальника общей части, нужен командир по кадрам. Есть запрос из Охраны водного района. Ждем нового командующего. Потерпите. — И неожиданно: — Вы же поэт.

Словно в подлости Стрепунина уличили, виновато ответил:

— Писал.

— Помню, помню. Прихожу на полигон, в караул, а вы над стенгазетой ворожите. И стихи. Такая строчка: «Раньше на заводе трамбовал формовку». Бывает — врежется в память и колом не вышибешь, нужное забываешь, а... Это я про другое. Стихи, лейтенант, большое дело. Да что стихи, каждое хорошее живое слово мило людям. Только и соответствие нужно. Вы напомнили мне школу. Хорошее было время.

Да, время. Стрепунину тогда исполнилось двадцать один, был он полон надежд. Служба его нисколько не тяготила. И стихотворение то помнит:

Ночь. Мороз. На небе
Звезды не сверкают,
Только продолжает
Злобный ветер свист.
Я стою на вахте,
Пост оберегаю:
Чтобы не пробрался
Никакой фашист.
Раньше на заводе
Трамбовал формовку,
Разливал из домны
Золотой ручей.

А теперь на флоте
Взялся за винтовку —
Пусть на море сердце
Бьется горячей!
И даю я слово:
Не жалея силы,
Вынести с любовью
Трудный караул,
Чтобы постоянно
Зарево светило
Над родною домной,
Шел чугунный гул!

И тот караул, и невысокий человек в овчинном тулупе до пят, как тогда запечатлел Стрепунина фотограф-любитель, кажутся теперь далекими и туманными, но милыми до боли.

— Уже поздно, — говорит батальонный комиссар. — Идите отдыхать.

На улице темно и неприветливо. Тянет прелым листом и свежевырытой землей. Воздух сыр и беспутен, отбрасывает полу шинели, полощет ее, проникает сквозь одежду, добираясь до самых костей. Шумят нудно сосны, а за их шумом слышится ропот волн, такой заупокойный, что сердце щемит.

Голову Стрепунин втягивает в плечи, руки засовывает в карманы и цедит:

— Погодка-а.

Люди теперь сидят в ослизлых окопах, болтаются в море...

Подревывают волны, выворачивая душу.

— Ни черта! — кричит Стрепунин и кому-то грозит кулаком.

Запахло дымом: где-то поблизости затопили печь.

Пошел Стрепунин отдыхать, а судьба готовила уже ему должность, несколько для него необычную.

Утренняя тревога

В шифрпосту, как всегда, было сизо от дыма и, как всегда, перемешались запахи смолы, махорки, клея. Смола лежала бесформенным комом, оплавленным с одной стороны, — употреблялась вместо сургуча, и запах ее, едкий и непродыхаемый, перебивал все другие.

На улице бушевала непогода. Воздух раздражающе свистел в щели рам, бил о стенку надоедливо ставней, дребезжал оконными стеклами.

Дежурил, как и в прошлый раз, Дубровин. Скрестил руки на столе и уронил на них голову, точно дремал, хотя глаза были открыты.

Где-то застучали подковы по деревянному полу. Стук нарастал, приближался. Загрохотала, затряслась дверь — ушам больно.

С трудом, казалось, Дубровин оторвал голову от рук, направился к двери и неожиданно рыскнул в сторону, словно катер, потерявший управление — пьян, что ли, старшина первой статьи? Открыл прорубленное в двери окно.

За дверью бойкий голос:

— Расписывайся и принимай две телеграммы.

Пауза. Щелкает запор в дверном окне. Удаляются, постепенно замирают шаги.

Строго говоря, телеграмма Дубровиным принята лишь одна — длинющая, с рядом цифр на двух бланках; а вторая принята от «МО-518» по радио, а потому и называется радиограммой. На ней цифры уместились в двух строках. Дубровин и принялся за ее обработку — идет от корабля, неизвестно, что с ним?

Но что случилось со старшиной первой статьи? Не узнать его. Руки, словно в рукавицах, неумело листают книгу, с трудом находят страницу. Куда девалась его былая энергия, когда слово в книге как бы само кричало:

«Я здесь — бери меня!» Совсем размяк человек, нижняя губа, и без того толстая, теперь словно от тяжести отвисла, на щеках и лбу кожа по-стариковски собралась в складки. Больше по привычке, чем сознательно, выписал на бланк:

«Буду Осиновце 06.00. Прошу приготовить топливо и продовольствие».

Отяжелевший, безвольный вышел Дубровин из поста, чтобы доложить радиограмму начальнику оперативного отделения Теунову.

Доложить немедленно!

Не тут-то было. Теунов крепко спал, закутавшись в серое казенное одеяло. Только голова в черных кудрях резко выделялась на белой наволочке. В нос бил запах йода и коллодия. Дубровин знал — у Теунова свищ на ноге. К нему приходила медсестра Лепешкина. Ушла далеко за полночь. Поэтому так крепко и спит начопер, насвистывая выразительную руладу. Дубровин потряс спящего за плечо. Тот и позы не переменил, только рулада притушилась, перешла на шипение. Новые, более чувствительные встряски и слова: «Товарищ капитан-лейтенант, товарищ...» — достигли какой-то цели. Теунов подпер непослушную голову рукой, протер глаза и уставился в бумагу, протянутую ему Дубровиным. Силился и не мог побороть сна. Голова соскользнула с руки-подпорки и глубоко вдавилась в подушку. Теперь ничто не помогало поднять Теунова. Истощив терпение, Дубровин процедил: «Ы-ы...» — и отыгрался на двери — удар ее отозвался по всему помещению.

И в посту не пришло успокоения. Дубровин отшвырнул папку с недоложенной радиограммой и принялся за телеграмму Ленфронта.

Телеграмма оказалась важной и срочной. Ленфронт приказывал флотилии высадить на Ореховый берег второй десант, теперь уже значительный — в составе одного

батальона. Цель высадки — разведка боем. На подготовку операции и высадку отводится двадцать четыре часа с момента получения данной телеграммы. Время пребывания десанта в тылу немцев — двое суток, ориентировочно. Время и место выхода десанта из вражеского тыла предлагалось определить самой флотилии. В телеграмме говорилось: одну роту выделит отдельный стрелковый полк, он стоит здесь же, где и штаб флотилии, в Осиновце. Две другие роты обязана сформировать Ладожская военная флотилия. Командиром десанта назначен майор Лобов, тот самый Лобов, который, по его собственному выражению, был «задвинут в резерв». Сейчас он, должно быть, уже на пути в Осиновец. Дальше в телеграмме указывались масштабы и номера морской и топографической карт, порядок донесения в Ленфронт о ходе операции и многое другое.

Залязгал замок, зашелестела дверь, и в пост не вошел, а ворвался старший лейтенант — высокий, плечистый, с одутловатым лицом. На собачьей вахте спать бы да спать ему — нет, поднялся ни свет ни заря, засуетился, зашумел:

— Не спишь, «веселишься», Дубровин. Показывай, что пишут? — загляпул в обработанный текст: — Ого, опять десант. Когда начальник штаба ушел?

— Не ушел. В пятом часу уснул. В кабинете.

— Не добудиться теперь его. Что ты, как вареный, Дубровин, листай быстрее. — Пытливо посмотрел в его лицо и уже мягче: — Сцепи зубы, Дубровин, скрипи ими, а работу выполняй. Я знаю — не могу тебя утешить, не могу. Потерять сразу и мать и отца... Отдохни. Дай я сам...

Начальник штаба Валенков спал в неудобной позе, переломившись в кожаном кресле и откинув голову. Китель расстегнут, и видна волосатая, в складках грудь. Морщины на лице, теперь особенно глубокие и извили-

стые, залысины на голове, пучки волос, торчащие из носа, — все это неприятно было видеть старшему лейтенанту. Лишь золотые нашивки, блестя торжественно на рукаве в четыре яруса, внушали почтительность к спящему.

— Депеша, срочная, — начал старший лейтенант.

Валенков не шевелился.

Тогда тот потянул его за рукав кителя:

— Товарищ капитан второго ранга. Из Ленфронта.

Начштаба открыл глаза, но как-то неосмысленно сказал:

— А? Что? Читай, Шеронов.

— Во исполнение приказа командующего Ленфронтом за номером...

Кабинет наполнило густое сопение.

Старший лейтенант решителен, добьется своего не мытьем, так катаньем. Отрывисто кричит:

— Боевая тревога!

— Что такое! Что, Шеронов!

— Вот, срочная.

Опять начштаба утонул в кресле. Пригладил и без того полегшие волосы, все же взял телеграмму, вчитался в нее и стал комментировать:

— С первым десантом не разделались, а тут второй подавай. Подготовить и провести операцию за один сутки! Да что там — на море, что ли, никогда не бывали!

Шеронов ответил в тон начальнику:

— А когда им быть на море?

— И плавсредства. Где их взять? На озеро к нам с неба упадут? Нате вот вам на бедность десяток десантных барж. Берите заодно и автоматы, и минометы. Э-эх, десант. А погода?

— В метеосводке — шторм восемь баллов.

— Во-осемь. И что же случится со шлюпками?

— Сыграют оверкиль.

— Вот именно — сыграют. Как еще сыграют. Хорошо, оставьте и идите.

Шеронов рад — телеграмма доложена самому начальнику штаба, гора с плеч.

Там, в посту, пришли, наверное, другие. В них новые приказания, доклады, оповещения. Дежурный Дубровин совсем скис. Получил от родного дяди письмо — родителей расстреляли немцы. Отпуск бы ему дать. Хотя бы двухдневный. И рад бы. Заменить некем.

Начальник штаба флотилии — калиф на час. Не его назначили командующим, а выдвинули другого. Должно быть, не без помощи доброжелательной руки. А ему, Валенкову, как старому буксиру, не будет автономного плавания: так, все по гаваням — перетаскивать баржи, плавучие краны да хвосты одерживать крупным боевым кораблям. Да так ли? Начальник штаба — второе лицо на флотилии. Второе, но не первое. Нет, Валенков не честолюбив, он честный служака и не будет ставить палки в колеса новому командующему, только все же немного обидно. Десантная операция тяжелой мачтой свалилась на Валенкова и придавила. Высадить за двадцать четыре часа! Где взять то, откуда получить се? Люди... Где они? Остатки от первого десанта — водолазы, пограничники, строители? Мало. Скудно. Да и снарядить чем? Винтовок и тех нет в достатке.

Хочешь не хочешь, а приказание надо исполнять.

С натугой отрывается Валенков от кресла, берет депешу и выходит.

Опровержение

Адмирал сидит за столом, в кителе и яловичных сапогах. Еще кровать не заправлена, внаброску лишь накрыта одеялом. Бегает перо адмирала, золотое перо «Паркер», по странице толстой тетради.

— Доброе утро, товарищ адмирал, — начал Валенков извиняющимся тоном. — Вы уж меня извините.

Отвлекли адмирала от записок — он этим недоволен. И конечно, понимает — не стал бы начальник штаба в такое раннее время беспокоить его по пустякам. Отвечает густым баритоном:

— Здравствуйте, Пантелей Власыч. Садитесь.

— Вот у меня...

— Что за оказия?

Пока адмирал читал шифровку, Валенков разглядывал его — смуглого, сурового. Адмирал в Осиновце гость, проездом в Ленинград. Но этот случай надо использовать.

Вопрос адмирала кажется резким:

— Чего же вы хотите?

— Вашей помощи. Загубим операцию. Шторм на море. А главное — срок катастрофический. Так только в сказках делается — по щучьему велению.

— Хотите писать опровержение?

— Не опровержение, а просьбу. И сам бы я это сделал, да на рукавах легковато. Весу мало.

— Фитиль хотите повесить на меня?

— Какой же фитиль? Просьба обоснованная. Обстоятельства хватают нас за шиворот и бросают в пучину. На озере шторм и...

— Конечно, шторм есть шторм и не в наших силах его усмирить. Но впереди целые сутки. Может и убиться. А приказания начальства надо выполнять.

Сказал назидательное, а в душе согласен с начальником штаба. Уж больно понятна была адмиралу обстановка. Главная задача флотилии — охранять фланги фронта со стороны Ладожского озера и содействовать ему же, фронту, в боях — поддерживать артогнем, перебрасывать войска с одного участка на другой. Такова задача флотилии, кабы... кабы не перевозки. Снабжать фронт и Ленинград продовольствием, оружием, людскими

резервами — вот что стало главнейшим. Отныне все подчинено перевозкам. Боевые корабли — канлодки, сторожевики, морские охотники — стали одновременно конвоирами, буксировщиками барж и транспортными судами. Никто такой задачи флотилии не планировал — жизнь навязала. Война. Поэтому-то у флотилии не хватает плавсредств, причалов, людей. И вот десант. Получается, как в Тришкином кафтане. Чтобы наставить рукава, надо обрезать полы. А «обрезать полы» не позволит тот же командующий Ленфронтом.

— Зарежем операцию, — прерывает Валенков мысли адмирала.

— Желаете отсрочки?

— Вам ли меня не понять, товарищ адмирал?

— На какое же время?

— Хотя бы дня на три, на четыре.

— Хорошо. Беру на себя эту кляузу. Пишите — по таким-то и таким-то причинам прошу отсрочить высадку десанта на... одни сутки.

— Одни сутки! Да, да.. и документов не успеем составить.

— Проведете без документов. Набросайте черновичок — и ко мне. Нет. Я сам. — Аккуратно вырвал из тетради лист, написал неторопливо четыре строчки и передал Валенкову.

— Пожалуйста, в пост.

Начштаба с живостью юноши закрыл за собою дверь.

Время насыщено действиями, оно как бы спрессовано, один день равен иному году. Все же гораздо приятнее делать историю, чем писать о ней. Самому бы доставить десант на Ореховый берег!

Забурлила в жилах адмирала кровь, сорвался со стула, зашагал по комнате быстро, энергично.

Явилась тут же мысль, благоразумная, въедливая: нельзя, нельзя адмиралу превратиться в бесшабашного

лейтенанта, не может он себе позволить этого. Осудят все. Наверху скажут — лавров захотел. Здесь, на флотилии, обидятся — не доверяет, подменяет нас. Да, все в жизни обусловлено. Поглядел на свои сапоги и улыбнулся — обут по-фронтовому. Решил: помогу укомплектовать десант материальной частью. Пойду на корабли.

Все же в силу привычки не смог не записать и записал:

«Второй десант. Опровержение».

Только после этого заправил кровать, надел кожан и вышел в стонущие предрассветные сумерки.

Встреча

Многим сегодня не спится. До рассвета поднялся и Стрепунин. Первым делом побрился, хотя и со слезой: лезвие безопасной бритвы тупое, как столовый нож. Мундир довел до кондиции — пуговицы на кителе и шинели отразили свет; нагрел на печных углях утюг — чугунную болванку — и отпарил брюки. Сапоги — под кровать, обулся в ботинки с галошами, шею повязал белым шелковым шарфом, как в мирное время, и пошел знакомиться с местечком.

Лес. В нем редкие домики. Шумит беспокойно хвоя, с берез и осин слетают листья. За лесом неумолчный прибой, подальше бы от него. Почему же? Бредет Стрепунин к берегу.

Озеро. Его бы лучше назвать морем — другого берега не видно, вода холмится, ветер срывает с гребней валов белую пену и стелет ее полосами. На отлогий берег накатываются валы, ворочают песок, сшибаются между собой в беспутной толчее и захлебываются от злости.

Над берегом поднялся маяк — стеклянный фонарь на высоченной круглой башне, перевитой вперемежку белыми и красными полосами.

В озеро длинным мостом вдвинулся пирс, собрав вокруг себя хоровод барж, буксиров, катеров. На рейде качалась шаланда с трубой и высокой дугой, похожей на арку моста. Шаланда вооружена дальнобойными орудиями, кажется сотками. Похоже на то, что Стрепунин видит одну из канонерских лодок, про которые он уже кое-что слышал.

Невеселый пейзаж. Укрыться бы в лесу, что ли. Стоит Стрепунин и ждет чего-то, убаюканный музыкой воли. Продрог. Больше нет терпения стоять, зашагал в сосняк. На ходу стал согреваться. Одолели мысли.

Как-то неладно сложилась его жизнь. Никого нет. Родители умерли: мать — когда ему было десять, а отец — двенадцать лет. Осталась бабушка. И ту похоронили без него. Как сейчас видит ее — небольшая, сухонькая, стоит под акациями у палисадника в синей бумазейной кофте, и глаза ее полны слез. А сама шепчет:

— Знать, уж не увижу я больше тебя, родимый ты мой, не увижу...

Не удалась и любовь, ни на заводе, ни в Медвежьем Углу. С заводской любовью распрощался с уходом на срочную. В Медвежьем Углу получилось хуже — пережил катастрофу.

Был на передовой, вышел оттуда почти целым — надо бы радоваться, а в сердце безотчетная тревога. Стукнуло тридцать. Война. Смерть подстерегает на каждом шагу, а все чего-то хочется, ждешь перемены, и обязательно к лучшему.

Подошел к красному кирпичному домику. Увидел группу военных. Услышал крики:

— Вдарь, вдарь!

— Молодец, дивчина!

— Как на масленицу.

Выкрики относились к девушке, подкатившей на двуколке. Конь огневой, так и играет в оглоблях. Из пролет-

ки выпрыгнула дивчина — бойкая, в яловых сапогах, короткой юбке, стеганке, берете.

Стрепунин заворожен — она, Софа. И голос только у нее такой — удивительно глубокий, берущий за душу:

— Ну и конь! Едва удерживала.

— Да, девушке с этим копем не справиться, — уколол Софу командир в нагольной шубе, с двумя кубиками в петлице.

Ответа не удостоился. Софа завязала конец вожжей за ствол сосны, взяла с двуколки попону и накинула ее на мокрые, в пене бока коня. Тот скосил оранжевый глаз, зашлепал губами, всхрапнул и оскалился, притворно пытаясь схватить девушку за стеганку.

— Ну-ну, не балуй, Смутьян.

Софа опустила на коне чересседельник и повод, бросила коню охапку сена, и тот, хрустя, заработал челюстями.

Конечно, Софа замечала — ею любуются. Кого это не воодушевит? Девушка словно бы играла — движения упруги, пожалуй, кокетливы, смотрите, дескать, на меня, вот я какая. Вынула пачку «Прибоя» и таким широким жестом:

— Берите, не стесняйтесь.

Куда уж там стесняться, все начали выдергивать по одной и даже по две папиросы.

Красноармеец-малютка спросил:

— Соня, а мне можно?

— Бери, Петрунька. Ой-ой, ногти у тебя какие!

В руках у девушки уже не папиросы, а ножницы.

— Не вертись, ну. Ишь завел какой траур, картошку, что ли, копал?

А военные то один к ней, то другой, громко, с задором:

— Мне, Соня, мне подстриги — отросли, как у ястреба.

— Сонюшка, удостой взглядом, посмотри — мальчик порезал пальчик. Перевязочку бы.

Одному отвечала: «Вернешься домой — жена подстрижет», — а этому: «Не плачь, Михалка, до свадьбы заживет твой пальчик».

Ревность поднималась в Стрепунине — ко всем, даже к малютке-воину.

Хорошо Софе, она возбуждена, смеется. Смех поломался — увидела Стрепунина. И он уже возле нее. Слово, другое, и они отъединились от группы, зашагали по дороге, слыша за спиной:

— Губа не дура — морячка подцепила.

— Франт какой — шелковый шарф, галоши.

— Тыловой петух.

Стрепунин ей тихо:

— Какая удивительная встреча. И так скоро — обоих сюда. Как во сне.

Ждет, чтобы и Софа ответила ему хорошим словом.

Она привлекательна, хотя и не красавица. Щеки чистые, со здоровым румянцем. Нос чуть вздернут и вроде потянул за собою и губы. Те плотно сжались, образовав овальную складку вокруг рта, и складка эта делает лицо задумчивым и даже скорбным. Немного прищуренные и глубокие темные глаза усиливают впечатление скорбности. Но выражение лица моментально меняется со сменой впечатлений, и эта быстрая перемена делает лицо живым, одухотворенным.

Не дождался Стрепунин ответа, говорит:

— Хорошо вы управляете лошадью.

Девушка просветлела и так радостно:

— Научилась. И лошадка такая смышленая, с полуслова понимает тебя.

И опять как будто не о чем говорить, а идут дальше, не расходятся. Софа невесела, не то что там, у домика. Хотелось бы ему стряхнуть с нее скорбь, развеселить за-

бавным анекдотом. Сам же тревожит ее больное место, говорит:

— Про Нефедова ничего не слышно?

Она медленно поводит головой.

Он опять:

— Назначение получили?

— Нет еще.

— А что там, в домике из красного кирпича?

— Санчасть. Меня временно прикрепили.

— И я временно тут. Совсем отрешили меня от специальности. Туда штрафников не допускают.

— Вы, кажется, недавно на службе?

— Да, призван в финскую. Когда-то еще на срочной служил.

— Кем работали на гражданке?

— Вначале — формовщик, ФЗУ окончил, а потом — журналист.

— Журналист?

— Разве не похож? В газету бы мне теперь, раз уж не дадут прежней должности. Но и туда меня не возьмут. — Закончил надсадным смешком: — Отщепенец.

И сам себе: «Не то, Стрепунин, не то. Слюнтяй ты. Недаром говорится — узнают ворону по полету, а доброго молодца по длинным...»

Зато Софа так задушевно:

— Вы же отбыли свое. На фронте. А фронт — о-о! Там грехи искупаются.

Теплые слова девушки тронули его, он поблагодарил ее взглядом и сказал:

— Нефедов не мог быть предателем. С ним случилась какая-то беда. В свое время вы меня возненавидели и по-своему были правы. И я прав. Прав! Послал Нефедова — вы потеряли... потеряли жениха. Пошли я Степаненко — другие потеряли бы сына, мужа, брата.

— Да, да. Я это поняла. И другое, о чем никогда и

не думала. Говорят, на войне люди грубеют. Да? Не все, не все. Многие возвышаются. Делаются душевнее. Я это заметила...

Разговор был грубо прерван армейским майором.

Почему бы и нет

Стрепунин откозырнул майору. Тот ответил, и не как-нибудь, а картинно, по разделам: раз — руку вытянул, два — согнул под прямым углом в локте, три — поднес к фуражке, перейдя при этом на строевой шаг. Любо-мило смотреть. И Стрепунин, и Софа вытянули шеи, выпятили грудь.

Заядлый строевик обжег мимолетным взглядом девушку и задержал глаз на Стрепунине. Лейтенант застыл, а с ним задержалась и Софа.

Майор начал с подковырочкой:

— Форсим, лейтенант?

— Не понимаю вас, товарищ майор.

— Я говорю про галоши. Видать, новые.

— Почти.

— Вырядился, как франт на ярмарке.

— Простите, пожалуйста, но ведь и вы в хроме.

— Галоши... Противно. Как фамилия? Стрепунин? Запомню.

Вмешалась Софа:

— Товарищ майор, вы ругаете лейтенанта за нарушение формы.

— Ишь какая догадливая.

— Он ее не нарушает. Уж если кто, так это я. На берете нет звездочки — потеряла. Ношу черную юбку, а надо защитного цвета. Не нашиты петлички.

— Ты мне нравишься, девушка. И своею наивностью и... и вообще.

— Не остроумно, товарищ майор.

— Уж завоевал бы тебя, девочка. Клянусь, не пожалел бы ни времени, ни трудов.

Не выдержал Стрепунин:

— Товарищ майор, я младше вас по званию, но не позволю...

— Те-те-те, — занел майор. — А что, собственно, ты мне не позволишь? Сведу тебя на гауптвахту — и делу конец. Впрочем, шучу. Мы еще встретимся с тобою, лейтенант Стр-репунин. И с тобой, девочка. И оба запомните майора Лоблова. Запомните. Встретимся.

— А почему бы и нет, майор?

— Э-э! Это уже язык не девочки, а... а...

— Язык кого?

— Не будем уточнять. Скажу лишь одно — такая постановка вопроса мне очень по душе.

Не мог верить Стрепунин, что Софа, Соня, Сонюшка может разговаривать в таком вольном, пожалуй вульгарном, направлении. Словно лукавый в нее вселился. Лицо преобразилось — печали, тем более скорби, как бы и не было; губы переломились — на них ирония; стеганка натянулась и, кажется, вот-вот готова лопнуть на груди; голова откинулась — во всей фигуре озорство и вызов. У Стрепунина страстное желание укротить ее.

— Я найду тебя, — говорит майор. — Будь уверена — найду. — Насмешливо взял под козырек, резко опустил руку и молодцевато зашагал к штабу флотилии.

— Никогда бы не предположил в вас артистки, — с горечью сказал Стрепунин. — Даже талантливой артистки.

— Почему же артистки?

— Вы, конечно, играли.

— Я — играла? Вот уж нет. Как же, боюсь. Не таких видала и то кидала.

— И будете искать свидания с ним?

— Уж это как придется.

— Нет, вы с ним не встретитесь.

— Встречусь, встречусь, встречусь. А вы оставьте меня. Оставьте.

— Не беспокойтесь. Идите куда хотите.

Подруги

Ну зачем так обижать человека — прогнала Стрепунина, теперь одна и идти некуда. В голове сумбур и в чувствах беспорядок. Нефедов, Стрепунин, майор... К чему здесь майор? Что с Нефедовым? Чего хочется тебе, Софа? Всегда с людьми и как будто одна...

Наперерез Скорняковой шла девушка с баульчиком в руке.

— Ай, ой! — звонко, по-детски воскликнула Софа. — Ноночка, ты ли это?

Та ей вторила:

— Сонюшка!

Заключили друг друга в объятия, целовались, опять целовались. Утомившись, заговорили:

— Где ты, Иопа?

— А ты?

— Столько не виделись! Наверное, восемь лет.

— Три месяца.

— На фронте я. Раненых выносила.

— Да ты же несильная.

— Такая вот я. К награде представили. К медали «За отвагу».

— Героиня.

— Да вот уж так. А ты — несильная. Выносливая я. Мне так наш полковник и сказал. Ты, говорит, Скорнякова, жилистая. И смелая. А я и есть такая — ничего не боюсь.

— И водку пьешь?

— А как же. Есть и покрепче — спирт.

— Неразбавленный?

— Ну-у, разбавляю, конечно. А могу и чистый.

— О Нефедове что?

— Ничего, Ноночка, ничего. Как и не было.

— Заменила?

— Зачем ты так, Нона? Разве тут по своему желанию. Это как... как глаз, ну понимаешь ли ты, вырвать можно, а заменить нельзя.

— Любишь. Завидую.

— Не беда ли моя в этом? Когда иду с другим, так и кажется — изменяю сама себе. А все смотрят жадно, так и видишь — на закуску тебя хотят. Только я дерзкая — не боюсь, особенно не боюсь грубых. Да ты далеко ли идешь-то?

— Домой еду. Начинается голод в Ленинграде. Вот матери кое-что.

— Мой отец в Кронштадте, а мать в Сибирь уехала.

— Отпустили?

— Взбунтовалась я. Решила — и все.

Хотя девушки шли лесом, но ветер и здесь давал себя чувствовать — свистел, теребил на голове Ноны концы платка. Шум деревьев настраивал на невеселые думы.

— Милая моя Нона. Выносила я с поля людей, а потом и сама в госпиталь попала. Рана пустяковая. Все, кажется, видела, а нет — с больными особенно горестно. На руках у меня умер один солдат. Такой белокурый, нежный. В грудь был ранен. Оставил невесту где-то на Урале. Ах, говорит, Сонюшка, так и не увижу свою Наденьку. Неужели, не-у-жели... Все это через силу, в горле клокочет, лицо в поту. Мне бы его утешить, а я реву как дура. Вот и сейчас не могу, слезы так и ползут. Все бы для него, чего бы ни пожелал.

Протяжно загудел паровоз.

— Надоела я тебе. А ты-то как? Шли мы с лейтенантом, а тут майор...

— Лейтенант? Кто он?

— Стрепунин.

— Небольшой и черпявый?

— Откуда ты знаешь? Кажется, начинаю им увлекаться.

— Знакома с этой птицей.

— Мой крестник. Спасла его. Ну и...

— Далеко не полетит. Так себе, скворец или щегол, не больше.

— Скворец. А у меня какие таланты? Это ты — вот да! Всегда первая и в школе, и везде. Где же ты?

— В Новой Ладоге. Устроилась.

— Да не скрытничай, говори. И друга, наверное, нашла. Говори же.

— Ну, есть, есть. В ОВРе.

— Командир, конечно.

— Да-да.

— Ты и здесь далеко пойдешь.

— Наивная ты, Соня.

— Меня уж так называли. Буду в Новой Ладоге — загляну. Скажи адрес.

— Не-ет. Квартира временная. Опаздываю.

— Дай еще раз обниму. Вот так. Счастливого тебе пути, дорогая!

Фитиль

В шесть часов у пирса ошвартовался «МО-518». Ему подай продукты и горючее. Ничего этого на пирсе нет. Безобразие...

— Без-зобразие! — выходит из себя Валенков. — Немедленно Шеронова ко мне! — Бросает трубку.

Шеронов травленый волк, знает, где капкан зарыт. Отвлечь начальника штаба от злополучного «МО-518» — вот ближайшая задача Шеронова. Он успел доложить радиограмму дежурному по тылу, и сейчас, хоть и с опозда-

нием, снабженческая машина заработала. Шеронов успел и Дубровину внушить:

— Ударничек. Распустил рукава. Не сумел доложить вовремя радиограмму. Надо...

Что надо? Дать бы Дубровину отпуск хотя бы суток на двое. Не даст Шеронов ему отпуска. И без того все замучены, завалены работой.

Радиограмма от «МО-518» докладывалась начальнику оперативного отделения Теунову, только тот не захотел ее читать и не поставил на ней своей подписи. Теперь доказывай недоказуемое, что Теунов видел ее. Об этом потом, потом. Прежде всего — отвести от себя удар начальника штаба. Вот новая депеша из Ленфронта — достаточный громоотвод. Сердце карябают кошки, но подтянуто — шаг размеренный, широкий, и подбородок в потолок — идет Шеронов к начштаба и рапортует:

— По вашему вызову...

— Не пост у вас, Шеронов, а кабак! Я говорю—кабак!

Это пока гром, сейчас последует молния. Надо отвести ее. Шеронов подсовывает разгневанному начальнику новую депешу. Тот не замечает ее, прихлопывает ладонью, несдержанно кричит:

— Голову снимаете! Два часа держали шифровку, два! Всех вас...

Поперхнулся Валенков, на подбородке резче обозначилась ямочка. Пытался начштаба читать текст и не мог — смущала подпись. Сграбастал депешу, согнулся — груз-на ноша — и пошагал из кабинета. Возвратился скоро и Шеронову:

— Срочно на сторожевик «Пурга». Доложите, что в его адрес...

— Есть, есть! — твердит Шеронов, поспешно покидая кабинет.

Перед Валенковым лежал ответ Ленфронта на просьбу адмирала об отсрочке десантной операции. Ответ краткий

и благодаря этому, может быть, беспощадно выразительный:

«Кто командует фронтом: я или вы? Приказываю выполнять телеграмму за №... Исполнение донести».

«Исполнение донести»! — вот и весь разговор. А чего доносить? Не высадить десанта за такой короткий срок. Все же что-то надо делать, надо делать. Поднял телефонную трубку, ее сопроводил издевательский «звяк». Навислые брови начштаба сомкнулись у переносицы, не может глаза отвести от злополучной бумаги.

За дверью шаги. Радостным вестником вошел Теунов и так спокойно:

— Доброе утро, Пантелей Власыч. Уж не беда ли какая пришла? Или вы нездоровы? Еще не завтракали? Пойдемте. — А сам присаживается к столу.

Валенков сразу оживился, заговорил:

— Вас я и ждал. Что за утро выдалось — один неприятности. Почитайте вот и скажите свое мнение. — Он протянул Теунову телеграмму из Ленфронта о высадке десанта. Переписку по ней — просьбу адмирала отсрочить высадку десанта и ответ на эту просьбу — начальник штаба Теунову не показал. Зачем?

Теунов взглядом бежит по телеграмме, острым взглядом, дотошным. Говорит:

— Пойдемте завтракать.

— Десант может и подождать — так я вас понял?

— Высадим.

— Что-о?

— Будет день — будет и пища. Высадим, говорю.

— Осталось... — Вынимает часы из кармашка кителя, смотрит и прячет. — Осталось двадцать два часа.

— Все равно высадим.

— Да? И вы знаете, как совершить это чудо? Знаете, где достать людей и плавсредства?

— Одну роту, как тут сказано, выделит стрелковый полк.

— А две другие?

— Идут люди. Из Новой Ладоги. Разве Шеронов не докладывал про «Бурею» с баржей?

— Пока нет. — Тянется к телефону.

Стук в дверь.

— Войдите!

Дубровин. Проходит к столу и кладет перед начальником штаба радиограмму. Тот жадно углубляется в нее.

Теунов морщится, ему неприятно видеть Дубровина.

Начштаба между тем прочел:

«05.30 Новой Ладоги — Осиновец вышла КЛ «Бурея» баржей на буксире. Пополнение флота 370 человек полным снаряжением».

Это были те самые пехотинцы, которые в свое время высадились на станции Званка и маршировали к реке Волхов.

— Хороша Маша, да не наша, — говорит начштаба. — Пойдут дальше — на флот.

Теунова не собьешь, говорит:

— Адмирал нам поможет. Да и командующий флотом не откажет.

— Утопия, — категорично отзывается Валенков. — На флоте прорех еще больше, чем у нас.

— Суворов любил повторять: у фортуны на лице — коса, а затылок бритый. Надо хватать судьбу за косу. Люди идут к нам, в Осиновец, и мы ими распорядимся. Судьба десанта в ваших руках, товарищ капитан второго ранга.

Валенков заинтересовался своими руками, действительно крупными и крепкими. Взял коробок спичек, сжал его, и тот захрустел и скорежился. Остался за командующего. Почему бы и не проявить себя вполне? По всему телу разливается энергия. Мечтает вслух:

— На барже триста семьдесят да здесь сотня набе-

рется. Плюс стрелковая рота. Это не малая сила. Шлиссельбург...

— По данным разведки, — перебил Теунов и осекся, глядя на Дубровина. К нему: — У вас все?

Тут и Валенков головой сделал Дубровину знак, чтобы тот удалился.

— По данным разведки, — продолжил начопер по выходе Дубровина, — в Шлиссельбурге почти пусто. Все подчищено и переброшено под Ленинград. Это и понятно — именно там, у Ленинграда, будет решаться вопрос — быть или не быть?

— Вот я и говорю — почему бы нам не захватить Шлиссельбург? Собьем его одним ударом морского кулака. — Валенков веско опускает кулак на стол. — Это будет и прорыв, и плацдарм. В него, этот прорыв, Ленфронт бросит дивизию и ударит по двум направлениям — в сторону Ленинграда и в сторону Волхова. Освободим дорогу Ленинград — Мга — Назия на всем ее протяжении. Только вот плавсредства... Где их взять? Люди идут на барже. Если на ней без пересадки прямо на Ореховый берег? Идея.

— Именно так. Баржа с людьми сразу решает все наши задачи, — резюмировал Теунов.

В руке Валенкова телефонная трубка. Ее сопроводил веселый звон.

— Дежурный? Это я, сто второй. Всех флагманских специалистов ко мне. Быть через десять минут. — Кладет трубку. — Теперь идем завтракать, начопер.

Удар

Катер «МО-518» пополнил запасы топлива и продовольствия и успел в район дозора, правда, с опозданием, но это уже дело прошлое. Шеронов из-под удара вывернулся, а Дубровина все же предупредил:

— Мы с тобой, голова садовая, отделались легким испугом. В другой раз такое не сойдет. Радиограммы положено докладывать. Напоминаю, если ты об этом забыл. Докладывать при всех обстоятельствах. И подпись, подпись адресата прежде всего.

Выслушал Дубровин выговор мрачно, даже не сказал традиционное «Есть!».

Теперь Дубровин сменился с вахты и спит. А может быть, и не спит...

Через пост проходят шифрованные депеши — телеграммы и радиограммы. Ручеек течет себе и течет, и не вычерпать его, пока не иссяк источник. Так нет конца и потоку депеш.

Валенков в ударе. За ночь он, пожалуй, и часу не спал, но разве кто бы заметил это? Корпус прям, голос тверд, в глазах блеск, да задорный такой, как у юноши. Жизнерадостность Валенкова вдохновляет всех командиров, а их в его кабинете полным-полно.

— Капитан-лейтенант Теунов!

Внимание всех приковывается к кучерявому и смуглому начальнику оперотделения, которому от этого внимания немного не по себе. Все из-за «МО-518». Задержали с выходом. Чья вина? Говорят, ему, Теунову, приносили депешу. Кто говорит? Работники Шеронова. А что же им еще делать, раз задержали радиограмму? Подписи Теунова на ней нет, значит, и ничего нет, сколько бы Шеронов не утверждал свое... И все же Теунову неловко, в груди посасывает неприятный червячок. Теунов один из немногих здесь сидит, так, не вставая, и отвечает:

— Есть!

— На вашей обязанности плавсредства. Составьте список судов, график посадки людей.

— Придется, видно, часть катеров снять с дозора и отключить от перевозок.

— Отключайте от перевозок, снимайте с дозора. Десант сейчас — главное.

— Есть. Вас понял.

Начштаба переключился на другого:

— Флагманский штурман капитан третьего ранга Коваль!

— Есть, — отвечает наш «академик», сухопарый, подтянутый, с лицом худым, пожалуй, аскетическим.

— Навигационное обеспечение. Манипуляторный пункт. Костер на берегу, — перечисляет Валенков. — Проверьте сами надежность приборов на головных судах. Никому не передоверяйте. Вы — «академик», вам и карты в руки.

— Есть! — повторяет Коваль. — Разрешите действовать?

— Прошу. — И опять вызывает: — Связист капитан Бузов!

К столу неторопливо продвинулся сухопутный моряк, с меланхоличным, скорее, грустным лицом. Очень тихо ответил:

— Есть!

— Позывные, переговорную таблицу, рацию...

— Будет таблица, — будничпо ответил Бузов и добавил: — А вот рации нет, и не знаю, где взять.

— Нищий спит, товарищ Бузов, а милостинка печется. Печется. Адмирал позаботился. Хоть и отбыл в Ленинград, но во многом помог. Будет и рация, и минометное отделение. Хотя миномет — это уже не ваша забота. Комдив сторожевых кораблей дает рацию. Не так ли, товарищ Балакирь?

— Как обещал адмиралу, так и будет, — отозвался приятный голос.

Начштаба пошел дальше, вызывает:

— Артиллерист!

— Есть!

— Вам надлежит... Механик!

— Есть!

— От вас требуется...

Диссонанс в совещание внес Шеронов. Он вошел без доклада, и сразу же его крупная фигура заняла собою первый план. Раздался его простуженный голос:

— Разрешите?

Ворвался так бесцеремонно. Начштаба задергал бровями и бросил:

— Могли бы и подождать.

— Нельзя. От «Бурен».

— Что там? — Валенков заслоняется шероновской радиограммой. Сдержанно объявляет: — Над канлодкой стервятники. — И Шеронову: — Быстро к оперативному дежурному.

Ушел Шеронов. Настроение командиров сразу переменилось. Жизнерадостное, боевое уступило место тревожному. Помочь бы канлодке. Чем и как? Пока шло от нее донесение, бой ее с самолетами, должно быть, уже закончился, теперь там другая обстановка. И Валенков словно бы утерял четкость и энергию.

— Начпрод, — говорит он как бы мимоходом, думая о канлодке. — Начпроду...

— Слушаю, — эхом отзывается голос.

— Начпроду... Начпроду...

И вновь на первом плане Шеронов. Кладет радиограмму на стол, а пухлые щеки Шеронова теряют краску, сереют.

Недоброе что-то принес.

Валенков обхватил узловатыми пальцами голову и застыл, только стала дрябнуть кожа на его лице и глаза сильно заслезились — начала сказываться бессонная ночь. Но он не хочет поддаваться усталости. Он говорит:

— Все равно десант высажу. Высажу!

Слова его уже не воодушевляют командиров. Он Теунову:

— Самолеты...

— Самолеты не потребуются,— поспешно отвечает Теунов,— ведь мы же будем высаживать десант в ночное время.

— «Самолеты...— это Валенков читает,— самолеты противника потопили баржу. Спасено двадцать два».— Накрыл рукой радиограмму, и опять свое: — Несмотря на это. Да, несмотря на это...

По-разному отозвалась на командирах гибель баржи — одни вздохом облегчали душу, другие разговором хотели заглушить внутреннюю боль, а многие мрачнели и уходили в себя. Больше всего командиров тревожила мысль — люди погибли, почти триста пятьдесят. Кем их заменить?

Сдали наконец нервы у Валенкова, выпалил:

— Под суд! В трибунал. Не доложили...— Веки опустились на глаза, голова сникла.

Запоздавшая «молния» поразила Шеронова. Надо бы провалиться, сгинуть. Совсем нет. Шеронов с приближением беды стал спокойнее, только чуть как бы просел. Так корабль, получивший груз, опускается ниже и становится устойчивее. Сказал хрипло и зло:

— Радиограмма докладывалась в четыре пятнадцать.

Устало переложил Валенков руки со стола на колени, натужно открыл глаза и обессиленно спросил:

— Кому докладывалась?

— Капитан-лейтенанту Теунову.

— Да-а? Теунов, читали?

— Видите ли, я...— начал тот и прервался. Стыдно до мучений. Во сне привиделся старшина первой статьи Дубровин. Да, во сне. Не доложили, а теперь Шеронов изворачивается. А может быть... Его подчиненные порой нетактичны, даже грубы, только никогда не врут. Во вся-

ком случае, он, Теунов, не наблюдал за ними этого порока. Признаться? Взять всю вину на себя? Начнется расследование, и в конце всего — трибунал. Кровь прилила к голове. Он даже понатужился, вырвались звуки, похожие на стон. Только ради чего он должен страдать? Не читал же радиограммы. Так и сказал: — Не читал.— И тверже: — Не видел. — Наконец, безапелляционно: — Мне никто не докладывал.

Валенков переводил взгляд с Шеронова на Теунова, желая понять: кто же из них врет? Еще раз переспросил капитан-лейтенанта:

— Может быть, запамятовали?

— Нет, не читал. Таких вещей я не забываю.

До сих пор незаметно сидел командир, у которого на рукаве золотились две ленты. Он будто бы скучал. Слова «суд» и «трибунал» встряхнули его. Он ожил, заерзал на стуле, уверенно подошел к Валенкову и тоном человека, привыкшего не встречать возражений, сказал:

— Разрешите познакомиться с перепиской?

— А-а. Что? Да, да, знакомьтесь,— покорно ответил начштаба.— Шеронов, покажите старшему лейтенанту Грибкову. Все, все, что касается баржи. И от катера, и от канлодки...

Жду вас в двадцать четыре

В землянке стоял полумрак. Да и откуда здесь быть яркому свету — оконце фуражкой можно закрыть, и то заслонено массивным телом. Еще ничего не видя, Софа сказала:

— Здравствуйте.

Человек дернулся, отстранился от окна. В землянку прорвался пучок света, и в нем вырисовалось лицо, круглое, как говорят, рыластое.

— Майор? — выдохнула девушка.

Узнал ее и он, чуть ли не смутился и протянул:

— Ты-ы? Встреча-а. Смела-а...

— Простите, я не туда попала.

— Куда же ты шла?

— К командиру десанта. Меня назначили...

— Я и есть командир. А ты не санитарка ли Скорнякова?

— Скорнякова.

— Софья Васильевна?

— Васильевна.

— Тогда ко мне. Разреши еще раз представиться.— Он привстал, полупоклонился.— Майор Лоблов, командир десанта.— Пристукнул каблуками и опять сел.— Я это, Софья Васильевна, я. Вместе поплывем на Ореховый берег.— Слово «поплывем» можно было понимать двояко: как переправимся и как искупаемся.— Ты не боишься?

Она сказала:

— Прошу вас, товарищ майор, очень прошу, обращайтесь ко мне на «вы».

— Почему бы так?

— Во-первых, мы с вами не состоим в родстве.

— А во-вторых?

— Во-вторых, вы будете моим командиром и я не смогу вам отвечать тем же.

— Смела, смела. Тогда ты будь моим подполковником и приказывай.

— Товарищ майор, прошу...

— Садись.

Софа не изменила позы.

— Хорошо, буду на «вы». Так скажите же, санитарка Скорнякова, в каких вы отношениях с тем черномазеньким лейтенантиком?

— Это тоже относится к службе?

— И все же?

— В очень сложных отношениях. Мы...

— В сложных — и только-то. Должно быть, поэт, ума палата.

— Стихов его не читала, но дураком не назову.

— Говорит, должно быть, все о звездных мирах да философии. Знавал я таких. Скука с ними страшнейшая. А для меня жизнь — прогулка по лугу: солнце, цветы, чибисы. О завтрашнем дне буду завтра думать, но сегодня, сегодня не пропущу ничего.

Софе неприятно от этих слов, говорит:

— Я пришла...

— Знаю, за чем вы пришли. Разве мы не договорились о встрече? Все идет по плану, как сказал один генерал, оставив врагу все свое войско. Ха-ха-ха. Не торопись. Без нас десанта не высадят. Пока на вола не надели ярма, повозка не сдвинется с места. А если и сдвинется, то наша шкура не будет стерта. Ха-ха-ха.

— Давайте о деле.

— Полюбуйтесь — каковы теперь женщины. Ты им про любовь, а они тебе про Спиноза. Недаром Пушкин ненавидел синие чулки.

— Мне, я вижу, делать здесь нечего. — Софа решительно повернулась к двери.

— Подождите, подождите. — Майор рванулся к ней, хотел взять за руку, но раздумал, только слегка дотронулся до ее стеганки. — Давайте о деле, раз уж вы такая. Вы и несколько матросов — вот и санчасть. Будете старшей. Идите и получите что надо. Не забудьте о спирте. Побольше спирту. Все такие стали образованные.

И только слышишь от любого:
Все Жомини да Жомини,
А о водке ни полслова.

Ха-ха-ха. Нет, я не прав. И женщины теперь хлещут спирт в завидных порциях, а о мужчинах и говорить не стоит.

— Когда посадка на корабли?

— Корабли, вон чего захотела! На целом озере нет ни одного порядочного корабля, сплошные галоши. Слова-то все особенные, романтичные — навигация, рейд, фарватер и разные там вимсы, бимсы... А стоит нам выйти на этот самый рейд, так топором на дно. У них, моряков, это называется сыграть оверкиль.

— Все-таки посадка-то когда?

— Какая там посадка! Был в штабе флотилии. Там еще и конь не валялся. Людей нет. Оружия нет. Везла баржа две роты да и та исполнила этот самый оверкиль.

— Мне сказали — ночью высадимся.

— Ночей много впереди, очень много, Сонечка. Раньше утра ничего не будет. Так что приходите сюда этак часиков... Нет, военные должны знать время точно. Приходите к двадцати четырем ноль-ноль. Приносите полбаночки из тех запасов, что получите. Надо же командиру пробу снять. Кто знает, может быть, вам всучат соляную кислоту. У меня шпроты, колбаса копченая. Ой, не лицо у вас, а простокваша. Мамина дочка. Ладно, спирту не надо, найдется. — Он снял с гвоздя фляжку и потряс ею.— Булькает. Итак, жду. Ночь наша. А завтра хоть в ад.

— Не приду.

— Ну нет. Приказываю — прийти и отчитаться о том, о сем и прочем.

Говорил Лоблов весело, можно сказать, даже бесшабашно, а ирония, которой он сдабривал слова, поощряла Софу на ответные, дурашливые действия. Голова туманилась, и было приятно, как после выпитого вина. Чего-то ждешь от жизни, ждешь большого, необъятного, а много ли нам отведено этой жизнью? Может быть, всего и осталось-то, что сесть на корабль. В лучшем случае — добраться до Орехового берега. И все. И конец. Сейчас проблеск в жизни, почему бы и не воспользоваться им, этим проблеском? Кому от этого будет помеха...

Все же что-то сковывало Софу, не давало ей возможности отдаться во власть вспыхнувшего желания — желания непринужденно, с шуткой ответить майору, даже провести с ним беспечный, веселый час. Может быть, ее тревожила мысль... не о Стрепунине, нет. Мысль о Нефедове. Ждать его? Но если он давно лежит в земле?

Пережитое возвратилось, кольнуло в сердце. Захотелось криком облегчить боль. Землянка поплыла, покачнулась...

— Что это со мной?

— Вам дурно? — удивился майор.

— Нет, нет. Мне пора.

Она поспешно скрипит дверью, слыша за спиной приказание:

— Жду с докладом в двадцать четыре ноль-ноль.

Придется немного заглянуть в прошлое Лоблова, чтобы он стал понятнее.

Родился Лоблов в деревне Кочемары. Отец его, крупный, с широкой светлой бородой крестьянин, сказал, взяв впервые сына на руки:

— Сделаю его инженером.

И стал делать. Определил одиннадцатилетнего сына в школу второй ступени, бывшую гимназию городка К. Осенью на телеге, зимой на санях регулярно возил в городок картошку, муку, пшено, капусту, а иногда и свежинину — харч сыну. За квартиру платил натурой — полторы меры картошки в месяц. Двум пожилым девам, бывшим монашкам.

Не особенно блестяще, но сын окончил вторую ступень в К., только пошел не по инженерной части, а по строевой — в пехотное училище.

Юноша Лоблов был роста среднего, с крупным станом, здоровья крепкого. Теориями не увлекался, но строевая подготовка ему давалась — промаршировать, круто

повернуться, поднести с шиком, с особым изгибом руку к козырьку — талант, прямо артист.

Из училища его послали в полк на самую границу, только там он не задержался. Однажды Лоблов дежурил по полку. Тут неожиданно нагрянул командир корпуса. Кочемарец и отличился — с такими страстью и громом отдал рапорт, что полнотелый комкор откинул голову, чтобы защитить уши. Пожимая руку дежурному, сказал:

— Хорошо рапортуете, товарищ Лоблов. Только в другой раз давайте чуть потише.— Комкор улыбнулся краешками губ.

Просветлела, заулыбалась и вся свита комкора.

Рапорт имел важные последствия. Комкор вскоре сделал Лоблова своим адъютантом. Такая служба пришлась кочемарцу по вкусу. Почести, слава. Что из того, что все это предназначалось комкору, заслуженному герою гражданской войны. Отдавалось-то чаще всего это через адъютанта. Командир того же полка, в котором служил когда-то Лоблов, обращался к нему просительно:

— Не сможет ли меня принять хозяин? Я вас очень, очень...

Находясь все время в лучах чужой славы, Лоблов как бы и сам стал испускать сияние. Из парня-рубахи, каким пришел в пехотное училище, он превратился в развязного, заносчивого служаку.

Из адъютантов Лоблова откомандировали на курсы переподготовки. Только продолжать учение ему не пришлось — началась война. Первые ее дни он занимался комплектованием частей. Потом оказался в резерве. В это время и подвернулся десант.

К дотошной, кропотливой армейской работе Лоблов просто не приспособлен. Его можно сравнить с конем, который привык к легкой пролетке, теперь впряжен в телегу с тяжелым грузом. Вытянет ли?

С гибелью баржи штабная машина зачихала, застучала, стала давать перебои. У Валенкова по-прежнему людно. Самому бы не потеряться — вот на что расходует силы. Он уже сожалеет о своей вспышке при известии о гибели баржи. Люди должны понести наказание. Задержали радиограмму — отвечай. Только надо было это сделать спокойно, без ненужной горячности, которая только первирует людей, нисколько не помогая делу. Он будет управлять флотилией твердо. К Теунову:

— Как дела с плавсредствами? Спланировали?

Трагедия с баржей и на того повлияла удручающе. Он, пожалуй, больше переживал, чем кто-либо. Как же, к гибели баржи лепилась сама собой злополучная радиограмма. Катер задержался в базе. Уйди он своевременно — кто знает, как закончился бы бой. Отвечает вяло, словно вопрос о плавсредствах никому и не нужен:

— Вы спрашиваете про катера?

— Ну что вы тянете?

— Плохо с ними, совсем плохо.

— А конкретнее?

Теунов входит в роль, становится оживленнее, говорит:

— В наличии два «КМ» и два «ЗИСа». Еще один «ЗИС» к ночи выйдет из ремонта.

— И это все?

— Остальные инвалиды. Или пока в озере — в точках дозора, заняты перевозками...

— Где эшелон с катерами?

— Застрял в пути.

— Людей, сколько людей?

— Водолазы, пограничники, строители...

— Так, сколько?

— Сто тридцать.

— И это вместо двух рот?

Тетнов вбирает в плечи голову, молчит. Зато Валенков упрямится:

— Высадим. Сто тридцать да рота стрелков. Высадим.

В кабинет вошел армейский командир, очень длинный, головой чуть ли потолок не достает. Простучал каблуками прямо к столу: сразу виден строевик хорошей выправки. Сдержанно и выразительно рапортует:

— Капитан Брусняга. Из отдельного стрелкового полка. Командир полка приказал мне передать вам...

— Очень рад, очень рад. — прерывает капитана Валенков и трясет его длиннюцую руку. — Что же полковник желает мне передать? Говорите, здесь все свои.

— Полк не может выделить в десант полной роты

Радость, вызванная приходом капитана, покинула лицо Валенкова.

— Как так не может? А приказ Ленфронта?

— Полк выслал не роту, а батальон. В другое место, по новому приказу.

— А нам?

— Пятьдесят штыков.

Удар за ударом. Тут и железные нервы не выдержат. И у Валенкова задергалась щека, он уже готов сказать капитану что-то резкое, но в эту тягостную минуту в кабинете появляется еще один новый человек, невысокий и во всем черном — фуражке, кожаном реглане, брюках, перчатках. И сам черный. Хотя подбородок чисто выбрит, но все равно отливает синевой. И глаза темные. Снял фуражку — волосы в косой пробор и блестят вороновым крылом.

— Здравствуйте, — сказал он. — Вот мои документы.

Валенков читал поданный ему документ и вроде бы радовался. Фигура выпрямлялась, становилась подтянутее, только лицо противоречило такой твердости — стало

грустное, как от большого горя. Оторвал глаза от документа, поспешно поднялся и представился:

— Временно исполняющий обязанности командующего...

— А моя фамилия...

Поздоровались за руку. Начальник штаба не расслышал, видно, фамилии вновь прибывшего, вытянул обе руки к нему и объявил:

— Товарищи командиры — новый командующий флотилией капитан второго ранга товарищ Чипошкин.

В мягкой улыбке новый командующий не скрыл иронии, сказал:

— Чипошкин? Это что-то среднее между моей фамилией и фамилией моего предшественника. Тот — Дорошкин, а я — Чирков.

Это Чирков, тот самый, что командовал недавно операцией на Неве.

Зашевелились командиры, заулыбались. Только Валенкову не понравилась шутка Чиркова. Не то теперь время, чтобы шутить. Заигрывает с командирами, подлаживается. А те по одному, как бы случайно, оказывались рядом с командующим, и он, не сходя с места, пожимал руку каждому. Подошедший командир при этом представлялся, называя свою должность, звание и фамилию.

Не успела еще эта церемония закончиться, как в кабинет ворвался Грибков и прямо к Валенкову:

— Дело с Дубровиным закончил. Прошу, товарищ капитан второго ранга, завизировать. Вот тут, в углу.

— Э-э, теперь уж не я главный. Э-э, вон он, к нему. Новый командующий.

— Мне все равно, только он, должно быть, пока не в курсе.

— Обойдитесь без меня, — сказал командующий. — Я еще не правомочен. В должность не вступил.

— Мне без визы нельзя, — настаивал Грибков.

Чирков начальнику штаба:

— Ваше имя и отчество? Так вот, Пантелей Власыч, покажите мне, пожалуйста, мой кабинет.

— Пойдемте, пойдемте, — заспешил Валенков.

— И вы с нами. — Это командующий Грибкову.

Втроем они вошли в комнату, где раньше отдыхал адмирал. Кровать теперь хорошо заправлена, стулья выстроились по стенам.

— Вот мы и дома, — сказал командующий, снимая реглан. — Садитесь.

Сели. Валенков и Грибков у противоположных стен, Чирков за стол, на хозяйское место. И Грибкову:

— Что же у вас такое безотлагательное, старший лейтенант?

— Дело. О преступном нарушении дисциплины.

— Нарушение, да еще преступное, — это плохо.

— Да, вопиющее дело. Задержали радиограмму почти на два часа. «МО-518» несвоевременно принял топливо, а потому опоздал в район дозора и не смог оказать помощи каплодке, в результате чего...

— Да, что же в результате?

— «Юнкерсы» потопили баржу и с ней триста пятьдесят...

— Когда?

— Утром сегодня, — отозвался Валенков.

— Подготовили мне встречу.

— Все из-за разгильдяйства, — вставил Грибков.

— Кто же он, разгильдяй этот?

— Старшина первой статьи Дубровин, специалист... Но если говорить честно, — Грибков скосился на Валенкова, — если честно...

Командующий поощрил:

— Иначе и не может быть.

— Тогда виноват не только Дубровин.

— Расследовали, Пантелей Власыч?

— Да, я сам выяснял.

Хотя Валенков и сказал это, но ему было стыдно — не достало у него времени, чтобы произвести тщательное расследование. Командующий хотел от него большего, чем тот сообщил, спросил:

— Согласны?

— Депеша задержана — это бесспорно, только... — запнулся и не стал продолжать.

Ничем не обнаружил командующий своего истинного настроения, сказал довольно безразлично:

— Давайте повременим, старший лейтенант.

— Но у меня нет времени, товарищ командующий.

— И у меня его нет, — хотел улыбнуться дружески, а получилось кисло. — И я буду занят долгое время. Надо принять ванну, пообедать, отдохнуть с дороги, а уж потом... Приходите завтра. А проще — сам вас вызову.

— Не понимаю вас, товарищ командующий.

Тогда Чирков почти ласково:

— До свидания.

— До свидания, товарищ командующий, — ответил Грибков по-строевому твердо, а на лице забота — придется объяснять своему начальнику, почему он, Грибков, не смог покончить с делом Дубровина и позволил отложить его на неопределенный срок. Вышел он уже не по-военному — сильно сутулясь.

Валенков был доволен, что дело Дубровина отложено. Да, тот нарушил дисциплину, больше того — совершил преступление, не доложив вовремя радиограмму. Погибли люди. И Валенков, как строевой командир, не имеет права пройти мимо такого вопиющего... А на сердце беспокойно. Новый командующий отдалил наказание Дубровина, с умыслом конечно, — не желает начинать службу на флотилии с жестокой кары подчиненного. Пусть так.

Встретились два высших командира флотилии, и пока

оба чувствуют себя стесненно, присматриваются друг к другу. Чирков спрашивает:

— Какой теперь главный вопрос на повестке дня?

— Десант, — облегченно отвечает Валенков. Десант по-прежнему торчит огромным, несдвигаемым валуном на пути. Валун должен быть столкнут, но теперь бо́льшая половина заботы перешла на молодого командующего.

— Слышал, — говорит он. — Прежде всего подготовьте, пожалуйста, приказ о моем вступлении в должность.

Валенков гостеприимно возражает:

— Может быть, вначале отдохнете? Ванны нет, но обед готов.

— Вначале приказ. С этого и начнем. Штабных командиров сам буду вызывать по мере надобности. Вы познакомьте меня вкратце с последними десантными операциями.

Не очень охотно Валенков стал рассказывать о первом десанте.

Десанты высаживать не умеем

Недолго, совсем недолго пробыл Шеронов в комнате командующего, вышел возбужденный, бормоча:

— Вправит мозги, вправит.

Теунов беседовал с командующим значительно дольше и пробежал по коридору, ни на кого не глядя.

Разговор и с тем и с другим Чирков вел о задержанной радиограмме от «МО-518». Правда, с Теуновым он говорил также и о десанте. Потом был вызван штурман Коваль. Командующий усадил его рядом с собой и начал расспрашивать:

— Давно на флотилии?

— Без году неделя. Из Военно-морской академии.

— О, академик. С вас и спрос иной. В какой мере знакомы вы с последней десантной операцией флотилии?

В комнате жарко, и штурману это очень нравится. Он нежится, чувствуя, как тепло к нему исходит из дальнего угла, от печки, железный корпус которой выкрашен в шаровый цвет, так ласкающий глаз моряка. Из того же угла и тянет горьким запахом осины с примесью угарного газа.

Это же самое тепло раздражает командующего.

— Ну и нажарили, — говорит он. — Угорим еще. — Обернулся к окну, и вещи, лежавшие на столе, ожили — блокнот залопотал листами, карандаш покатился, газета порхнула к двери. — Ишь ты, не унимается шторм, придется нам здесь преть. Потом проветрю, — повернулся к Ковалю, сходившему к тому времени за отброшенной газетой. — Я спрашивал про операцию.

Коваль, вчерашний слушатель академии, не мог, конечно, не интересоваться десантом. Из скудных документов и многих разговоров с командирами штаба штурман составил о ней свое мнение, сказал:

— Да, знаком.

— Ваша оценка?

— Неудовлетворительная.

— Где же собака зарыта?

— Вы спрашиваете о причинах неудач? Их много.

— Перечислите.

— Хотя бы. Навигационные приборы всюду безбожно врут. На трех катерах был, ни на одном не определена девиация. А где время, чтобы привести все в порядок? Нет времени. Где спецсуда — тендера, десантные баржи? Ничего нет.

— Это все объективные причины, сегодня их, видно, не устранить.

— И завтра не устранить, товарищ командующий. И через неделю не устранить.

— Курите?

— Спасибо, пока не хочу.

Сам Чирков охотно задымил.

Коваль глядел в смуглое, с фиолетовым налетом, без единой морщины лицо Чиркова и думал: «Пожалуй, ровесники. Ему не больше тридцати. Может быть, тридцать один. И уже командующий». — Продолжил:

— Экипажи судов новые, не сплавались, особенно в ночное время. Района высадки не знают. За три ночи смогли переправить сорок человек. Неудачная операция в целом — вот моя оценка.

— А выводы?

— Если хотите — вот и выводы: десанты высаживать пока мы не умеем.

— Довольно мрачно. — Командующий вытянул губы в подобие улыбки, словно штурман наговорил ему много приятного. — Так что же — откажемся от десантов?

— Да, надо бы отказаться, если бы, если бы это было возможно.

— А раз нет, то?

Штурман привык к оперативным играм в академии, поставил сейчас себя на место командующего и, в уме разыграв высадку десанта, ответил:

— Надо высаживать людей днем.

— Дне-ем? — Командующий задохнулся, закашлялся до слез, протер платком глаза и посмотрел на штурмана строго. — Развейте вашу идею.

— Пожалуйста. Ночью операции обеспечивается внезапность. Это много. Но другое. Ночи стоят темные, штормовые. Корабли у нас мелкие, с неисправными приборами. У всех рождается неуверенность и на переходе, и во время высадки. В темноте люди страшатся воды, особенно пехотинцы. Да, при дневной высадке у нас будут потери, и, наверное, очень большие. Но до берега доберется не сорок, больше.

— Это из батальона доберется лишь сорок?

— Я откровенен, товарищ командующий. Насколько

мне известно положение — батальона в десант не собрать. Да, не собрать.

— На сколько же можно рассчитывать?

— Хорошо бы наскрести двести пятьдесят штыков. Оговорюсь — я здесь, как и вы, человек новый. Может быть, начальник штаба и оперативное отделение знают больше.

Дымит командующий, пускает клубы к потолку. Табак в папиросе сгорел до мундштука. Сказал:

— Давайте посовещаемся в узком кругу. Пригласите, пожалуйста, начальника штаба и начальника оперотделения. Комиссару сам позвоню.

Необычное решение

По одну сторону командующего — Валенков, сияющий залысиной, по другую — комиссар, похожий на мальчика. Перед комиссаром и командующий выглядит солидным мужчиной. Теунов и Коваль нарушают симметрию, оба сидят у стены рядом. Ни шутки, ни смеха. «Фитиль», полученный из Ленфронта, гибель баржи и предстоящая десантная операция не располагают людей к веселью.

— Разрешаю курить, — сказал командующий, вынул пачку «Казбека». — Угощайтесь.

Никто не угостился, каждый задымил свое — начштаба с комиссаром тоже «Казбек», а Теунов и Коваль «Беломор». Все сидят на пайке, кому что положено.

— Будем говорить о десанте, — начал командующий. — Сообщите, пожалуйста, Пантелей Власыч, в какой он готовности.

Неприятно Валенкову признаваться, но он говорит:

— Ох, десант, десант. В состоянии он самом плачевном. С плавсредствами как-нибудь вывернемся, но людей нет. И не знаю, в этом-то и вся наша беда, не знаю — где их взять. О батальоне и думать нечего — нам его не сфор-

мировать. Отдельный стрелковый полк вместо роты обещает...

— Сколько в наличии?

— Вот я и говорю — стрелковый полк сулит пятьдесят штыков. Сколько до пирса дойдет — на воде вилами писано. Пока имеем остатки первого десанта, немногим больше сотни. Вот и все. И все.

— Не сможем ли понемногу взять с кораблей, с зениток, с батарей береговой обороны?

— Всюду недокомплект. Хоть всем командирам штабов дайте винтовки, и тогда делу не помочь.

— Что предложит начальник оперативного отделения?

— Предлагаю, — сказал Теунов, привстав, — предлагаю высадить то, что есть. Хоть и частично, но все же выполним директиву. Мы не знаем намерений вышестоящего штаба. Может быть, задуман прорыв Волховского фронта у деревни Липки? Затем наступление по берегу Ладожского озера на Шлиссельбург. Все может быть. В таком случае командованию фронтом позарез нужны разведданные. И не когда-нибудь, а именно сейчас, завтра. В таких случаях и маленькая рыбка лучше большого таракана.

— Какие суда готовы под десант? И сколько возьмут?

Ответил Валенков:

— «ЗИСы» и «КМ». Всего пять. Можно посадить человек семьдесят — восемьдесят, в зависимости от погоды. Больше никак не разместить, никак.

Подал реплику Коваль:

— А будут ли высажены люди — это еще вопрос.

— Высажены будут, можно не сомневаться, — заверил Теунов и так безапелляционно заметил, словно от одного него это зависело.

— Да вы сядьте, пожалуйста, — попросил командующий. — Теперь ваше слово, капитан третьего ранга.

Встал Коваль, тонкий и прямой, как гюйсшток. Теу-

нов бросил на него ревнивый взгляд; Валенков снисходительно сощурился; комиссар потянулся головой к Ковалю — любопытно знать, чего-то «академик» скажет?

— Мне хочется заглянуть немного в историю десантных операций...

— Лекцию нам, — перебил начальник штаба. — Больше-то делать нечего, как только слушать.

— Это необходимо. Для уяснения. Так вот. Десанты существуют с незапамятных времен...

Начальник штаба:

— Удивительное открытие.

— ...Высадка войск, как правило, производилась днем. Высаживаться ночью не было нужды. Оборона городов, я уже не говорю о всем побережье, была не настолько крепкой, чтобы воспрепятствовать высадке. Юлий Цезарь против Помпеи, нормандцы на Британские острова, Наполеон в Египет — все это днем. Днем. Примеров без конца.

— Пощадите нас, товарищ Коваль, — взмолился начальник штаба. — Перед вами все же не студенты.

— Закругляюсь. С открытием пороха неимоверно возросла мощь обороны. Авиация до бесконечности удлинила радиус огня. Высаживать десанты днем стало небезопасно. Поэтому их высадка переместилась на ночь. А вернее — на раннее утро. Расчет прост — почью незаметно подойти к месту высадки, чтобы как можно меньше иметь потерь на переходе, а утром...

Опять перебил начштаба:

— И к чему же вы пришли?

— Высадка десанта утром есть общее правило. Но мы это правило соблюсти не можем. Не можем, и все. Не высадить нам ночью десанта.

Теунов рассмеялся:

— Хороша логика! Вначале доказывал — сырая вода причина всех болезней. И вдруг вывод: — Не пейте кипяченой воды!

— Да, не высадить нам десанта в темное время суток. Надо поломать все традиции последнего времени и возвратиться...

Валенков укоризненно покачал головой — «академик», а несет несусветную чушь. Сказал с сарказмом:

— Давайте осветим фарватер электричеством, пусть сияет, как Невский проспект в мирные ночи. — Переждал и спросил: — Что же вы предложите оригинального?

Смотрел Коваль на командующего, видимо ожидая с этой стороны поддержки. Сказал:

— Операцию провести днем — вот мое мнение.

Валенков и Теунов вскричали:

— Только-то!

— Гениально!

Штурмана охватило волнение — начал пересчитывать пуговицы кителя, забегал взглядом по лицам. Командующий никак не отзывается. Коваль стал сбиваться со спокойного тона, загорячился:

— Да, днем. Я настаиваю на этом. Завтра, лучше всего к вечеру. До темноты. Я полагаю... Я в этом уверен — высадим. Да, высадим. Опасно? Вся война сплошная опасность. На этот раз только днем. У меня все. — Сел. Закинул ногу на ногу — неудобно. Подобрал ботинки под стул — и там им нет места. А сам все смотрит на командующего, только на него.

Тот казался посторонним, молчал. Зато Валенков выгнул шею, впился глазом в штурмана и все повторял: «Изумительно. Замечательно. Бесподобно. Уж не разыгрывает ли их этот академишко?» Теунов, наоборот, отодвинулся от соседа, открыто выражая ему свое презрение — не стоит тратить слов на опровержение предложенной банальности. Прибыл из Высшего военно-морского учебного заведения, надо же чем-то заявить о себе, както оправдать диплом. Чем нелепее предложение, тем оно может показаться более научным. По должности всего

лишь штурман, а сует нос в оперативные дела. Людей бы не смешил.

— Удивили вы меня, капитан третьего ранга, — начал речь Валенков. — Очень удивили. Как это так — высаживать десант днем. Озеро не река, которую можно пересечь за пять минут. Правильно вы сказали — высадка производится ночью или утром, на заре. А тут под вечер, на глазах у противника. Конечно же, и сами вы понимаете: высаживать людей днем — это слать их на верную гибель. Да если какую горсть людей мы и высадим, то лишь на потеху фашистам. Окружат всех и... Перестреляют спокойно, так, ради спортивного интереса перестреляют. Никогда не будет моего согласия на такую, заранее обреченную, операцию. — Валенков возмущенно откинулся на спинку стула, разводя руками и как бы продолжая обвинительную речь.

Нельзя было уклониться и Теунову от развернутой оценки предложения штурмана. По-школьному поднял руку:

— Разрешите мне.

Чирков кивнул, и капитан-лейтенант встал, одернул китель и начал:

— Нам предлагают высаживать десант днем. В принципе — почему бы и нет? Да, в принципе я согласен. Только при каких условиях это допустимо? Лишь в том случае, если у нас имеется перевес в авиации и в артиллерии, словом, перевес в огне. Об этом и штурман упоминал. Посылка правильная, но выводы чудовищные. Возвращаюсь к огню. Есть авиация истребительная, штурмовая и бомбардировочная? Есть. Только не у нас. По многим признакам догадываюсь — не дадут нам ни одного «ишака», не говоря уже о бомбардировщиках. Вон караваны кораблей с хлебом и войском ходят без воздушного прикрытия, оттого и несем такие жертвы, как сегодня. Будь там на переходе истребители, баржа была бы цела

и нам не пришлось бы сейчас считать каждый штык. Возвращаюсь к десанту. Еще на пути к Ореховому берегу нас засыпят бомбами. У берега удар будет комбинированным. Авиация, артиллерия, минометы, пулеметы — все обрушится на нас. Как говорит пословица: «Поедем с орехами, приедем ни с чем». Товарищ капитан второго ранга упомянул о горсточке людей. Положим, высадим эту горсточку. Только что в том толку. Главный козырь десанта — скрытность. При дневной высадке мы его, этот козырь, отдаем врагу. Зачем тогда вообще нужен десант? Мысль товарища штурмана я охарактеризую так: поднял, что называется, до клотика, а опустил под киль. Категорически возражаю против такого легкомысленного подхода к делу.

Теунов сел. Речь его произвела впечатление. Сам он как бы застыл, еще живя своим удачным выступлением.

Взял слово комиссар.

— Мне тоже кажется, — сказал он, — дневная операция будет слишком опасной. Спокойнее высаживать ночью. Но кто поручится, что десант не собьется с пути, как в прошлый раз? Днем риск, и ночью риск. Что же лучше? А то, что вернее. Можно ли увеличить десант? Можно. Караульным взводом.

— Сколько там? — живо спросил командующий.

— Сорок с лишним. Только вот оружия нет. Нет оружия, нет, — торопился комиссар. — Штаб невозможно оставить без винтовок. С чем же туда? Вот уж не знаю.

Теунов ядовито:

— Оставим штаб без часовых — свободно входи и выходи.

— Девушек нам прислали — они и будут нести караул. И выздоравливающие бойцы. Вот.

— Мы, кажется, вполне наговорились, — сказал командующий. — Пора приниматься за дело. Времени и так много потеряно.

«Выговаривает, — подумал Валенков. — Стерплю. Как же он решит? Не пойдет же за легкомысленным предложением этого «академика». Конечно не пойдет».

— Вполне поддерживаю вас, комиссар, давайте укрепим десант караульным взводом.

Говорил командующий, как и в продолжение всего заседания, ровным, пожалуй, бесстрастным голосом. Только Валенкова вдруг кольнуло в сердце. Отчего бы? Ах, караульный взвод! Сам же он говорил о водолазах, строителях, стрелках, говорил, как и командующий, бесстрастно, словно разговор шел не о людях, а о винтовках или шлюпках. Теперь упомянут караульный взвод. Караульный взвод! Да начальник штаба почти каждого там знает в лицо, а мичмана Хомутова, да, Хомутова... О нем он не может равнодушно думать, его он любит, как сына родного. И что же? Пошлет Хомутова на Ореховый берег. Так надо.

Ровный голос командующего отвлекает Валенкова от размышлений:

— Операцию проведем в дневное время.

— Как! — выкрикивает начштаба и дергает головой, словно от удара в подбородок.

— Да, днем...

— Нельзя. — Начштаба поднялся. — Нельзя. — Снова сел.

— ...Хорошая, продуманная подготовка обеспечит нам надежную высадку. Это будет лучше ночной импровизации.

Валенков зябко ежится, ему кажется — погружается он в море вместе с десантом, руки хватают крышку стола, с языка слетает:

— Потонем.

Теунов добавляет:

— Отвечать придется.

— Отвечать надо и так и этак, — прекращает прения

командующий. — Командиром отряда кораблей назначаю товарища Коваля. Оформите, пожалуйста, Пантелей Власыч, приказом. К утру всем необходимым судам быть здесь, в Осиновце. Это касается и канлодок, и катеров «МО», хотя бы за счет временного ослабления перевозок и дозоров. Оружие изыскать. Все. Действуйте.

Стрепунин получает назначение

Вторично пришел Стрепунин к комиссару, ждет, пока тот закончит разговор с капитан-лейтенантом. Скучать не приходится. Стрепунин переживает встречу и размолвку с Софой. Так грубо она с ним обошлась. Ну что же, он выбросит ее из сердца, как в изнурительном походе выбрасывают из вещевого мешка дорогую, но тяжелую вещь. Она ему не пара. Да и что знает он о ней? Как жила до их встречи? Чем живет сейчас?..

— И теперь все в Новой Ладоге?

— Там, — отвечает капитан-лейтенант.

— Все сорок?

— Меньше. Двоих или троих потеряли...

— Значит, не возражаете против лейтенанта?

— Свое мнение я вам уже изложил.

— Тогда идите. — И после ухода капитан-лейтенанта Стрепунину: — Слышали?

— Про десант? Да.

— Вернулся почти без потерь. Молодцы.

Не хотелось Стрепунину выдавать своих чувств, но он их не сдержал: передернул губами, сделал уж очень явный прищур глаз.

Комиссар заметил это.

— Вы, кажется, недовольны?

Лейтенант начал притушать вопрос:

— Не могу судить. Какая ставилась задача? Это надо знать. — Здесь бы ему и остановиться. Как бы не так.

Надо же показать себя: — Вот поэтому и не могу судить. Только...

— Так-так?

— Не на прогулку же ходило сорок человек?

— Конечно, конечно.

— Тогда почему вернулись без потерь?

— Да, почему? Интересно, интересно.

— Ответ один — не было боя. Люди просто прошлись от места высадки до линии фронта, пересекли эту линию — и делу конец.

— Смелое заявление. Очень смелое. Вы не допускаете предположения, что десантники принесли важные вести? Возможно, разгромили немецкую часть?

— Тогда и разговор другой.

— Пусть никакой части десант не разгромил. Но разведать тыл врага — разве этого мало?

— Скорее всего, я не прав.

— Конечно, не правы. К награде представим и командира, и бойцов.

— Раз заслужили...

— Вот и вас я призвал. — Комиссар, как всегда, торопился. — Формируется второй десант. Рекомендую. На должность командира роты или группы, все равно. Как?

— Меня командиром роты?

— Вас.

— Меня? Да я, я... Приложу все силы. Да...

— Подумайте. Дело большое. Если что — сразу, сразу откажитесь. По-честному. Так будет лучше всего.

— Вы мне доверяете, да я, товарищ комиссар...

— Не надо излияний. Пока только рекомендую. Утвердит комфлотилии. Если утвердит. До времени не скажу, когда десант высадится и куда. Тайна. Пойдемте.

У командующего было тепло, но уже не пахло ни осиной, ни угаром, видно, комната достаточно проветрена.

Как? Капитан второго ранга? Бывший командир... Да

разве забыть войну с финнами, Кронштадт, секретный пакет, путешествие темной ночью куда-то в конец Котлина, за кладбище. Чуть было в грязную траншею Стрепунин не сыграл.

За столом еще командир, армеец, майор. Да это же тот, знакомый! Зачем он тут?

— Простите, — начал комиссар. — Вот Стрепунин. О нем я говорил вам.

— Помню, помню. — Командующий дал понять, что он помнит не только разговор о Стрепунине, но и встречу со Стрепунинным в Кронштадте, хотя этот намек был понятен лишь одному лейтенанту. — Здравствуйте, лейтенант. — Протянул ему руку. И комиссару: — В приказ. — Опять Стрепунину: — Возглавите моряков — караульный взвод и водолазов.

— Строителей тоже, — добавляет комиссар.

— И их.

— Есть! — поспешил Стрепунин.

— Теперь знакомьтесь — ваш командир, майор Лобов.

Вот оно что, Лобов командир. Поставили же под начальство! Ничего лучшего и придумать не могли. Стрепунин делает полшага не к майору, а от него. Но руку протянул. А тот:

— Мы уже знакомы. — Все же прикоснулся к руке своего теперь подчиненного. И только. Было не одному Стрепунину заметно: Лобов далеко не в восторге от теперешней встречи с лейтенантом, отвернулся от Стрепунина.

— Вам, лейтенант, тоже не мешает послушать, — сказал командующий. — Садитесь.

Комиссар к нему:

— А я пойду.

— Да, да. — И после ухода комиссара: — Повторяю: задача ваша — разведать окрестности Шлиссельбурга.

Главным образом поселки за номерами один и два и посадочную площадку. Письменных приказов не будет — негде вам с бумагами возиться. Вот район разведки. — Он поставил карандаш на карту.

Стрепунин вытянул к карте шею, но что-либо разобрать не мог.

Еще говорил командующий, что операция рассчитана на двое суток. Выход — через линию фронта, у деревни Линки, где стоит наш, то есть имеющий какое-то отношение к флоту, полк. Он поддержит выход десанта демонстративной атакой.

— Мы не хотим вам, майор, как командиру десанта, связывать руки конкретным планом боя. Сами решайте на месте. У вас будет рация, если потребуется, штаб флотилии всегда сделает нужные указания по радио. А вы в свою очередь постоянно информируйте флотилию о своих действиях. Сейчас же, — закончил командующий, — вас ждет начальник штаба. У него составлен график посадки десанта на суда, разработан порядок связи и намечено место и время выхода отряда из немецкого тыла.

— Разрешите, — сказал Лоблов.

— Прошу.

— Меня беспокоит оружие.

— Оно беспокоит и меня, — ответил командующий. — Безоружными вас не отправим.

— Я, товарищ командующий, понимаю вопрос вооружения десанта несколько в ином разрезе. Вы беспокоитесь главным образом о винтовках. Не так ли?

— Да, в первую очередь.

— Конечно, без винтовки боец не боец. Но я хотел бы иметь кое-что посолиднее.

— Десанту придается миномет, легкий пулемет, есть и автомат. Правда, всего лишь один.

— Мало. Хочу иметь пушку.

Вон он какой! Как непринужденно говорит с коман-

дующим. Требует пушку. Стрепунин многое бы простил ему за это.

— Пушки не будет, — сказал командующий.

— Даже «сорокапятки»?

— Даже такой. Высадку поддержим корабельной артиллерией и береговой обороны. А там пушка вам была бы лишь обузой.

— Высадка займет часы, а берег — двое суток. Прошу пушку.

— И рад бы в рай...

— Есть еще вопрос.

— Давайте.

Лоблов выразительно посмотрел на Стрепунина.

Командующий понял и сказал:

— Можете быть свободным, лейтенант.

Тот ушел с горькой думой: «Не доверяет мне майор, выпроводил».

— Так что у вас?

— Товарищ командующий, я буду чистосердечен до конца. Не нравится мне командир роты. Недисциплинирован.

— В каком смысле?

Стрепунин был в кирзовых сапогах и порядочно наследил в комнате.

— Форму одежды нарушает. И вообще какой-то не строевой.

— Да, с формой одежды неувязка, — согласился командующий. — Получается какая-то смесь форм морской и сухопутной. Хотя бы эти сапоги. А как в ботинках воевать — в них и в лес не войдешь.

— Простите, но я говорю не о сапогах. Сапоги непременная принадлежность строевика. Я говорю о галошах. Утром встретил лейтенанта...

— Неужели на сапоги надел галоши?

— Нет, он был в ботинках.

Командующий не смог скрыть веселости, рассмеялся.

— С ботинками можно.

— Галоши?

— Да, если командир не в строю.

Белое, с румянцем на щеках лицо майора стало покрываться красными пятнами, затем пятна слились в сплошное пунцовое поле. Лоблов пытался что-то сказать, но только шевелил губами. Такого конфуза ему давно не приходилось переживать. И все из-за него, лейтенанта.

А Стрепунин — вновь испеченный командир роты — шел по коридору на выход. С ним поравнялся Шеронов и загородил путь. Тот инстинктивно посторонился, давая возможность старшему лейтенанту пройти, но неожиданно получил такой резкий тычок в плечо, что едва устоял на ногах. В самое ухо Стрепунина протрубил хриповатый бас:

— Лейтенант, порядка не знаешь.

Сразу Стрепунин не смог сообразить, что происходит, и лишь через какое-то время пришел в себя и заорал:

— Борис Петрович! Боря!

— Тише ты, не в лесу перекликаешься.

Теперь и Стрепунин понял, что он не в лесу, поэтому приглушил голос до шепота:

— Ты здесь?

— А ты? Цел и невредим?

— Контужен. Не особенно сильно. Сейчас от командующего. Назначен...

— В десант?

— А ты откуда знаешь?

— Я все знаю. Только не завидую.

— Почему же?

— Пойдем расскажу. О первом десанте.

Вышли на улицу.

— Ветер утихает, — заметил Шеронов. — Почти не слышно прибоя. Распогодится.

— Хорошо бы. Так что же случилось с первым десантом?

— Слушай...

Первый шаг

Какой же вывод сделал Стрепунин из рассказа Шеронова? Вода — главный враг десанта на первой стадии высадки. Надо приучить бойцов к озеру. Выйти бы на шлюпке, поставить парус, пробежаться по рейду, и пусть ветер и волны оморячат десантников. Сделать попытку высадить бойцов где-нибудь на мелководье прямо в воду.

Крылатые мечты летят быстро, только время их обгоняет. Нет его у Стрепунина. Да и шлюпок нет. Простых лодок на берегу не видел. Так что же? С чего начинать? Хотя бы поговорить с бойцами, ободрить теплым словом, отогнать от них страхи. Найдутся, конечно, бывалые молодцы — рыбаки, жители озер и рек, смелые, отчаянные. Сто голов — сто умов.

Исподволь Стрепунина одолевали заботы, роились думы, возникали в уме планы. Хотя бы место высадки — не знает же его лейтенант. А как действовать в тылу врага? Положим, стратегические вопросы пусть решает майор Лоблов, Стрепунин лицо подчиненное, куда майор, туда и он. Опять вопрос: «Как бы ты поступил сам, сам?» Вот и решение: «Изучу Ореховый берег в деталях по сухопутной карте, да так, чтобы, зажмурив глаза, все видел перед собой, тогда и решу, как надо действовать. Не пойду на Ореховый берег без своего четкого плана».

Лоблов у начальника штаба. Стрепунин ждет выхода майора в коридоре. Вот и он.

— Товарищ майор...

В уме майора злополучные галоши. Все время попадается под ноги этот лейтенантик. Лоблов придирчиво рассматривает мундир Стрепунина. Пуговицы на шинели

горят, из ворота кителя выглядывает белый подворотничок. Вместо галош — сапоги, наваксены. Все же неприязненно спрашивает:

— Таким черным вороном и пойдешь в тыл?

— Раздобуду ватник.

— И фуражка...

— Не будет ли от вас каких указаний?

— Не знаешь что делать, а берешься командовать. Откажись. Не поздно. На Ореховом берегу и убить могут.

— Меня один раз убивали. Выжил.

— Второй раз этого может и не случиться. — Он рассмеялся.

— Так вы ничего мне и не скажете?

— Не беспокойтесь, скажу в свое время и в своем месте. Нужен будешь — вызову. — Доски пола громко отозвались на его строевой шаг. В дверях мелькнула хорошо выбритая толстая шея.

Первая осечка. Сам себе:

— Черт с ним. Действуй, Стрепунин, самостоятельно.

Флагманские специалисты помещались в одной комнате. Было тесно. Пять столов впритык образовали площадку — хоть ставь сетку и играй в волейбол. Людей больше, чем столов. Все пишут, беседуют, говорят по телефону.

— Могу я видеть товарища штурмана? — обратился Стрепунин к ближайшему командиру.

— Вот тот, с волосами на лбу.

Коваль вычерчивал на морской карте путь десанта. Действительно, волосы, не особенно густые, цвета старой соломы, свисали ему на прямой лоб. Он нехотя оторвался от чертежа, выслушал Стрепунина и сказал:

— У меня времени нет. Но знаю, нет его и у вас. Садитесь. Вон табуретка, берите и как-нибудь. Вот карта озера.

— Очень ценю ваше время, — сказал Стрепунин.

— Ладожское озеро,— начал Коваль скороговоркой,— представляет собой впадину, заметно понижающуюся с юга на север. Вода пресная. Глубина в отдельных местах превышает двести метров. В озеро впадает множество рек и речек. Самые большие из них Волхов, Свирь, Вуокса...

«На кой ляд мне эта лекция», — думал Стрепухин, беспокойно ерзая на табуретке.

Штурман вещал, как с кафедры:

— Зеркало озера составляет площадь почти в восемнадцать тысяч квадратных километров. Испарение огромное. И все же воды большой избыток, который и сливается в Финский залив по единственной артерии — реке Неве...

До Невы допел — это уже за местом высадки.

Штурман и сам, видно, почувствовал, что хватил через край. Сказал:

— Может быть, даю и лишнее, но дело от этого не пострадает. Я многое бы смог порассказать о течениях, островах, рыбах, но все это опускаю. А вы знаете, лейтенант, что на озере даже тюлени водятся...

«Ах, бог с ними, с тюленями, скорее бы про Ореховый берег».

— Озеро дышит — уровень его то повышается, то понижается. Сейчас оно ниже нормального почти на полтора метра. Это плохо. Обнажились мели, камни. Особенно тяжело плавать в Шлиссельбургской бухте, где предстоит высаживаться десанту. Бухта эта и без того мелководна. Запомните, там течение стремится к Неве, на запад.

Ну вот, заговорил все же о деле. Стрепухин проявил интерес, спросил:

— К берегу на судах подойти невозможно?

— Не подойти даже на самых малых катерах — «ЗИСах». Разве только на шлюпке, да и то не везде.

— Значит, высаживаться в воду?

— К сожалению, да.

Известие это не было новым для Стрепунина, но он до самой последней минуты надеялся услышать от штурмана про фарватер, по которому можно было бы спокойно дойти до берега. Такого фарватера в том месте нет, и придется волей-неволей принимать душ.

— Про берег, пожалуйста. Чем он характерен?

Тут штурман назвал такое, что лейтенант только рот раскрыл от удивления и уныния.

— Южный берег озера имеет свою неповторимую особенность, — сказал штурман. — От Невы до Волхова тянутся два канала. Ближе к озеру — Новый, а в удалении — Старый.

Стрепунин нетерпеливо:

— Их ширина, глубина?

— Глубина Нового канала равна сейчас трем метрам.

— Три метра! — вскричал Стрепунин, обратив на себя внимание многих командиров. — Три...

— Да, три. В другие годы бывает выше. Это зависит от уровня озера. Глубину я назвал по фарватеру. У берегов мельче.

— Что мне берега. А ширина?

— Ширина тридцать — тридцать пять метров.

— Да как же его преодолеть?

— Этот вопрос сразу не разрешишь.

— Как далеко Новый канал от озера?

— Метров сорок, не больше.

— Всего лишь сорок. Не на этой же полосе драться?

— Разумеется.

— Тогда подскажите выход. Плавать не все умеют. Как переправлялся первый десант?

— Там было много водолазных костюмов, в них и пересекли Новый канал, по очереди.

— Как же нам? На плотах? Где их взять? Рубить деревья? Да есть ли они там?

— Есть, лесу много.

— Так что же?

— Доложу командующему. Может статься, снабдим вас шестерками, тузиками. Не нужны будут — затопите.

Рассказал штурман и про Старый канал, но тот уже не пугал воображение Стрепунина. Старый канал давно заброшен, обмелел, затянулся илом и зарос травой. Воды в нем по ширине едва ли больше десяти метров, а по глубине — одного метра. При нужде можно перейти вброд. Основное препятствие — Новый канал. Конечно же, о каналах Стрепунин слышал и раньше, но как-то неопределенно. Теперь же их представил во всей грубой натуре, словно стоял на их берегах. Ушел от штурмана более озабоченным, чем пришел к нему.

Воды не боимся...

После штурмана Стрепуниву захотелось взглянуть на своих подчиненных, прежде всего на строителей.

...Землянка заставлена двухъярусными нарами. Узкий проход ведет к столу, сплошь окруженному солдатами. Кто-то горланил:

— Делай по!.. Бери конца!

Ему отвечали пискляво:

— А я засушу Марата, а я его засушу.

Последовал удар, казалось, насквозь пробивший столешницу.

Внизу и наверху свистели, храпели, ворочались. Один солдат сидел на нарах и писал письмо. Воздух в землянке был тяжеловат от пота и чего-то кислого. Белолицый солдат, стоявший у стола, заметил нового человека, а раньше всего — нашивки на его рукаве и заорал:

— Сми-рна!

За столом завозились, сидевшие встали, правда, вяло. Двое-трое соскочили с нар, остальные остались на своих

местах, только головы приподняли да шеи вытянули гусями, почуявшими беду. Боец, прокричавший «Смирно!», начал рапортовать:

— Товарищ... — У него получилось — «товарись». — Товарищ... — Опять споткнулся, упершись взглядом в нашивки Стрепунина.

— Лейтенант, — подсказал Стрепунин.

Обрадованный боец преодолел препятствие, торопливо выдавил:

— Товарищ лейтенант. Группа отдыхает. Солдат Раудмяги.

Как на параде, Стрепунин взял под козырек и громко, отрывисто выпалил:

— Здравствуйте, товарищи!

Ответили ему нестройно. Он пожал руку Раудмяги и сказал:

— Тейе олете эстлане? — Для верности повторил: — Вы эстонец?

— Я, я, — обрадовался Раудмяги и зачастил, зачастил на своем родном.

Стрепунин охладил его пыл:

— Не понимаю, не понимаю, товарищ Раудмяги. — Скомандовал всем: — Вольно! — хотя и без команды каждый вел себя как хотел.

Приход Стрепунина немного расшевелил бойцов. С нар стали скатываться, соскальзывать солдаты и обступать Стрепунина. Тот поощрил их:

— Давайте к свету ближе. — И к Раудмяги: — Вы говорите — группа на отдыхе. Не рано ли? Отбоя, кажется, не было.

Отвечали скопом:

— Что нам делать?

— Загнали в нору и сидим, как суслики. Скоро засвищем от радости.

— Картошку почистили, вот вся и работа.

Стрепунин с вопросом:

— Кто старший?

— Мы сами себе генералы.

Он опять:

— Из какого рода войск?

— Строители мы.

Другой с горечью добавил:

— Только теперича не строють, а разрушають.

— Вы знаете, что назначены в десант?

— Зынаем, — сказал эстонец.

Его дополнили:

— Да уж два раза ездили, то ись гуляли по морю. И на доцаннке, и на катернпке. Да быдто бы заблудились. Теперь сюда выгрузили.

— Свой-то берег по запаху чуем.

— А уж досталось... О-о! — подали голос с нар.

Были в первом десанте — понял их Стрепунин. Хватили ребята горя, теперь полны страха перед озером. Спросил:

— Воды боитесь?

Бойцы засмеялись, что уже было хорошим признаком — не пали, значит, духом, ответили:

— Оно как вам сказать...

— Это смотря на чем повезут.

— И какой ветер.

Раудмяги ответил категорично:

— Воды не боимся, когда мы в бане. — Светло-голубые глаза его прищурились, заискрились, и продолговатое белое лицо стало светлее и ярче.

Шутка всем понравилась. Раздались смешки. А черноволосый боец с толстым носом сказал:

— Э-эх, в баньку бы таперя. С веничкам ба.

— Ишь чего захотел, Пряслов.

Стрепунин к нему:

— Бекасики есть?

— Пасутся помаленьку. А как им не быть, товарищ лейтенант. Почитай, два месяца бани не видели. — И он передернулся всем телом, как это делает лошадь, когда ее одолевают слепни.

— Ничего, Пряслов, — ободрил его кто-то из дальнего угла. — Завтра примем душ. Хоша и без веничка, а попаримся.

— Да, — подтвердил Стрепунин, — искупаться придется. Меня назначили вашим командиром. Вместе будем душ принимать. К этому приготовьте себя. Может быть, голова и останется сухой, но по пояс вымоемся обязательно. Сохраните в запасе сухую пару белья и лишней портянкой обзаведитесь.

Белье запасное найдется, но лишние портянки редко у кого есть. Выяснилось из дальнейшего разговора — винтовками бойцы обеспечены, и патроны и гранаты имеются, только все это отобрано и где-то хранится. Паек сухой был, но съеден, а новый не получен. А главное, нечем размочить сухой паек.

Стрепунин назначил Раудмяги командиром группы. Приказал ему получить на всех продукты, отыскать и принести в землянку оружие и выделить дневального у входа. Спать до шести утра. В семь быть в строю, у пирса.

Обратился Пряслов:

— Письма-то писать домой али еще вернемся?

Со всею серьезностью Стрепунин ответил:

— Живыми в руки не дадимся. От вас самих многое зависит. Не дадимся, товарищи.

— Не дадимся, — вторили ему вразнобой.

— Ну вот. А письма все же напишите. Не на концерт идем.

Люди едят, спят, шутят — живут. Завтра пойдут на Ореховый берег. Каждому не больше двадцати двух. Сколько из них вернется? До самого последнего часа они будут шутить, ругаться, тосковать. Будут жить.

Другие десантники

У водолазов чувствовалась школа. Живут, как и строители, в землянке, но какая разница! Снаружи выставлен дневальный. Он справился, к кому и по какому делу лейтенант пришел? Имеется старший группы — мичман Кривцов. Он отрапортовал лейтенанту по всем правилам — любо смотреть и слушать. И матросы все с широкой костью, на подбор. Водолазное дело слабых не терпит. Сухой паек получен. Готовы хоть сейчас садиться на катера и очень жалеют, что не попали в первый десант.

Заикнулся было Стрепунин про озеро, что придется, мол, выходить с катера да прямо в воду и что бояться этого, дескать, не следует. Но сразу же почувствовал — невпопад поднял командир такую тему, лица матросов осветились снисходительной, больше иронической, улыбкой. Это им, водолазам, да бояться воды? Уж сам-то он, лейтенант, подлинный ли моряк, раз говорит такое. Старшой же их, мичман Кривцов, сказал, очень сильно нажимая на букву «о»:

— Вода, товарищ лейтенант, наше рабочее место. Мы во-до-лазы.

Народ развитой, любознательный. Расспрашивали Стрепунина, с какой целью высаживается десант, долго ли придется ходить по фашистским тылам, что там за место — поле, горы, лес? Как заселено?

О цели высадки десанта и времени пребывания его в тылу немцев Стрепунин кое-что еще мог рассказать, хотя и не захотел вдаваться в подробности. А вот что бойцам особенно нужно было знать — что там за место? — Стрепунин сообщить не мог: сухопутную карту пока не видел, а расспросить кого-либо времени не было. Так, понаслышке представлял — болото там, лес, вот и все. Зато с завидной энергией напирал на каналы. О них от штур-

мана узнал многое, каналы как бы в мозгу Стрепунина разлились, образовав два потока — широкий и узкий. Стал внушать водолазам идею переправы:

— Приготовьтесь. Топоры возьмите. Возможно, плот придется сколачивать.

— Топоров у нас нет, — сказал Кривцов. — И достать негде. Обойдемся. Ежели что — вплавь мы, вплавь.

Вплавь... Холодком так и обожгло Стрепунина. Да-а, народец тут собрался.

Опять подумал: «Сколько-то из них вернется? И кто останется там? Может быть, вон тот — голова стриженая, как и у других, а волос завивается в кольца? Или вот этот, с горячими глазами, которого называли Тимоней?»

Поймал себя Стрепунин на мысли — командир, а думает не о победе, а о смерти. Мысленно выругался: «Гнилой ты интеллигент!»

...Караульный взвод жил в сарае. Воздуха много, но хотелось бы чуть больше тепла. Тени от керосиновой лампы метались по стенам, то вырастая до огромных размеров, то исчезая. Матросы писали, брились, чистили обувь. Это уже не караульные, а десантники. Только оружия у них нет. Винтовки сдали своим преемникам — девушкам и выписанным из госпиталя полуинвалидам, а новых еще не получили. Им приказано к семи быть у пирса, а с чем туда идти? Боезапас есть, но что делать с патронами? Из пальца не выстрелишь. Да — гранаты, уж их-то можно использовать.

Распоряжается здесь пока старший лейтенант. Только он с десантом не идет, остается по-прежнему в карауле. Спешит передать взвод Стрепунину, у него своих, караульных, дел по горло. Пусть командир десантной роты сам занимается оружием.

В караульном взводе свой мичман — Хомутов, из деревни, должно быть. Ростом выше Стрепунина, только те-

лом сух, а еще суше, видно, характером. Нелюдимый, слова не вытянешь. Ишь сердитый какой или недоволен, что назначен в десант? По всему заметно — привык около штабов околачиваться. Лучше уж тут и оставался бы, в этой тихой гавани. Ничего не поделаешь — с кем сажают тебя, того и называй братом.

Взвод без оружия? Почему не получил? Нет на складе? Да не может этого быть.

— Не верю, — рубит Стрепунин.

Мичман дерзит:

— Проверьте.

Каждому бойцу требуется не танк и не пушка, а всего-навсего трехлинейка. И этой нет! Да...

Бежит Стрепунин в штаб, обращается к одному командиру, к другому. Тот разводит руками, а этот говорит:

— Стрелкового оружия нет. Ищем. К утру раздобудем.

— Ищут... Где же зарыт этот клад?

Близко к полуночи Стрепунин смог приступить к изучению Орехового берега. На двухверстке ломаными линиями тянутся каналы. На Старом — обозначены мостики, на Новом — ни одного. Между каналами набрызганы зеленые пятна леса. Зелень переходит через Старый канал и там тянется широкой полосой вдоль всей карты, обрываясь на западе под самым Шлиссельбургом. За этой зеленой полосой синеют штрихи болот; кое-где вкраплены изумрудные пятна перелесков и голубые пятна озер. То тут, то там насыпаны горстями прямоугольнички поселков. Деревня Липки прилепилась к самому Ладожскому озеру. Чья-то рука красным карандашом провела по Липкам жирную черту — линию фронта. Прижались к лесу сгустки прямоугольников со стороны болота — Поселок номер один, Поселок номер два... Мимо них пробежала узкоколейка, а вдоль Старого канала — шоссейка. Стре-

пушину подсказали — булыжная, построенная чуть ли не Петром Великим.

У Поселка номер два чистый квадрат — аэродром. И квадрат, и надпись сделаны рукой, — значит, до войны, когда была издана карта, аэродрома не было, его построили немцы. От Старого канала к аэродрому ведет проселочная дорога.

Одолевает Стрепунина дерзкая мысль — всем десантом навалиться на этот квадрат, поджечь баки с бензином, взорвать самолеты.

Нападем!

Вот и план атаки. Десант обходит аэродром не по дороге, а с другой, с фронтальной, стороны и нападает с юга, от болота, откуда фашисты меньше всего ждут. Стрепунин руководит боем — посылает одну группу на дорогу, чтобы отрезать немцам отход, забыв, что он всего лишь командир одной роты, а вернее — одного взвода. Но воображение так расходилось, что трудно остановиться.

Штурман ушел на корабли согласовывать и утрясать вопросы, чтобы подготовить завтрашний переход. И другие специалисты разбрелись кто куда. Стрепунин возбужден, бегает по опустевшей комнате и мысленно продолжает руководить боем. Лучше всего напасть на аэродром со всех сторон одновременно. По сигналу. Дать зеленую ракету. Группу из двадцати человек послать в засаду на шоссейную дорогу и ни единой собаки не пропустить, всех уничтожить.

— Ударим! — дерзко восклицает он. — После боя — хоть поминки.

По ком поминки? По тебе, Стрепунин?

Как быстро он вспыхнул, так же скоро и погас. Опустился перед картой усталый, начал кулаком мозолить глаза. Наконец вспомнил про майора. Чем сейчас тот живет? Каковы его мысли и планы — Стрепунин даже и

отдаленно не знает. Опять нервно бегает по комнате. Столько нерешенных вопросов! Нет оружия у караульного взвода; неизвестно как и на чем переправляться через Новый канал; что делать в тылу врага? Произвести разведку боем. Это очень общо. Есть много и более мелких забот: где находиться ему, Стрепухину, во время перехода озером? Кто будет заместителем майора и так далее. Созрело решение:

— Пойду к нему. Раскроемся.

Ночь наша

В землянку Лоблов вернулся в первом часу. Позади разговоры, разговоры, разговоры — с командующим, начальником штаба, командиром отряда. Коваль особенно ему надоел, этот «академик» несчастный. Ты довези меня до берега, да без потерь, да высади на сухое место. Не могу-у, осадка не позволяет. Черт бы побрал его вместе с осадкой. Сам не может выполнить своего прямого дела, а другим лекцию читает до утра. Ступай туда, ступай сюда. Захвати «языка». Не бойся воды. Трепло академическое. Только майор Лоблов не даст из себя веревки вить. На него где сядешь, там и слезешь. Первый десант три ночи мурыжили. Высадили сорок человек — какая армия! К черту все. Устрою пир.

Застучали в дощатую дверь.

— Войдите!

Она, Софа Скорнякова. В сапогах и несменяемой стеганке. Зажмурилась — после темноты да на электрический свет.

— Вы меня звали, товарищ майор?

— Не так, не так с командирами разговаривают. Их не спрашивают, а им докладывают.

Слова строгие, а в голосе насмешливая нотка. Понимай так — другого бы я поставил на свое место, снял бы

с него стружку, а тебе, девушка, разрешаются некоторые вольности. Ты должна это оценить.

Софа вытянулась, сдвинула каблуки, поднесла пальцы к виску, вывернула ладонь наружу и начала:

— Разрешите доложить...

Губы майора кривятся, лицо расплылось.

— Ой, Скорнякова! Пальцы растопырены, ладонь вывернута. Да за такое... за такое добрых молодцев на гауптвахте по три дня держал.

Девушка вертела у виска ладонью и молчала.

Майор от души хохотал.

— Ладно, говорите как можете. Бинты получены? Хорошо. Лекарства там разные, йод? Отлично. Стрептоциды? Изумительно. А спирт?

— Получила.

— Не вижу. Где проба? Может быть, там отраву подсунули. Скопытишь нас всех. Так где же проба? Уж так и быть, обойдемся. Верю, верю — получила спирт. Он пригодится там, на Ореховом берегу. Назвали же — Ореховый. Уж достанется нам на орехи. Пушки не дают. А без пушки отобьют нам ушки вместе с головой. Пока же, пока будьте за хозяйку.

Майор выхватывал из сидора хлеб, шпроты, колбасу и бросал на стол.

Нерешительно Софа переступала с ноги на ногу, оставляя фигурными подметками узоры на земляном полу. Уходить надо, а вот не хватает воли податься к двери.

Между тем Лоблов вдохновенно суетился у стола. В руках финка, жесть банки режет, как бумагу. Вкусный запах шпрот заполнил землянку. Руки у майора сильные, нож так и играет в них; глаза широко раскрыты, блестят, невольно приходит на ум — смазал их содержимым банки.

— Пойду я, — сказала девушка, не двигаясь, однако, с места.

Финка перекрыла ей дорогу.

— Ни шагу. Готовьте стол.

— Вы, конечно, дадите мне уйти.

Майор много имел дел с женщинами и был у них, конечно, не рабом, а господином. Больше всего он брал их приступом. Теперь же не столько понимал, сколько чувствовал подсознательно — перед ним женщина другого рода, а потому к ней требуется иной подход. По опыту Лоблов знал, что такие натуры, как Софа, легче всего поддаются мягкому обращению. И еще. Они самолюбивы. Только это самолюбие надо в них разжечь. Он отошел от двери и сказал:

— Идите. Фарватер, как выражаются моряки, свободен. Не пара я вам. Слишком груб, неотесан. Идите.

Моментально Софа отбросила неприступность, стала мягче.

— Простите, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. Мне надо отдохнуть. Впереди тяжелый день.

Тряхнул майор головой, как конь, готовый пуститься напропалую.

— Тяжелый день. Не слишком ли мягко выражаетесь? Может быть, будущим днем для нас не найдется места на земле, тела наши успокоятся в озере, а души войдут в царствие небесное. Исчезнет майор Лоблов, словно его никогда и не бывало. Останется лишь какая-то слабая тень где-нибудь на фото. Сейчас я полон сил, свержусь, ненавижу и люблю. Люблю! Хотел бы... Дикая мысль — обнять бы всех женщин разом. А завтра, завтра в мое тело, возможно, вопьются раки и корюшки, а красотки, черт бы их побрал, по-прежнему будут пялить глазки, ждать встреч и обмирать в объятиях. Да, обмирать, только не от твоих, не от твоих рук, майор Лоблов.

Он садился, вставал, порывался к Софе и все говорил и говорил, завораживая девушку.

Никогда Софе не приходилось выслушивать такой циничной откровенности. Слова Лоблова ее коробили, но вместе с тем и льстили ее самолюбию, что вот такой сильный и видный мужчина исповедуется перед ней, пусть и в грубой форме. Было в его словах и много неприкрытой правды, а правда, высказанная горячо, никогда не оставляет других равнодушными.

Хоть и увлекся майор, но осознал, что наговорил много лишнего, что, пожалуй, может девушку и отпугнуть, поэтому просительно сказал:

— Не побрезгуйте выпить со мной. Вы особенная, не похожая на других. Смелая. Без предрассудков.

Заколебалась Скорнякова, но все же ответила:

— Нет уж, пойду.

Майор стал разжигать ее самолюбие:

— А-а! Неужели ошибся? На словах — орлица, на деле — гусыня, гоготу много, а храбрости ни на грош. — Вдруг снизил тон, отбросил иронию, заговорил просто, не похоже на него: — Соня, забудьте все, что я говорил. Сделайте мне одолжение — не как вашему командиру, а как человеку, — выпейте со мной. Выпейте. Ну хотя покажите вид, что пьете, только пригубите. Что-то муторно на душе. Присядьте, Соня.

— Хорошо, — храбро сказала она и, чтобы заглушить внутренний голос, который прямо-таки вопил против такого решения, начала по-хозяйски готовить стол. Нарезала тонкими ломтиками хлеб, вытерла подвернувшейся под руку газетой стопки — колпаки от фляг — и села.

Он снял с гвоздя манерку и наполнил спиртом стопки. Чокнулись, и она мужественно глотнула. И зашлась. Не могла продохнуть воздух — глаза полезли из орбит. Прокашлялась, отдышалась. Майор угодливо подал ей шпроты на куске хлеба. Она пожевала — стало легче.

— Санитарка-а. — Он аппетитно уминал колбасу. — Ни за что-а бы не а-поверил, что была на поле боя-а. Не

можете проглотить такой мизерной порции. Надо выдохнуть воздух, а потом уж пить. Вот так. — Он опрокинул стопку в рот, как в яму.

Софа выдохнула воздух и потянула спирт ртом — допила стопку, правда, и теперь не без прыскания. Стало легко, все поплыло — так бывает на карусели, и в теле невесомость. Отлетели сомнения, забот никогда будто и не было. Она тут госпожа, что прикажет, то и будет сделано. Майор не посмеет ослушаться. Она испробует свою власть. Приказывает:

— Майор, хочу бутерброд. И шпрот, шпрот побольше.

Он незамедлительно и с большой охотой исполняет ее желание, подает хлеб, с которого капает масло. Софа смеется-заливается, она вся в упоении.

— Еще по одной, майор!

Опять глотает чистый спирт, от которого перетягивает узлом горло, хоть и задыхается и глаза полны слез, но давится от смеху.

А тот к ней нежно, насколько это вяжется с его натурой:

— Все будет хорошо, хорошо, Софьюшка. — Вытирает своим платком ее слезы, снимает с ее головы берет и гладит ее густые светлые волосы, спускающиеся завитушками до плеч. И более решительно: — Жарко вам, милая Соня. Долой стеганку...

Ей хорошо, она смеется...

«Любезный» разговор

Все трое словно остолбенели. Стрепунин у двери — рот раскрыт, глаза огромные. Лоблов, как отпрянул от Софы, так и замер, повернутый одновременно к Стрепунину и спиной, широкой, медвежьей, и лицом, растерянным и перекошенным. В смешное положение Лоблов попал, а смешным быть он не привык, сам немало поизде-

вался над неуклюжими поступками других. Софа вытянула щитом ладонь и смотрела на Стрепунина униженно, точно моля о пощаде. Немая картина продолжалась недолго, все пришли в себя, расслабились. Лоблов зарычал:

— Рыцарь печального образа. Вр-рывается. — Одернул гимнастерку, поправил портупею, плеснул в стопку из фляги и с бешенством: — На, хлебни, сухой моряк.

Стрепунин выпил. По телу разлился огонь, а сердце заполнило чувство ревнивое и мстительное. Положил на кусочек хлеба ломтик колбасы, сразу проглотил закуску и отошел к двери.

Опять заговорил Лоблов:

— Интеллигент заштатный. Карликовый философ. Надоел ты мне. Скажи-ка, почему один вид твой выводит меня из себя?

— Скажу.

— Ну-у.

В голове Стрепунина удивительно просветлело, словно спирт прополоскал мозги и они заблестели. Только бы сдержать себя, не быть грубым. Сказал:

— Мы антиподы.

— Болтай дальше.

— Вы, если можно так сказать, грубый натуралист. Утолить свои желания, выставить себя напоказ, сыграть роль — на это вы, как видно, большой мастер.

— Закрой рот, добродетель. Видали мы таких. Да, мы люди, как люди, с недостатками, но и не скрываем их. И если я хочу жрать — не стесняюсь своего желания, беру колбасу, пока она есть, и набиваю ею до отказа свой желудок. — Он проглотил колесико колбасы. — А такие, как ты...

— Что они делают?

— Тоже набивают себе животы, если не страдают язвой и геморроем. Только делают это с оглядкой, исподтишка и окружают себя забором словесной шелухи и гни-

лой философии. И думают — все прикрыто, и спокойны, и блудят потихоньку. Фиговый листок есть — чего же еще! Только врешь, шельма, шила в мешке не утаишь. Все видят ваши плутни. Ханжи... Молчишь?

— Не мне бы говорить, и не вам бы слушать, товарищ майор. — Форма выражения сохранена, а в тоне Стрепунина злость и непочтительность. Задеть бы за живое этого... Противник философии, а сам разводит ее. Превозмогая себя, говорит: — По делу пришел. Давайте обсудим.

— За командира десанта решаешь, спешишь заменить его. Только Лоблов не думает споткнуться раньше других. Мы еще посмотрим. Лоблов сумеет показать кое-кому, как надо воевать.

— Не худо бы и сейчас что-то видеть. Хотя бы канал.

— Что ты лепишь мне этот несчастный канал. Командующий про эту лужу. Начальник штаба с ней же надоел. Моряки, а какой-то канавы испугались. На берег придем к этому орешнику, там и побеседуем.

— Но туда надо дойти.

— Вот об этом пусть беспокоится флотилия. А свою преданность Лоблов сумеет доказать и без штрафного батальона.

Упоминание штрафного перекосило Стрепунину лицо, он вспыхнул и процедил:

— Тогда у меня все. Пойду отдыхать.

— Только не сломай ноги по пути.

Но и здесь привычка взяла свое, Стрепунин руку под козырек и пристукнул каблуками.

— Подождите, подождите! Я с вами!

Это взмолилась Софа. Мужчины спорили, а она сидела подавленная и как бы чужая. Теперь поспешила из-за стола, цепляясь ногами за табуретки.

— Вы останетесь. — Лоблов властно схватил ее за рукав стеганки.

— Нет, нет, — повторяла девушка, и голос ее дрожал, да и вся она была в нервном возбуждении.

Пришлось Лоблову отступить и сказать:

— Идите. — И Стрепунину: — А у нас с тобой... Вместе будем воевать...

Софа вцепилась в лейтенанта, повисла на нем. Так они и вышли из землянки, не заметив даже солдата, шедшего к Лоблову. Солдат полюбовался этой парой и покачал головой.

Было прохладно и тихо. Воздух звонок, отдается каждый шаг, а озера совсем не слышно, будто его и нет. Обычно в этой широте ночное небо очень блеклое, а звезды еле мерцают, готовые вот-вот погаснуть. Теперь горят в полную силу, и особо глазасто смотрит с востока Орион. Чуть ниже и левее горит Сириус — звезда крупная, с кулак.

На руке Стрепунина камнем висит Софа, но он не стряхивает этот груз, видно, ему тяжело и сладостно. Софа первно шепчет:

— Не оставляй меня одну. Не оставляй, Федя.

Федя... Это в первый раз. И больно и радостно. Как давно его никто так не называл. Штрафник... Куда ты лезешь!

А Софа свое:

— До санчасти. Только туда.

Ночь глубока, дорога пустынна, и он с девушкой наедине. Софа пьяна и податлива. Стрепунина одолевает гнев — была Софа, да не у него, пила, да не с ним. Подвел ее к красному домику, говорит, словно со словами отрывает от себя самое дорогое:

— Теперь одна...

Девушка облегчает его руку, отстраняется, но не уходит, шепчет:

— Что завтра будет? Ты не знаешь, что будет завтра. Не знаешь. И я не знаю. Никто не знает.

Лейтенант весь во власти затаенного гнева, и ему жаль самого себя.

Тянется, тянется Софа к нему и в самое его ухо твердит:

— Что завтра, что завтра... Никто не знает. — И вдруг: — Поцелуй меня.

Тот отступает. Только девушка быстрее. Обнимает его за шею, прижимается теплым ртом к его губам, отрывается и прячет лицо в его шинели, вздрагивая от рыданий. Он все же высвобождается от нее, и она медленно уходит к кирпичному домику.

Где взять винтовки?

Десантников, готовых любую минуту сесть на суда, было сто семьдесят. Они имели один ручной пулемет — пограничники; один миномет — специальное отделение; один автомат — у мичмана Хомутова; винтовок сто двадцать пять и гранаты. И переносную радиостанцию.

Стрелковый полк пришлет пятьдесят штыков. Хорошо уж и то, что придут штыки. А вот у матросов караульного взвода нет ни одной винтовки. А требуется их сорок три. На складе флотилии хоть шаром покати. На кораблях? Есть, но... для собственных нужд. На батареях? Пушку легче достать.

У командующего перебывали все командиры штаба. Каждому он предлагал вопрос:

— Где можно достать винтовки?

Отвечали по-разному — мотали головой, разводили руками или просто говорили: «Не знаю». Тот же вопрос был задан и Шеронову:

— Найду, — ответил он, как всегда, с хрипом.

Это было вечером. А поздней ночью командующий потревожил его телефонным звонком:

— Как дела, Шеронов?

— Вы спрашиваете про свечки?
— Нет их?
— Будут.
— Когда?
— Вовремя.

На самом деле Шеронов нашел арсенал. Им оказалась школа юнгов и боцманов. Там служил близкий дружок Шеронова, через него он и пронюхал о винтовках. Поехал на место и пролил слезу перед начальником школы капитаном первого ранга. Тот посочувствовал и сказал мягко, задушевно:

— Вам, старший лейтенант, нужны винтовки, а у нас нет топлива, мало учебников, не достает жилья. Что делать — война.

Конечно же, Шеронов не возмутился, он предвидел — без боя ему не получить не только ни одной винтовки, но и трепчика от нее. Стал воздействовать на психику капитана первого ранга, в своей речи намекнул на особую важность предстоящей операции и как бы мимоходом упомянул высшее начальство, очень заинтересованное в ней. За срыв операции придется отвечать...

— В наши дни, — возразил начальник школы мягко и даже ласково, — в наши дни ответственность висит на всех тяжелым якорем. Вы, старший лейтенант, не допускаете того случая, самого, я бы сказал, заурядного, что на школу может напасть воздушный десант. Допускаете? То-то. Не исключена и другая возможность. Не сегодня, так завтра мне прикажут построить всю школу и скомандовать: «Шагом марш куда-нибудь за Московские ворота». Мы переживаем критический момент. Не могу я остаться с голыми руками. Так и доложите командующему флотилией.

Чирков собрался лечь в постель, уже снял китель, когда Шеронов потревожил его и, словно принеся победу, доложил:

— Винтовки есть. У юнгов. Не дают.

— Так что же? — Командующий уже понял — спать еще рано, сел за рабочее место и застегнул китель на все пуговицы.

— Прошу позвонить адмиралу. Вот адрес.

— Может быть, мы вначале позвоним командующему флотом?

Долго вызывали Ленинград — то линия занята, то в трубке одни шорохи да щелчки. Флотилии нужно пятьдесят, даже сорок винтовок. И это рядом с городом, в котором военная промышленность славится на весь мир, рядом с городом, который нечем защищать. Так думал командующий, а в телефон «ВЧ» говорил:

— Свечей нет. Хотя бы десятков пять. Да тут, у юнгов. Очень прошу. Большое спасибо. Спокойной ночи. — Положил трубку и Шеронову: — Слышали?

— Теперь все в порядке.

— К семи быть здесь.

— Есть! Буду!

В кабинете Валенкова шла другая беседа. Теунов принес метеосводку и занел заупокойную:

— Синоптики наворожили нам несчастье.

— Что обещают?

— Хорошую погоду, малую облачность. Не подойти десанту к берегу. Разбомбят на переходе. Воздушного прикрытия нам, конечно, не дадут.

— Это несомненно, — подтверждает Валенков. — Ленинград не могут прикрыть — фашисты там орудуют, как на своем полигоне. Где уж о нас заботиться. Не выделят ни одного «ишака».

Решение высадить десант днем принял командующий вопреки начальнику штаба, а в неудаче операции обвинят весь штаб, скажут — штаб не сумел обеспечить. А чем ее обеспечишь? Разве шапками-ушанками? Да и тех нет.

Течение мысли Валенкова перебивает Теунов:

— Пробомбить бы Ореховый берег с воздуха, потом произвести артналет, пусть короткий, пятнадцатиминутный. Для прикрытия отряда поднять две-три эскадрильи.

— Несбыточная мечта, — бросает Валенков.

— Так нас учили.

— Э-э, учили, учили. Мало ли чему нас учили. Говорили — будем воевать на чужой земле. А приходится вон на свой берег, да и то шатай-валяй, высаживай. Днем!

— Странное решение.

— Я сказал бы... — У Валенкова так и рвалось с языка — головотяпское решение, но он вовремя пересилил себя, пресекся на полуфразе — нельзя же критиковать командующего. Обеспечить выполнение его приказа — вот для чего призван и начальник штаба и его штаб. Он же, Валенков, знает дело, а потому и отдаст операции и все свои силы, и все свои знания. Так и сказал: — Наше дело не критиковать, наше дело обеспечивать.

Теунов не согласился. Идея высадить десант днем подана штурманом. Теунова щелкнули в нос — хотя ты и оперативный работник, а план операции все же принят не твой. Такое запоминается на всю жизнь. План дневной высадки имеет очень и очень уязвимые места. И начопер подчеркивает:

— В мясорубку людей посылаем. Сами спланировали немцам победу. Попали в нелепое положение и выполняем поганую роль. Тупо сковано — не наточишь.

Валенков согласен с Теуновым, но все же решил погасить эту сомнительную дискуссию:

— Да, тяжелый будет денек. До рассвета осталось два часа. Отдыхать некогда. Вы с артиллеристом проверьте готовность артподдержки, а я прогуляюсь на шпс, посмотрю, как идет сосредоточение плавсредств.

От штабного домика к пирсу дорога шла редколесьем. Нога увязала в песке. С озера тянуло бодрящей прохладой. Небо все в звездах, а звезды крупные — прямо электроламны понатыканы в небо. Для старого моряка небо — раскрытая книга, в которой он прочтет многое. По звездам определит свое место в открытом море, проложит курс корабля; по небу узнает и погоду на ближайший день. Небо подтверждало сводку синоптиков — будет вёдро, ясная, безветренная погода. В этой мысли Валенков утвердился, и это его продолжало угнетать. Он думал: «Годами командующий молод, а пост его высок, вот и захотел проявить себя, ухватился обеими руками за случайно поданную мысль. И принял решение, противоречащее здравому смыслу».

— Что день грядущий нам готовит?

Грустно покачал головой, поймав себя на мысли, что заговорил стихами.

В это время командующий, проводив Шеронова, хотел лечь в постель, но помешал Коваль.

— Нужны плюнки, — сказал он. — Шлюпки. Без них не форсировать Нового канала.

— Это я знаю, товарищ штурман. Знаю. — Пододвинул Ковалю папиросы. — Угощайтесь.

Оба закурили, чтобы лишь время оттянуть.

— Водолазные бы костюмы им. Или лодки надувные, — говорит штурман.

— Хорошо бы. Но где их взять? Были понтонные лодки — все разбиты.

— Так что же?

— Приказал с капонерских лодок снять по одной. Воют командиры.

— Значит, будут шлюпки?

— Не столько, сколько бы хотелось...

Так вот и побеждаем

В сосняке перед пирсом сгрудились десантники — сухопутчики и моряки. В сухопутчиках явно различались две группы: курсанты пограншколы — с зелеными петличками и строители — с черными. Курсанты были и помоложе возрастом, и постройнее, и почище одеты — пуговицы надраены, сапоги если и не наваксены, то помыты, во всяком случае, без насохшей грязи. Во главе группы стоял младший лейтенант — сильный, через шинель чувствовалось его натренированное тело — грудь, бицепсы. Все вооружены. Есть даже легкий пулемет. И группа эта самая большая.

Строители явно плохой выправки — стоят как попало. Ватники на них давно потеряли свой девственный зеленый цвет, были выгоревшими, а порой и заляпанными. Все здесь не первогодки. Это видно хотя бы по вещевым мешкам — они, как и ватники, повыгорели и позасалились, но выглядят пузатее курсантских — за время службы солдаты сумели, как здесь говорят, прибарахлиться. Тут чувствуется практическая сметка — у одного из вещмешка выглядывает топорище, у другого черенок лопаты, у третьего рядом с гранатами на поясе висит нож, в хороших ножнах. Новоиспеченный командир этой группы — Раудмяги — ведет себя еще неуверенно, мундиром не выделяется, вообще бы слился со своими подчиненными, кабы не его высокий рост и белое, очень вытянутое лицо.

И моряков две группы, очень разнящихся между собой. Та, что поменьше, — в полной морской форме: черные шинели на моряках хорошо пригнаны, на бескозырках шевелятся ленточки с золотыми якорями на концах и тоже золотыми надписями во весь лоб. Это ученики-водолазы, остатки от первого десанта. Их, как и многих здесь, две ночи таскали по озеру, поэтому сейчас не все

из них верят в счастливый исход операции, но на лицах такое презрение к опасности, в фигурах такая несокрушимая сила, что и другие, глядя на них, выпрямляют спины и тянут голову к небу. Командир этой морской группы — мичман Кривцов — и среди водолазов заметно выделялся, не столько шинелью командирского покроя, с двумя рядами пуговиц, фуражкой с крабом и ручкой, сколько атлетической фигурой. Он очень походил на плакатного моряка времен революции, с росписью — на одной руке сердце, пронзенное стрелой, на другой — адмиралтейский якорь; на плече — винтовка, на поясе — бомбы с рукоятками. Для довершения картины не хватало мичману лишь пулеметных лент, скрещенных на груди.

Еще в этой группе заметен был матрос с румяным мальчишеским лицом и умными, пожалуй слишком серьезными для такого возраста, голубыми глазами. К нему обратился долговязый и толстоносый сосед:

— Так и не попробовал, Тимоня?

— Нет.

— Может, вода? Отпусти глоток для определения.

— Отстань, Хохлов.

Другая группа моряков выглядела разношерстной. Обмундирование на ней сборное: шинели, бушлаты, ватники, бескозырки, пилотки. Объединяли группу полосатки: каждый матрос ухитрялся показать уголок тельняшки на своей груди, если не было другого знака, причисляющего его к флоту. Группа стояла без винтовок. Это караульный взвод.

Все же один человек во взводе вызывал зависть всех десантников. Им был мичман Хомутов. Не фигурой и не мундиром он выделялся, походил на разжалованного матроса — в стеганке, морской фуражке и кирзовых сапогах. Поперек груди красовался автомат — единственный на весь десант. Автомат и был предметом общей зависти.

Не смешиваясь ни с одной группой, обособленно стояло отделение минометчиков. Те знали себе цену. Труба, опорная плита, как рыцарский круглый щит, двунога и ящики с минами — все выделялось, все было необычным.

Утро выдалось теплое, почти безветренное. От воды поднимался туман, довольно прозрачный, и сквозь него проглядывались на рейде корабли — длинный, с изящными формами сторожевик и неуклюжие, со сдвинутыми на корму мостиками каплодки. Небо было темно-синего оттенка, а горизонт заволокло бахромой. На востоке середина бахромы горела; солнце пыталось прорваться через эту завесу и не могло, казалось раскаленным диском, закутанным в пурпурный шелк. По озеру шли невысокие, округлые валы и без злобы, скорее даже ласково, накатывались на берег.

У пирса хороводом столпились катера «КМ» и «ЗИСы», чуть покачиваясь на волне. Мачты-кресты и особенно пулеметы, поднявшие в небо тупые рыльца, придавали катерам самоуверенный и воинственный вид.

Людям надоело стоять без цели — на суда не сажают и присесть не дают, занялись рассказами.

— У нас-от нету озера, — сказал мечтательно строитель, опираясь на винтовку и любуясь волнами. — Исти малюшенькая речушка.

— Зато у вас, Погорелый, леса-а.

— О-о, леса-а. У нас они исти. А какая охота на тетеревей, у-у. Пойдем с батей, сядем в шилаш и ждем, ждем. Ашшо темно, а вокруг бормочуть, бормочуть, чувыхають, хлопають крыльями, как в ладошки бьють. — Погорелый начал работать руками. — А как зачнет зориться, эх-ти, товарищи, борода, гребешки красны, красны, а перья черны, шелками отливають. Рука становится какой-тоти слабеющей, и палец не хотит, вот не хотит жмать на спусковой. Вот, товарищи, там рассвет так рассвет. А солнце как играить — м-му...

У пограничников свое.

— У нас тоже озеро. Не такое разливное, нет, не такое. Но хорошее. Подходящее. На рыбалку выедешь на лодке, и тоже солнце — ба-альшое, прямо с ворота-а. Ничего, приятно посмотреть. Приятно, подходяще.

— Как ты говоришь — ничего, подходяще,— передразнил один из товарищей. — Эх ты, мормышка. И сам-то похож на ерша.

На самом деле пограничник, начавший разговор о рыбалке, сильно смахивал на ерша — глаза навыкате и во весь лоб, уши оттопырены, словно раздувшиеся жабры, отчего голова делалась широкой, башкастой. Бойцы смеялись над ним, правда беззлобно, казалось, он обладал чем-то таким, что и их прельщало.

И в караульном взводе говорили об утре. Матрос с тонким птичьим носом рассказывал:

— Прицепщиком я работал. Тогда еще практикантка у нас была из института. То сеешь, то убираешь, все дни на природе, а как бы ее и не видишь. А тут я започевал в поле, один на всю округу.

Кто-то заметил:

— Одному неинтересно, лучше бы с практиканткой.

— Один, — тоже как бы сожалея, продолжил первый. — Один. Ночью-то все звезды считал, как Иванушка-Дурачок. Помните, в «Коньке-Горбунке»: звезды на небе считал да краюшку улетал? Так вот и я считал звезды. И слышу — начали пробуждаться птицы, петь на разные голоса. Вначале запел чибис — пи-и, пи-и, заблеял барашком бекасик, заговорил перепел. Недалеко дуб одинокий стоял, развесистый, а сучья-руки растопырил, словно живой, — таким родным показался. А как брызнуло солнце лучом, да пустил свою трель жаворонок, ну, братцы вы мои, такая меня радость одолела, что и сказать не могу. Забыл, понимаете ли, многое, а то

утро помню, и навсегда останется в памяти. Раньше природы не замечал, а тут вдруг. Пошто бы это?

— В практикантку влюбился — вот почему.

— Ну-у, — только и возразил рассказчик. И потух, опустив голову.

Были и небылицы надоели всем, бойцы начали роптать. Среди пограничников послышалось:

— Чего не садимся, кого ждем?

Загалдели и строители:

— Измором берут.

— Куда угодно, только скорее.

Сбросили с себя независимый вид и минометчики, спрашивали у моряков караульного взвода:

— Долго еще будем здесь сушиться?

Моряки отмахивались от любопытных или отвечали невразумительно. Как им не знать причину задержки с посадкой! У них нет винтовок, и, пока их не привезут, десант на суда не сядет.

И еще была одна причина — полк не прислал своих стрелков.

Раза два пролетела мимо десантников падающей звездой, скорой и яркой, Софа. Красные кресты на сумке и рукаве делали ее очень заметной. В голове у нее было муторно, и она не могла смотреть людям в глаза. Стрепунина обходила стороной. Ночной поцелуй жег ей губы. Она была бесконечно зла на себя и суетой, большей частью совсем ненужной, старалась подавить смятение и заглушить сумбур в своих чувствах.

Стрепунин считал себя командиром трех групп — строителей, водолазов и караульного взвода. Группы эти охотно признали его власть и приставали к нему с разными вопросами. Он был в ватнике и с вещмешком за плечами. От других отличался фуражкой с крабом, кинжалом на черном ремне и полевой сумкой.

Командиром во всей красе был Лоблов — сапоги хро-

мовые, шинель в рюмочку, в петлицах две эмалевые шпалы, весь в ремнях, скрипучий, с одного бока пистолет, с другого планшетка, на груди бинокль — как на параде. Им любовались. Морякам караульного взвода он сказал:

— Ну, разжалованные, приготовьте кулаки. Драться-то вам больше нечем.

Строителей приветствовал:

— Скучаете, сезонники! Вам бы теперь чего-нибудь сломать.

Десантники не знали, как принять слова командира, и на всякий случай кисло хихикали.

Вдруг загалдели:

— Идут, идут.

Шли стрелки. Вел их капитан Брусняга, такой же подтянутый и во всей форме, как и Лоблов, тем не менее не так бросающийся в глаза. Группа гулко отбивала шаг, хотя и была небольшой. Штыки холодно блестели. Капитан остановил группу, подбежал к майору и стал рапортовать. Лоблов слушал, а на устах змеилась улыбка. Спросил:

— У вас нет часов, капитан?

— Как нет, есть.

— Сколько же на ваших?

— Восемь двадцать.

— А приказано быть?

— Разрешите доложить...

— Чего докладывать. Так вот мы и побеждаем, — заключил майор и пошел к пирсу, не скомандовав даже «Вольно». Капитан это сделал самостоятельно. Ему захотелось отвести душу. С кем? А, вон командир, с наганом, лейтенант.

Представились друг другу. Капитан спросил:

— Вы хорошо знаете майора?

— Совсем не знаю.

— Как же вести себя с ним? Пришел вчера за советом, а он: сначала мне войско, а потом я вам инструкцию. И теперь вот. Спохватился — жалуется младшему по званию. Все же добавил: — Тяжело с ним.

— Маловато вы привели.

— Конечно мало. Всего тридцать.

Отвратительно завизжала сирена. Катера поплыли от пирса в разные стороны, словно стая уток, завидя коршуна.

Раздался выкрик:

— Дождались!

На сигнальной вышке у маяка взвились черно-желтые флаги, оповещавшие — самолеты противника в воздухе.

Уши разодрал залп зенитной батареи. Загремели выстрелы с канонерок и сторожевика, вразнобой застучали пулеметы на катерах.

Со стороны Орехового берега улавливался шум моторов. Вон и виновники тревоги — два «юнкерса».

Десантники упали, обняв землю.

Самолеты поочередно спикировали на корабли. Бомбы разорвались в озере. Стрельба постепенно успокоилась. Сирена прерывисто возвестила о конце тревоги.

Всех интересовал вопрос: заметили самолеты десант или нет?

Бойцы стряхнули с шинелей и ватников песок и сбились опять в группы. Катера потянулись к пирсу. Только многим солдатам садиться на суда теперь расхотелось. Самолеты дали почувствовать людям: земля — это мать родная, спасет, лишь держись покрепче за нее. А там, в озере, за что держаться? Разве за тонущий корабль? Унылый пейзажик.

С грохотом, газом и пылью подкатил грузовик. Шеронов уже махал руками:

— Кому винтовки — подходи!

Караульный взвод обступил машину и расхватал ору-

жие. Несколько винтовок оказалось даже в излишке. Шеронов потребовал от Стрепунина:

— Распишись за всех.

Матросы ворчали, щелкая затворами и заглядывая в стволы:

— Дерьмо.

— С гражданской войны пришла.

— У меня с дыркой — учебная.

А там уже команда:

— Стройся! На посадку, шагом марш!

На пирсе два командира в кожаных регланах — Валенков и Коваль. Оба смотрят на десантников, растекающихся по катерам. Оба озабочены. Один нелепостью операции — везти десант в такой яркий день в логово врага! Не безумие ли? Другой думал о походных ордерах, артприкрытии — воздушного прикрытия не будет, о дымзавесах.

Проходили солдаты и матросы, все такие молодые и цветущие. Хотя бы этот мичман-водолаз. Богатырь. Алеша Попович! А вон и караульный взвод. Мичман Хомутов идет по пирсу навстречу своей судьбе.

Набровистые глаза Валенкова хмурятся — на катерах непорядки: трос не скатан в бухты, пустая пулеметная лента не убрана с палубы. Малейшая оплошность на судне сильно нервировала и больно задевала начальника штаба, но он терпел до поры, до времени.

По морям, по волнам

Посадка десантников на суда проходила гладко, и это Валенкова несколько успокаивало. Коваль всю ночь, как пират, рыскал по рейду и побережью и ловил суденышки. Набралось одиннадцать катеров. Сюда вошли и только что отремонтированные и только что спущенные с железнодорожных платформ. Катера бы смогли принять

весь десант, но вышло недоразумение — на двух из них уже разместились курсанты, но тут только хватились: в баках нет бензина. Началась карусель — пересадка бойцов. Группы перемешались, и это оказалось не главной бедой. Встал вопрос — ждать ли, пока незадачливые катера заправятся топливом, или заменить их? Если заменить, то чем?

Здесь-то начальник штаба и отвел душу. Перед ним предстали двое мичманов. Лихие моряки выглядели затрапезно — кителя повытерты, подворотнички бог знает сколько времени не стираны, брюки в машинном масле, лица в щетине, глаза красные, с набухшими веками.

— Кто вы такие! — разносил их начштаба. — Нет, я вас спрашиваю, кто вы такие! Где служите!.. И это моряки! Да вы...

Один из моряков все же вклинился в речь Валенкова, сказал:

— Товарищ капитан второго ранга. Что хотите со мной делайте. Три ночи не спал. Лицо сполоснуть некогда.

— Ах, какие мученики! Один такие. Одни? Товарищи ваши меньше вас работают? Или вы в море, а они на бал? Вон, вон... — Валенкову не приходил на ум пример, отчего он еще больше раздражался. — Вон посмотрели бы на... — Опять не мог вспомнить, кого бы дать за образец.

— Мичман Бычанинов, — подсказал Коваль.

— Да, да, Бычанинов,— обрадовался Валенков.— Три ночи подряд высаживал десант, все время в дозоре и ни разу не был в ремонте. Вон и сейчас тут.

— А мы разве отказывались когда. Да мы...

Мичманов начштаба отпустил и к Ковалю:

— Что предлагаете?

— Вон «Чапаев» на рейде стоит. Посадим людей на транспорт.

— Сажайте. Сюда его, что ли?

— Зачем же. Барказ и мотобот есть. На них и доставим группу.

Караульный взвод шел у десантников на шкентеле, то есть в хвосте. Взвод и направили на транспорт «Чапаев». Бойцов транспорт принял на борт, барказ и мотобот взял на буксир — авось пригодятся при высадке. Еще четыре шестерки были забуксированы разными катерами. Труды Стрепунина не пропали даром, его больше всего тревожил вопрос о переправе через Новый канал, напоминал и штурману и другим командирам о высадочных средствах, и теперь может быть доволен — есть шлюпки, будет на чем переправиться через Новый канал. Но Стрепунин многого не знал. О переправе через каналы, главным образом через Новый, думали и помимо него — командующий, начальник штаба и прежде всего оперативное отделение. Шлюпки не без борьбы пришлось взять с кораблей, правильнее бы сказать — отнять у кораблей. Несмотря ни на что, десант все же ими снабдили. Четыре шлюпки — это много, можно довольно быстро переправиться и на двух.

Команда строителей разместилась на разных «КМ», а водолазы на «ЗИСе». Сам Стрепунин пожелал транспорт. Лейтенанта не покидала тревога за своих бойцов, хотелось бы иметь их в кулаке, где надо, помочь, подбодрить теплым словом или строгим приказом. Но что делать — в карман себе не посадишь.

Стрепунина Лоблов игнорировал, не хотел замечать. Сам пошел было на «КМ», но Коваль, как главный на переходе, приказал, именно приказал, ему быть вместе с ним, Ковалем, на морском охотнике. Оба старших командира — отряда и десанта — должны находиться рядом: будет меньше недоразумений на переходе и при высадке.

Майор Лоблов имел при себе нечто вроде штаба — капитана Бруснягу, ординарца, Софу Скорпякову и радиста с рацией.

С беспокойным сердцем начштаба отдал через сигнальный пост приказание: «Начать движение!»

Пошли кораблики, подняли буруны за кормой. Закурили, задымили канонерские лодки и транспорт.

Такая удивительная погода! Облака перистые, высокие. Видимость превосходная. Все суда проектировались четко. Невооруженным глазом Валенков наблюдал огненные языки вымпелов.

Разбомбят и расстреляют десант еще в озере. Десяток наших истребителей, даже одно звено вселило бы в людей бодрость. Нет, не дали флотилии для прикрытия десанта ни одного самолета. Люди обречены. И он, начальник штаба, бессилен чем-либо помочь. Командующий захотел отличиться. Донесение в Ленфронт будет выглядеть благовидным: «Десант высажен». Сколько же выйдет на берег в действительности? Э-э, кто там будет считать.

У Валенкова еще теплилась слабая надежда — всю авиацию немцы бросили на Ленинград, возможно, под Шлиссельбургом не осталось сколько-нибудь значительных сил. Тогда отряд может миновать озеро без больших потерь.

Хорошая погода смущала и Стрепухина. С высокого мостика транспорта ему здорово виден был весь отряд. Он шел тремя колоннами. Справа — катера с десантом. Их девять. Четыре тянули за собой шестерки. Позади колонны — бронекатер. Центр составили четыре катера «МО». Они выполняли роль противовоздушной обороны отряда. Как же, на них «сорокапятки» и пулеметы ДШК. На левом фланге — «Чапаев» с барказом и мотоботом. Наконец, замыкали отряд, в некотором от него удалении, две канонерские лодки. Их широкие корпуса, подъемные механизмы, изогнутые в виде арки, вызывали у всякого интерес и некоторое удивление. Канлодки шли как артприкрытие и на вид были очень грозны.

Ждут ли немцы этой москитной армады? Скорее всего, первый десант не был ими замечен, иначе невозможно объяснить такое спокойствие в воздухе. Знай хоть что-нибудь о первом десанте, они бы не были такими беспечными. И все же, все же... Не отчаяние ли гонит десант к Ореховому берегу?

Отряд идет и час, и два...

В воздухе тихо. Слева давно открылся Бугровский маяк, справа Шлиссельбургская крепость, суровая громада — круглая башня с остроконечной крышей, церковь без креста, высокая каменная стена и за ней дома во сколько-то этажей. Крепость, казалось, сидела в воде. Город Шлиссельбург как бы прятался за ней и не поражал воображение ни церковью, ни узкой заводской трубой, ни разбежавшимися домиками. Крепость оставалась нашей.

Стрепухин изучал карту, знал: Ореховый берег находится всего лишь в пяти-шести километрах от Шлиссельбурга. Знал. И не мог погасить удивления от близости города.

Все время из ума не выходила Софа. Лучше сказать, в голове постоянно работали две мысли — открытая и подспудная. Он критически оценивал походные ордера кораблей, состояние светлого, в редких облаках неба и слегка всхолмленного озера; не укрывались от его наблюдения в белесой дымке дали маяки, как часовые, поочередно встречавшие и провожавшие десант. Мысль менялась вместе со сменой впечатлений: малая волна — хорошо, судам легко управляться, удобно высаживать людей на берег, не захлестнет шлюпки валом, не опрокинет; светлое небо — плохо, жди налета вражеской авиации.

Мысль о Софе гнездилась глубоко, была смутной и не менялась, все вертелась вокруг вчерашнего вечера. Иногда эта мысль порывалась заслонить собою все, но

этого ей пока не удавалось — живые впечатления постоянно оттесняли ее, загоняли под спуд. Теперь она стала шевелиться, расти, заполнять собой существо Стрепунина. Скорнякова слабохарактерна, непостоянна. Стоило ей увидеть лощеного хлыща, как сразу побежала к нему. Слабохарактерна, непостоянна? Тогда почему же не забывает Нефедова? Нет, что-то в ней он не допонимает. Да и какое ему дело до всего этого — видеть ее, слышать ее низкий, вибрирующий как бы от внутреннего волнения, от избытка сил голос...

Налетит авиация, бомба разнесет вон тот морской охотник, а вместе с ним, вместе с ним... Нет, нет, только не ее. Будет плавать, просить помощи. И он, Стрепунин спасет ее, он, а не кто другой. Тогда узнает, каков он есть, только тогда...

Пушечным выстрелом прогремел крик сигнальщика:

— Самолеты в воздухе! — И лишь затем стал уточнять: — Три... Девять... Двенадцать...

Командир отряда Коваль и командир десанта Лоблов находились на мостике морского охотника. На верхней палубе был и «штаб» Лоблова — Бруспяга, ординарец, радист и Скорнякова. Кому захочется сидеть в кубрике или каюте в такую прекрасную погоду. Там духота и однообразие, здесь легко дышать и такой простор для глаза.

Скорнякова была всюду желанной гостьей. Ее присутствие на охотнике воспринимали как праздник. Матросы оказывали ей особое внимание, каждый предлагал что мог — махорку, папиросы, шинель: на ходу катера все же ветрено. От всего Софа отказывалась мило, с шуткой. Согласилась лишь взять бинокль. Смотрела в него не на берег и не в озерные дали, а все на транспорт «Чапаев» — долго и внимательно, разыскивая там кого-то.

Особенно усердно ухаживал за ней один комендор. Ему хотелось, чтобы девушка расспрашивала его о чем угодно — о глубинных бомбах, о пушке, о жизни моряков. Софа отвечала на вопросы, внимательно слушала, но в пространные разговоры не вступала. Тот объяснял это застенчивостью девушки. А у нее была другая причина — она думала о своем. Где теперь Нефедов, ее первая любовь? Она отдалась ей тогда без колебаний и страстно. Это случилось перед самой войной. Встречи их были редкими и торопливыми — никогда они не могли быть вместе столько времени, сколько бы им хотелось, всегда он спешил, считая минуты и боясь опоздать в часть. Это разжигало их чувства и придавало их встречам особенную остроту. Началась война. Увольнения Нефедова прекратились. Тогда он не вытерпел, совершил «самоволку» и угодил на гауптвахту, а потом и на фронт. Пошла на фронт и Софа. Помимо желания быть полезной людям, ей казалось, что на фронте она встретит Нефедова, во всяком случае, будет ближе к нему. На передовой линии судьба свела ее со Стрепухиным, которого она в первую их встречу, когда пришла в штаб части справиться о судьбе Нефедова, так возненавидела...

Комендор начал, как выражаются моряки, «травить» — рассказывать анекдоты, правда с длинной бородой.

— Слушай, Соня. Захотел как-то матрос повеселиться, а денег нет. Вот и пишет отцу: «Дорогой папа. Случилось со мной большое несчастье — потерял я дифферент[1]. Умоляю — выручи, пришли денег, и я куплю эту проклятую штуку...» Отец ему отвечает: «Милый сынок. И рад бы выручить тебя, да нет у меня денег. Но в тебя крепко я верю — парень ты оборотистый, выкрутишься из любой беды. На всякий случай совет подаю тебе —

---

[1] Дифферент — разница в осадке судна носом и кормой.

продай люверсы[1] и купи дифферент. Только ни в коем случае не трогай жвака-галса».

Родилась Софа в Кронштадте, выросла в семье военного моряка и понимала кое-что в корабельном деле, знала, например, и клотик, и стеньгу, но не представляла ни «дифферента», ни «жвака-галса». Но смеялась, хотя и сдержанно — надо же доставить удовольствие рассказчику, сама же думала о прошлой ночи, такой безалаберной и глупой. Ввязалась в отвратительную попойку с Лобловым. Сама поцеловала Стрепунина. Софа кусает губы, как бы желая соскрести с них ощущение... Чего? Неприязни? Тогда зачем же думать о Стрепунине, зачем так пристально смотреть в бинокль на транспорт «Чапаев» и разыскивать там кого-то?

Мелкой дрожью заходится палуба морского охотника, стрекочут винты, усами расходится вода от форштевня... По озеру бежит, чешуится серебром солнечная речка, кое-где речка растекается в лужицы, а там, прямо против солнца, разливается в сверкающее — смотреть больно — озерцо. Долго-долго бы стоять вот так, слушать анекдоты комендора, любоваться озером, забыть прошлую ночь и не думать о будущем...

Все перепутал крик сигнальщика:

— Самолеты противника в воздухе!

...На транспорте «Чапаев» трещали звонки. Но команда не бежала, не стучала сапогами по палубе — давно уже были все на своих местах.

Под солнцем, ниже облаков, как игрушечные, висели звенья самолетов. Стрепунин видел, как крепость лизнула в их сторону огненными языками. Начался кошмар.

Грохот орудий, трескотня пулеметов, неистовство мо-

---

[1] Люверсы — круглые отверстия в парусе.

торов. Взрываются бомбы, выбрасывая облака дыма; лопаются снаряды, поднимая столбами воду. Воздух разрывается по всем направлениям, бьет по ушам, в дрожь бросает тело.

Стреляют со всех сторон. С фронта — берег и город; с фланга — крепость и наши береговые орудия; с тыла — канлодки «Бурея» и «Олекма» и рядом — транспорт, все катера. Казалось — сами море и земля изрыгают огонь и грохочут от облаков до недр. Трассирующие снаряды, как ракеты во время карнавалов, прорезают в воздухе огненные дуги, не доставая самолетов, изгибаются под ними, снижаются и угасают.

Крики и проклятия:

— Не долетают! В душу их...

— Опять идут! С юга!

Рушилось небо. Разверзалось озеро. Мутился рассудок.

Черно задымил один из морских охотников. Дым посветлел и обнажил красный гребешок. Люди прыгали в озеро. Шарахнулся в сторону «КМ» из правой колонны и стал описывать циркуляцию. Гром и огонь на «Чапаеве»...

Командир «Бурея» Тулумбасов чувствовал себя молодо, конечно, шаланда не эсминец — нет в ней резвости, но по мощи огня будет посильнее эсминца, на котором он когда-то был. На Ладожском озере нет подводных лодок, да и вообще у немцев тут нет флота, нападения можно ожидать разве только со стороны финнов. Но финны глубоко в тылу, сюда они и носа не кажут. Бояться можно только мин, их могли сколько угодно сбросить немецкие самолеты. Все же не это беспокоило Тулумбасова. Главная опасность — авиация. Поэтому он время от времени кричал:

— Сигнальщик, воздух?

Тот неизменно отвечал:

— Воздух чист! — Или: — Ничего не наблюдаю!

Дальномер нацелен на Ореховый берег. Орудийная и пулеметная прислуга стоит на своих местах. Крик сигнальщика «Самолеты в воздухе!» никого не застал врасплох. Стрелять еще было рано. Отряд обнаружен, маскироваться теперь нет смысла, — следует потревожить Ореховый берег. Одушевленно, с азартом Тулумбасов отдает приказ артиллеристу:

— Орудиям главного калибра! Огонь по квадрату...

Канлодка тяжело дыхнула залпом.

Застучала семидесятипятимиллиметровая зенитка. Только что сделаешь одной пушкой? Самолеты плавно скользят в воздухе, приближаются звеном. Сейчас сорвутся в пике. Тяжелыми снарядами их! Приказ: «Главный калибр — по самолетам!»

Орудия задирают хоботы. Залп!

Один «юнкерс» завихлял, завихлял и врезался в озеро. На канлодке ликование...

Командир отряда Коваль шел на головном охотнике. Штурман понимал — управлять этим разнокалиберным отрядом и сейчас тяжело, а начнется бой — будет и совсем невозможно. Вся эта мелюзга — «КМ», «ЗИСы», да и транспорт — к групповому плаванию не привыкла. Командир больше рассчитывал на их самостоятельность, к этому вчера всех и настраивал — действовать самим, по обстановке. Порядок перехода тоже выработал прошлой ночью. Пока все идет по плану, катера держат строй. Этому помогает хорошая видимость и тихое озеро.

И вот самолеты врага. Бой. Главный козырь отряда — движение. Как можно быстрее идти вперед — в этом спасение. Спасение ли?

Начался интенсивный артобстрел отряда с Орехового берега. Он, пожалуй, более опасен, чем удары с воздуха. Нет, и с ним можно бороться — надо замаскироваться дымом. Коваль отдает приказание двум морским охотникам — выдвинуться вперед и поставить дымзавесы.

Стрепунин видел, как два катера «МО» вырвались из центральной колонны и побежали в разные стороны — один из них направо, к крепости, другой пересек курс «Чапаева», сделал разворот и тоже взял направление на крепость. Оба лохмато задымили кормой.

— Молодцы! Молодцы! — заорал Стрепунин.

Дым стлался над водой и поднимался постепенно вверх непроницаемой шторой — лучшая защита от артиллерии.

И в этом пекле не теряли люди головы, делали свое дело. Три «ЗИСа» выстроились фронтом и пошли на приступ дымовой завесы, чтобы пробить ее. На «Чапаеве» паром и водой сбивали пожар с надстроек, уносили в кубрики раненых. Машину застопорили, дальше идти нельзя — мель.

Нашел себя и Стрепунин в этом хаосе, отдал команду:

— Десантникам на барказ!

Не тут-то было. Подошел «КМ», и с него закричали в мегафон:

— Нам барказ! Майор приказал!

— А мы! — возмутился Стрепунин.

— Потом, потом! — орал Бычанинов. Это был он.

На барказ с катера уже соскакивали бойцы. Подошел другой «КМ» и по примеру первого освободился от живого груза. Барказ и мотобот отдали концы, потянулись к берегу.

Самолеты срывались в пике, бомбили и расстреливали суденышки. А барказ и мотобот шли и шли к Ореховому берегу. Туда же стремились «ЗИСы», шестерки.

Дымовые завесы растаяли. Глазам предстал... камыш. Ворсистая темная полоса тянулась по всему побережью, далеко вдаваясь в озеро. Камыш — надежная защита десанту, только бы добраться до него.

Камыш... Никак не обозначен на карте. Знал ли об этом штурман Коваль? Быстрее туда, в эту заросль! На чем?

Стало тише. Бой переместился к берегу, куда ушел первый эшелон десанта.

Караульный взвод на «Чапаеве» повел себя странно, бойцы отворачивались от лейтенанта при встрече, о чем-то шушукались. Он к ним нисколько не приблизился за переход, пожалуй, даже отдалился от них. Чужой. Это было сейчас особо ощутимо. Кто же им свой? Конечно же, мичман Хомутов. К нему и обратился Стрепунин:

— В чем дело, мичман? Почему команда ропщет?

Мичман высказался без дипломатии:

— Барказ и мотобот наши. Зачем их отдали?

Оборвать бы этого хмурнстого, чем-то обиженного вояку, поставить твердой рукой на свое место. Да, но за ним сорок три бойца. Пожалуй, сам он и возмутил команду. Сомнительный тип. И безусловно, имеет неограниченное влияние на взвод. Дело топкое, не наломать бы дров. Как можно спокойнее, но достаточно громко, чтобы и другие слышали, Стрепунин пустился в пространные уговоры:

— Рассуждаете вы, мичман, как невоенный. Командир десанта отдал приказ. Я его выполнил. Если бы вы приказали вашим матросам, неужели бы они ослушались?

Видно, мичман смекнул — не туда зашел, стал оправдываться:

— Мы, товарищ лейтенант, тоже торопимся не к бабушке на блины. Хотим на берег.

— И я хочу. Будем терпеливы, мичман.

На этот раз мичману не прошло, натянул губы — и правильно сделал, уж больно они толсты. Что-то он еще выкинет?

Время словно бы застыло. Воздух по-прежнему ревел. Самолеты спикировали на транспорт. Одна бомба разорвалась у самого борта. Осколком наповал убило десантника, раскроило ему череп. Многие бойцы не могли смотреть на разбрызганный мозг и обезображенное лицо това-

рища, отворачивались. Стрепунин стряхнул с фуражки воду, которой его обдало.

В камышах

Возвращались «ЗИСы», возбужденно фырча. К берегу побежало пять, оттуда спешат втроем, пронеслись мимо транспорта — на север, в Осиновец. Вон и шлюпки. Было четыре, осталось две. Со стороны поглядеть — красиво, машут веслами враз, как птица крыльями. Идет и барказ и его брат мотобот. Барказ спешит к транспорту, мотобот завернул к «КМ». Барказ ошвартовался. И одна шлюпка сюда же. Бойцы сбегают вниз, торопятся, прыгают...

Стрепунин командует:

— Хватит, хватит! Остальным в шлюпку!

Сам в барказе. Берут шестерку на буксир. Отвалили.

Вой бомб. Грохот. Шлюпка заволакивается дымом. Смешались жалобы, стоны, ругательства.

— Вперед! — горланит Стрепунин.

Мотор бормочет, поет винт, барказ стремит людей к спасительному камышу.

Еще самолеты. Пикируют по цепочке. Вокруг все визжит и грохочет. Сердце готово выскочить из груди.

Следом идет мотобот с другой шлюпкой. Ее подбрасывает взрывной волной и опрокидывает. Кто-то надрывается:

— Когда же кончится, когда!

Не кончалось. Самолеты рвали десантникам душу, делали людей невменяемыми. Один матрос бросился в воду, другой забился под банку.

Вот и камыш. Не дожидаясь команды, бойцы соскакивали в озеро и исчезали в зеленой заросли. У Стрепунина хватало еще сил и сообразительности командовать. Он кричал:

— Раненых на барказ! Шлюпку с собой!

Его никто не слушал. У каждого одно желание — слиться с зеленью, исчезнуть.

— Шлюпку! — завопил Стрепунин. Обжег взглядом одного матроса, другого. — Взять! Ну!.. — Хлестнул людей фразой, которой сам чуть не подавился.

Три матроса поплыли к шлюпке. Неумело, с дрожью в руках и с гримасой страдания на лице перетащили стонущих товарищей со шлюпки на барказ и скорее, скорее втянули шестерку в заросль.

Дно озера оказалось твердым. Вода охладила людей, привела их в себя. К шлюпке лепились новые бойцы и тянули, толкали ее, раздвигая стебли. Вокруг все жило — хлюпало, чмокало, шуршало. Бархатистые черные свечи камыша покачивались, перья тростинок шелестели, и в шелесте этом слышалось зловещее.

Ноги десантников постепенно немели, а лица румянились, по вискам тек пот. Кто был физически покрепче, держал винтовку в руках, раздвигая стволом упругие камышины. Но чаще винтовка висела на плече: так легче пробиваться сквозь озерные крепи. Камышовая полоса казалась бесконечной. О каком-нибудь управлении десантниками не могло быть и речи. Стрепунин едва ли видел пятерых-шестерых бойцов. Только ухо слышало взбалтывание воды, бульканье и шлепанье. Под ноги лезли голыши — мохнатые, осклизлые. Порой кто-то бултыхался в воду, поднимался и снова брел, шатаясь от изнеможения.

На часах Стрепунина было восемнадцать тридцать. С транспорта сошли в семнадцать ноль-пять. Если вычесть время на переход до камыша, то здесь, по зарослям, десантники шлепают больше часа. Иногда Стрепунину казалось — десант заблудился. И не мудрено: камыш оставлял глазам вверху клочок неба, внизу — небольшое зеркальце воды, утыканное стеблями. Правда,

ручной компас показывал — идет десант прямо на юг. Курс верен. Самому бы Стрепунину не сплошать, не выбиться из сил. Он и всегда-то был не особенно могутен, а бессонная ночь и совсем вымотала его.

Самолеты и теперь выли, только в стороне, не над головой. И воды стало меньше — ниже колен. Брюки отяжелели, прилипли к ногам. Еще одно усилие, еще...

Вот и желанный берег. Десантники вяло, неуклюже бегут с винтовками наперевес, каждый падает у первого куста, выступа берега, в ямку. Люди переводят дыхание, набираются сил.

Ух, как хорошо на земле!

Вдоль берега тянется вал, а на нем кусты и деревья. Там и скапливаются бойцы. Ищут глазами товарищей из первого эшелона. Нет ни водолазов, ни стрелков, ни минометчиков. Пограничники есть, вот они с зелеными петлицами, только их очень уж мало, едва ли с десяток можно насчитать. Стрепунин к ним:

— Где же остальные курсанты?

Ответили:

— А мы не знаем.

— Как не знаете?

— Да мы с вами, с вами...

— Отстали от своих?

— Да нас не взяли. Сказали — ждите. И дождались.

Молчит «Зимородок»

Десант снабжен портативной рацией и переговорной таблицей. Позывной рации — «Зимородок». Строго-настрого Лоблову наказали: «Высадишься на берег — дай штабу знать. Сразу же!»

Пока шли корабли озером, Коваль запретил любые радиопередачи, дабы не демаскировать отряд без времени. С появлением над кораблями фашистской авиации,

радиомолчание потеряло цель. В штаб полетели от командира отряда радиотелеграммы:

«Веду бой самолетами противника широте... долготе... Погода... Время...»

«Подошел месту высадки».

«Высадил первый эшелон».

«Высадил второй эшелон».

«Возвращаюсь в базу».

Десант высажен. Теперь «Зимородок» завладел всем вниманием штаба флотилии. «Зимородок» молчит. Не является ли это признаком полной гибели десанта?

Валенков переживал особенно тяжко. Кажется, оправдались его самые худшие предположения. Погибло двести человек ни за что, ни про что.

Первые шишки посыпались на бедную голову связиста Бузова. Фамилия у него будоражащая, а сам тихий до меланхоличности. Насел на него Валенков; каждые пять минут требует к телефону. И теперь спрашивает:

— Что слышно? Опять ничего. Повесили мне камень на шею...

Вернулся отряд в базу. Не весь вернулся. У Орехового берега остались один «МО», три «КМ», два «ЗИСа», мотобот и все шестерки.

Раненых отправили в госпиталь, тех, кого успели выловить. Убитых исключили из списков флотилии...

Молчит «Зимородок».

Коваль расторопно доложил командующему о переходе отряда через озеро, бое за высадку и самой высадке.

Тот выслушал невесело. Кажется, сбылись самые худшие предсказания. Спросил:

— Почему десант молчит?

Откуда знать это командиру отряда? Он же на берегу не был и от Лоблова никаких вестей не получал. Так, одни догадки. Он их и высказал:

— Утонул радист. Разбили станцию. Потеряли переговорную таблицу — открытым текстом не хотят выдавать себя.

Любое из этих предположений подойдет. Командующий и сам об этом знает не хуже штурмана, ему надо другое.

— Вы уверены, что десант добрался до берега. Хотя бы своей небольшой частью?

Сбылось желание штурмана, о котором он мечтал еще в академии — провел операцию, принятую командующим по его, Коваля, предложению. Не такая большая и блестящая, как бы хотелось, но все же операция. Это его радует и возвышает. Отвечает:

— Десант на берегу. Уверен, как в самом себе.

— Факты?

— По крайней мере, большая половина добралась до тростника. Это все видели.

Половина. Не такое уж большое утешение, но все же... В Ленфронт донести есть что.

Почему же молчит «Зимородок»?

Связист Бузов стоит в кабинете начштаба, не изменяя себе — тих и аккуратен. Брюки отутюжены, пуговицы надраены. А лицо измятое, усталое лицо с мягкими чертами и глазами, затаившими грусть. Прошлую ночь Бузов не спал, а эта будет еще беспокойнее.

Глаза у Валенкова сужены, губы по-стариковски вдавлены. Говорит:

— Как же так?

— Сам я удивлен.

— Нет, я спрашиваю вас, товарищ Бузов, как же так?

Валенков не кричит, говорит даже тише обычного.

— Уж здесь-то, я думал, не подведут. Очень был уверен.

Тягостно сознавать, что ты не оправдал надежд; Бузов глядит убито в вопрошающие и сомневающиеся глаза начштаба.

— Еще раз спрашиваю — почему не можем связаться с десантом?

Чего Бузов не додумал, что не доделал — сам не знает.

— Радисты замучились. Только и твердят в эфир: «Зимородок», «Зимородок».

Такой ответ разве может удовлетворить начштаба?

— Возможно, волну перепутали, капитан? Или позывные? Себе записали одни, а им дали другие. У вас, связистов, такое часто случается.

— Не перепутали мы. Нельзя было перепутать.

— Так уж и нельзя?

— Отпечатана единственная закладка — в трех экземплярах. Один с десантом пошел, а два у нас остались.

— Подменить не могли? Вы понимаете меня?

— Вы хотите сказать — умышленно?

— Именно это.

У Бузова вдруг одно плечо вырастает над другим, словно связиста коробит. Бузов долго думает — кто и когда мог подменить радиодокументы? Успокоился. Тихо, но убежденно заявил:

— Не могу не верить своим людям. Просто не могу.

Звонок. Валенков хватает трубку.

— Да, я. У меня он. В документах не сомневается. Конечно, конечно, сразу же. Спокойной ночи. — Положил трубку. — Начальник органа. Так в чем же видите вы причину, Бузов? Неужели весь десант, весь целиком...

— Не думаю.

— В случае чего — сразу же мне. В любое время.

Не спалось и командующему. Сидит с Ковалем и курит, курит. Коваль стоит упрямо на своем:

— Мы одержали победу.

Какая уж там победа!

— Чем вы это обосновываете?

— Десант доставлен и высажен. Это много. И самолеты вражеские оказались бессильными. Было налетов шесть, не меньше. В некоторых до двадцати единиц. Береговые орудия создали огневой барьер, да не такой уж непроходимый. Ореховый берег — ахиллесова пята немцев. Слабо укреплен. Повторяю, мы...

— Повремените, штурман, с рапортом о победе. Мы пока слепы и глухи, не видим и не слышим.

Потери отряда велики. Не мог не видеть этого командующий. А результат?

— Знаю — вы устали. Заслужили отдых. Но предоставить вам его не могу. Напишите отчет. По разделам — подготовка, переход, бой за высадку, возвращение, потери и выводы. Приложите к отчету схему перехода.

— Есть!

Встал Коваль — высокий, живот вдавленный, худые щеки отяжелели, поползли вниз. Десант еще сидит на плечах штурмана.

Где же первый эшелон?

С гребня холма открылся Новый канал — длинное, без концов, земляное корыто с водой. Вода свинцово-желтая, спокойная, без ряби. И нигде никого. Уголок этот располагал к тихим думам и отдыху, кабы не стрельба. Цвели перелески золотом берез, красотою осин и кленов.

Бойцы передохнули, освоились с местностью, стали грудиться вокруг Стрепунина. Заговорили:

— Место как место. А что? Подступись-ка? Спереди — канал, за спиной — озеро.

— Поудить бы тут.

— Велика Расея-матушка.

— Ха-арошая оборона.

Стрепунин грубо:

— Мы не обороняться пришли, а наступать. И оборона здесь никудышная. Мышеловка.

Мичман Хомутов возразил:

— И я считаю — место для обороны самое наилучшее. Отрой окоп от озера до канала, тогда сюда и пушкой не пробиться.

— Мышеловка, — повторил Стрепунин. — На простор. За канал. Шлюнка... Где?

— Та она в камышах, застрялая, — сказал один из бойцов. — Далеко. Ее и пятерым не вытянуть, не-ет. Этим самым, как его, подрезом...

— Килем?

— Килем, килем вдавилась в дно.

Невольно все оглянулись на озеро. Камыш стоял сплошной широкой стеной, прорезанной как бы лазами: это десантники протоптали ходы. Где-то там и стоит шестерка.

Бойцы не торопились к ней, начали переобуваться. Стрепунин говорит свое:

— Воду из сапог вылить, портянки выжать. Не всем сразу — по очереди. В сухое не переодеваться. Переправимся через каналы, вот уж тогда...

Боец с сожалением сказал:

— Кабы это сухое было.

Опять приказ:

— Хомутову и Раудмяги пересчитать людей.

Пересчитали. Хомутов доложил:

— Налицо тридцать два. Со мной.

— Значит?

— Двенадцать не дошло.

— У вас, Раудмяги?

— Двадцать три.

— С пограничниками?

— С ними, товарищ лейтенант.
— Сколько их?
— Девять.

Прикинул Стрепунин: штыков у него пятьдесят четыре, автоматов один и пистолетов один.

А первый эшелон исчез. И бойцы вон заговорили:

— Скрылись наши товарищи.

Осиротели.

С транспорта Стрепунин наблюдал — первый эшелон вошел в камыш метров на четыреста правее, западнее его группы. Теперь где-нибудь там, у Шлиссельбурга.

Там ли? У Шлиссельбурга притаилась тишина. Беспокойно с другой стороны — на востоке. Это так и быть должно, слева, километрах в пяти-шести проходит линия фронта. Видимо, наши войска будоражат фашистов, отвлекают от десанта. Хочется Стрепунину схватить судьбу за косу, просветлить обстановку. Говорит:

— Нужны связные. Добровольно. Двое. Кто?

От одного к другому передали:

— Кто добровольно. Кто?

Люди рады затишью, отяжелелое тело нашло покой, нет желания пошевелить ногой, не то что идти куда-то.

У Стрепунина нетерпеливые нотки:

— Так кто же?

Отозвался голос, как подневольно:

— Я-а.

— Фамилия?

— Ватрушев.

— И я. — Этот заявил бойко, в голосе и намека нет на усталость.

— Как вас?

Послышалось бормотание:

— Мормурши.

— Как, как?

— Мормышкин. Мор-мыш-кин, товарищ лейтенант.

Предстал солдат, похожий на ерша. Нельзя было смотреть на него и не улыбаться. Ростом невелик, глаза навыкате, уши оттопыренные...

Матросы, впервые видевшие Мормышкина, не сдерживали себя, ухмылялись. Стрепунин сказал:

— Ваша задача — найти майора. Ждем до двадцати. Мормышкин — направо, Ватрушев — налево. Идите.

Оба солдата вытянули перед собой штыки, сгорбились, пошагали в разные стороны и скрылись в кустарнике.

Здесь, на Ореховом берегу, Стрепунин сделал первую запись в блокноте:

«Мормышкин. Ватрушев».

За крепостью садилось солнце. Его не было видно, только нижние края облаков рдели, словно их вымазали кровью.

На востоке стреляли из винтовок и автоматов. Квакали рвущиеся мины.

На оперативный простор

На десантников спустилась шершавая, как шинельное сукно, тревожащая ночь. Деревья и кусты на том берегу канала потеряли очертания, расплылись во мгле. Невозможно стало определить расстояния. Над головой бесформенными глыбами громоздились облака. Заря еще выделялась красной, остывающей головешкой, и на ее фоне были видны пролетающие птицы.

Группу Стрепунина никто не тревожил. Бойцы понемногу стали приспосабливаться к обстановке, жевали хлеб, переобувались.

— За шлюпкой, — подал команду Стрепунин.— Раудмяги — поставить часовых.

— Сколько?

— Восемь. Мичман Хомутов, ведите бойцов. Через

каждые двадцать шагов выставляйте связных. Без них заблудитесь.

Десантники полезли в камыш, стараясь меньше булькать.

...Шестерка на берегу. Все лишнее из нее выброшено — рыбины, дрек, анкерок, парус вместе с мачтой и весла, из них оставлено только два. Шлюпка заметно облегчилась. Через вал к каналу ее перенесли на руках. Никто по десантникам не стрелял. Это их не успокаивало, а настораживало. Стрельба велась, но где-то слева, там рассыпались короткие автоматные трели. Протяжно звенели винтовочные выстрелы. Взвивались в небо ракеты.

Связные не возвращались.

— На тот берег, немедля, — приказал Стрепунин.

Мичман заперечил. Для него, кажется, любое действие лейтенанта неприемлемо:

— На тот берег — один?

Надо было понимать — не только без связных, но и без всего первого эшелона.

Бойцы начали было сталкивать шлюпку в канал, но теперь заколебались, стали слушать, чем кончится спор мичмана с лейтенантом.

— Чего вы хотите, мичман?

— Ждать.

— У моря погоды?

Никто не видел лица Стрепунина, но по воцарившейся тишине все понимали — командир взвинчен, только не знали, как он себя поведет. Его нетерпение, желание попасть быстрее на ту сторону канала передавались бойцам — одних, должно быть, это радовало, других раздражало. Он уступил мичману, бросил:

— Будем ждать полчаса.

Ждут полчаса. Еще полчаса. Время растянулось. Длиной воспринимается каждая секунда.

Шаги. Появились как-то внезапно, со стороны Шлиссельбурга. Голос часового кажется слишком громким:

— Кто идет?

— Свои, свои.

Мормышкин. Еще никто не знает, что он принес, но всех захватила радость, одушевление. Только и слышалось: «Мор-мурш-кин...» — такое вдохновляющее, живое. Связной, запыхавшийся, но бодрый, докладывает:

— По кустикам, по кустикам — все пробежал. До самых домиков. Никого.

— Не видел немцев?

— Ни-и.

— И наших?

— Не-ету.

Потерялся первый эшелон. Может, переправились на тот берег канала? На чем? Вброд не перейдешь. Вплавь? Со снаряжением да с минометом? Да и не все плавать умеют. На плотах, на связках тростника. Почему же и нет? А на шлюпке? Привели с собою шестерку, как и стрепунинская группа, и переправились. Конечно же, майор на том берегу.

Мичман Хомутов жестоко царапает сердца бойцов:

— Они ведут бой там, слева. Не могли нас покинуть.

У всех неодолимое желание поскорее встретиться с товарищами, слиться в единую группу. Вместе и смерть краше. Зачем умирать? Силы не удвоились бы — учетверились. Только бы соединиться! Бойцам стало казаться — первый эшелон близко от них, чуть левее, стоит лишь немного податься на восток. Там бой. Если есть с этой стороны гитлеровцы — напасть на них врасплох, раздавить и... объединиться со своими.

Не пойдет Стрепунин на восток. Дать возможность фашистам зажать себя между озером и каналом, найти ненужную и бесславную смерть! На тот берег! Быстрее,

быстрее. На простор. Недаром же он так много изучал эту переправу и готовился к ней. И вот она, шлюпка, его детище, с боем доставлена. Только туда — к свободе, к жизни!

Почему ум одолевают противоречия. На кого он, Стрепунин, может здесь положиться? Караульный взвод явно не с ним. Раудмяги? Да полно, знает ли он его? А еще, еще? Нет опоры. Не захотят переправиться, да и все. Что он сможет сделать? Лоблов его же, Стрепунина, и обвинит. Сочтет виноватым. Но он, Стрепунин будет действовать при любых обстоятельствах. Только вперед, вперед!

Скорнякова... Здесь она, здесь, на Ореховом берегу. Он увидит ее, услышит низкий, ломкий голос. И этот поцелуй, шершавые губы... А-а. Тело Стрепунина передергивается, как в ознобе. Лейтенант командует:

— Раудмяги, на шлюпку!

Пусть плывет со своими строителями. На него у Стрепунина больше всего надежд.

Послушался Раудмяги, пошел беспрекословно в шлюпку.

Неумело, со стуком садятся строители туда же, в шестерку. Раудмяги тихо, но бойко распоряжается, должно быть, попал в свою стихию.

Шлюпку оттолкнули, и она поплыла в неизвестное, растаяла в ночи. Но вот всплески, чавканье сапог. Опять безмолвие. На воде темный предмет. Она, шестерка, плывет без шума, как тень. Раудмяги на корме с одним веслом. Шепчет Стрепунину:

— Все в порядке.

Такие простые, обычные слова, но столько вливают в Стрепунина сил и уверенности!

Сам он пересек канал с третьим, последним рейсом. Мичман подчинился его приказу. Свое несогласие, видно, запрятал до поры, до времени. Обнаружится ли оно,

выльется ли вон? Когда и при каких обстоятельствах? Конечно же, выплеснется в самую неподходящую для Стрепунина минуту.

— Куда деть лодка? — спрашивает Раудмяги.

Хочется Стрепунину расшевелить Хомутова, втянуть в общие заботы.

— Ваше мнение, мичман?

— Мое мнение — сохранить шестерку.

Да, мичман верен себе — еще мечтает о возвращении в это междуводье.

За каналом оставлен связной. Это уже целиком на совести Стрепунина.

— Каким путем сохранить шлюпку?

— Притопить.

— Распоряжайтесь.

Мичман подает команды:

— Кареглаз — в шлюпку. Вывернуть в днище пробку. Да не стучи ты. Весла и крюк — сюда. Загрузить землей. Работать всем. Тихо, вы.

Шестерка погрузилась в канал. Ее немного оттолкнули от берега, чтобы на достаточной глубине скрыть с глаз. Весла и крюк спрятали в кустах.

Еще прислушивались — не зашумит ли кто на той стороне, не даст ли как-либо о себе знать второй посланец — Ватрушев? Куда исчез? Неприятный осадок остался в сердце Стрепунина. Послали человека, а сами как бы сбежали от него.

Шлюпка сослужила службу, теперь затоплена, десантники, как говорится, сожгли за собой мост. Мичман выразился иначе:

— Обрубили все концы.

На той стороне канала осталось озеро, на много километров раздалось, а поди же ты — как бы являлось связующим звеном с базой десантников — Осиновцом. Теперь пересекли канал, перешли еще каких-нибудь три-

дцать метров, а людям грустно, будто сами поставили за собой непреодолимую преграду.

Куда идти?

К Старому каналу! Чтобы и его оставить позади и выйти на простор, на волю!

Попали в перелесок, который быстро оборвался, и перед десантниками заблестела вода. Шумит мотор. Это уж дальше, за каналом, на шоссейной дороге. Люди напряглись, притихли. Двое бойцов со всеми предосторожностями спустились к воде разведать берег. Один тут же вернулся и доложил:

— Воды немного. По пояс. Этой вот хворостиной промерил.

Но кому хочется лезть в воду?

Вот и другой разведчик нашептывает Стрепунину:

— Мостик. Совсем рядом.

По ольшанику и ивняку группа добирается до мостика. Переходить будут мелкими группами.

Стрепунин инструктирует:

— При ракете — замереть.

Люди послушны его воле. Как быстро переменилось их настроение! Должно быть, в этом повинна необычная обстановка.

Первым через мост идет все тот же Раудмягп и с ним два бойца. Слились с почной мутью. И шагов не слышно. Взлетела ракета. Заискрилась вода, отчетливо вырисовался горбатый мостик и на нем три фигуры, как три тумбы. Видит ли кто из фашистов этих людей? Видит ли?

Ракета погасла. К мостику поспешали новые бойцы.

Опять ракета. Как долго она поднимается, делает изгиб и нехотя склоняется к земле. Гаснет. Ух!

Все тут, за вторым каналом. Над головой пролетает самолет. Ушам больно от рева моторов, вся земля, кажется, вибрирует. Лес, канал, мостик, луг — все заливает непроглядный свет. В воздухе завис «фонарь». Десантни-

ки вжимаются в землю и все же чувствуют себя выставленными напоказ. Под ракетой рвутся бомбы. Отбивают очереди пулеметы...

Мичман говорит:

— Наших расстреливают.

Стрепунин срывается:

— Замолчите!

Осветительная ракета опустилась за перелесок. Сомкнулась тьма. Десантники всем скопом пересекают дорогу, вымощенную булыжником. По кочкам, по потной лощине — в лес. Здесь он настоящий: деревья крупные и пахнет хорошим бором — хвоей, грибами, брусникой... Ходьба людям не в тягость, наоборот, приятна — согревает их. Под ногами мягкий ковер из мха, порой под ногою хлюпает, но это далеко не одно и то же, что брести по озеру. Попадаются валежины. Десант достаточно проник в лес, можно и остановиться.

— Привал. Пересчитать бойцов.

Пересчитали. Пятьдесят четыре. Со Стрепуниным пятьдесят пять. Потерян один — Ватрушев.

Новая команда:

— Переодеться в сухое и поужинать.

Бойцы нашли бугорки, нарезали хвои, угнездились. Раудмяги по своей инициативе выставляет часовых.

— Менять через час, — приказывает Стрепунин. — Пусть все отдохнут.

Вспарывают десантники консервные банки, жуют, булькают — тянут из фляжек. Лейтенант бережет себя, не притрагивается к спирту, а без него ничто в рот не лезет. Раскладывает на коленях карту-двухверстку, освещает фонариком. Карта ожила: вот каналы — один и другой. Есть и мостик, по которому десантники переправились. Дорога. Лес. «Тут вот, в самой его середине мы...»

Сейчас Стрепунин хозяин положения — куда хочет,

туда и ведет группу. Может быть, на Ореховом берегу придется пробыть всего одни сутки, но за это время, он, Стрепунин, сделает невозможное. Чтобы побить рекорд стометровки, бегун готовит себя много лет, а бежит всего каких-нибудь десять секунд. Ореховый берег и будет стометровкой Стрепунина, где он поставит свой рекорд. Весь ум, страсть, все силы вложит он, чтобы... А что, собственно, он хочет сделать? Давай конкретнее, Стрепунин.

Военный совет

На совете — четверо. Стрепунин, Хомутов, Раудмяги и Мормышкин. Три командира от трех частей — караульного взвода, строителей и пограничников. И командующий. Стрепунин поймал себя на этой мысли. Игра. Во что-то она выльется.

Разместились под елкой. Луч фонарика выхватывает из тьмы кружок лежащей на хвое карты. Все члены военного совета следят за пальцем Стрепунина.

— Вот лес, где мы сидим, — говорит он и тычет в зеленую полосу карты. — Ширина леса, как видите, километра два. За лесом — рабочие поселки, а дальше — торфяное болото с перелесками. Мы и на кораблях, и здесь, на Ореховом берегу, все шли с севера на юг. Слева от нас Поселок номер два, до него не больше четырех километров. За ним площадка, что-то вроде аэродрома. Большая охрана, надо полагать. Поселок номер один — вот он, до него три километра. Может быть, с гаком. Теперь я спрашиваю вас — куда нам податься?

Нетерпеливо заворочался Мормышкин, заговорил:

— Это в каких же смыслах, товарищ лейтенант, податься?

— А как вы сами понимаете это, Мормышкин?

— Думаю — не в прятки играть притопали сюда. Нападем.

— На кого же?

— Ну-у, это другое дело, — пропел Мормышкин, переваливаясь с боку на бок.

— Мы слушаем, — поощряет лейтенант.

— Давайте на второй номер вдарим. На аэродром. А что? Нагрянем, и все. Стоит у самого леса. Подберемся и... Пойдемте. А что-о?

Лейтенант к Раудмяги:

— А вы?

— Я? Не зынаю.

Опять Мормышкин:

— А чего знать, чего? Вдарим так вдарим.

Подошла очередь высказаться мичману. Он так и не открыл своего мнения, сказал предположительно:

— У лейтенанта, надо быть, свой есть план.

Не у товарища лейтенанта, а просто лейтенанта, и в третьем лице. Мичман не примирился со Стрепуниным, да и примирится ли когда-нибудь? Осадить бы его. Не хочется Стрепунину обострять отношений, особенно теперь. Пусть события развиваются естественным порядком. Настанет время — и он, Стрепунин, возьмет в свои руки штурвал и, как говорят моряки, положит судно на заданный курс. Пока такое время не пришло. Стрепунин чувствует и свою вину — не смог соединиться с главной группой десанта. Половину вины, правда, можно переложить на создавшуюся обстановку, а другая половина остается за ним, незадачливым командиром роты. В голове Стрепунина тысячи дум, в сердце тревожные чувства, а говорит ровным голосом и определенно:

— Есть у меня план. Давайте, как говорит Мормышкин, вдарим. Только не по второму, а по первому поселку. Почему по первому?

— Да, почему.— Это опять Мормышкин.

С ответом Стрепунин не спешит, ищет убедительные слова. После довольно томительной паузы:

— Зайдем с юга. Покажем немцам — в город стремимся. Разве это не облегчит судьбу наших товарищей из первого эшелона? Должно облегчить. Своим налетом мы прикуем к поселку часть городского гарнизона. И будет намек на партизан. Морской десант с севера, партизаны с юга. Бьем со всех сторон! И это у самой линии фронта! Взбудоражим, вздыбим все, пусть горит земля под ногами фашистов, и пусть они трепещут...

Речь Стрепунина прежде всего самого его возбудила, конец ее он произнес страстно. И членов совета она не оставила равнодушными, по крайней мере некоторых из них. Мормышкин подал голос:

— Я — готовый. Три километра — полчаса ходу. Нагрянем на первый, а там и второй пощекочем. Только скорее, чтобы ночь не пропала даром.

Раудмяги лишь спросил:

— Когда пойдут?

— Пойдем когда?

— Да, да.

Мичман не возражает, но и не дает своего одобрения. Его можно было понять так: не сидеть же здесь вечность. А что ему делать — не имеет значения.

Не дождался Стрепунин слова мичмана, сказал:

— Пойдем после полуночи. Вам, командирам групп, дежурить по очереди. По часу. Первым заступит, заступит... мичман Хомутов.

На этот раз мичман отозвался, хотя и без энтузиазма:

— Е-есть.

Ветра в лесу почти не чувствовалось, но хвоя над головой пошумывала. Ухо улавливо треск сломанной ветки, приглушенный возглас бойца...

— Всем спать, кроме дежурного и часовых,— приказал Стрепунин, закрывая первое заседание созданного им военного совета.

Из всей группы второго эшелона в бою был только он сам, Стрепунин. Да и то ни одного немца не видел. Вначале бежал с винтовкой, а потом заряжал пушку — подавал снаряды. Побывал в огне, потому-то, должно быть, и послан теперь в десант как имеющий опыт. Как себя поведут бойцы. Картина боя совсем не проглядывается, даже воображение долетает до некоей черты, а дальше не идет, дальше все покрыто туманом.

Обходит лейтенант отдыхающее войско. И так ночь непроглядна, а под кронами деревьев своей руки не видно. Сполох луча скользит по телам. Бойцы лежат по одному, по двое, кучами — голова к голове. Один накрыт шинелью или ватником, как одеялом, другой подтянул колени к подбородку, засунул руки за пазуху и согревается на мшистой земле. Какой-то хитрец звучно дышит под ветками густой елки — медведь в берлоге...

Только теперь Стрепунин почувствовал, что у него окоченели ноги, портянки плотно обтянули ступню, прилипли к телу, на ходу в сапогах вода чмокает. Подошел к Раудмяги — тот пока не спал, только готовился лечь у сосны,— спросил, нет ли у него лишней тряпки, ведь он, Стрепунин, вчера напоминал ему об этом. Для командира, да не быть тряпки? Раудмяги пошебуршил мешком и протянул Стрепунину широкий лоскут — что-то от парусиновой штанины. Эту тряпку Стрепунин на ногу намотает сверху, а вниз наденет сухие носки — приберег для такого случая. Так и сделал. Внутренность сапога лейтенант протер мхом, благо его здесь в изобилии. Этим не ограничился. Нарвал сухой травы и напихал ее в головки — будет прослойка между мокрой стелькой и сухой портянкой. Портянки наверпул на ноги особенно тщательно, чтобы в походе не набить мозолей. Постепенно в ноги входило блаженное тепло. Вынул хлеб, масло, колбасу. Сухое не лезет в рот. После некоторого колебания приложился к фляжке, чтобы согреть себя и изнутри. Черст-

вый хлеб и сухая, как подметка, колбаса легко пошли, все стало вкусным.

С озера потянуло ветерком. Зацеловались голые ветки ольхи. Печальнее зашумела хвоя. Дождя бы не надуло.

Растянулся Стрепунин на мху, привалившись спиной к бойцу...

...Завод, ФЗУ, формовка. Раздается гудок — протяжный, мощный. Черноволосый, кудлатый паренек торопится к проходной. На нем кепка, толстовка из черной ткани и холщовый фартук. Лицо чумазое, а шея особенно закопчена. Никто не считает это здесь пороком. Пыль за рабочий день глубоко въелась в тело, и ее трудно сразу отмыть. Дома ототрет лицо щеткой и сполоснет горячей водой. Спешит. Не хочет пропустить ее, Клаву. Она постоянно выходит из-за домны, за которой прячется ее механический цех. Тоненькая, в светлых кудрях. На ней синяя блуза — всегда чиста, будто вынута из стирки, даже масляные пятна не заметны. Вот она, в людском потоке. В настежь раскрытых воротах сходятся вместе. Встреча будто бы нечаянная, но так каждый день. Рабочий поток разбивается на ручейки, но как-то само собой получается — паренек и девушка рядом. Впереди рабочие и за спиной рабочие, а им кажется — одни они во всем мире. Ему надо бы вниз, к затону, там прохлада и дорога веселая — по луговине. Нет, вязнет в песке, лишь бы пройти с Клавой лишние сто метров, до ее дома. О чем они говорят? О чем придется. Да это и неважно, разговор ни того, ни другого нисколько не интересует. Идти вместе, заглядывать друг другу в глаза, смеяться не от смешного слова или положения, а от избытка чувств — разве это не наслаждение!.. Хорошо ли она живет? Осталось от того времени только доброе, а страдания, горечь выветрились. Всей душой он желает ей счастья...

...Медвежий Угол. Страстная любовь к замужней женщине. Ее попытка к самоубийству. Его довели, и он довел...

...Третья любовь — Софа. Сколько же раз можно влюбляться? Может быть, до самых последних дней...

...Идет Стрепунин по песку. Жарко. Пыль. Ноги увязают. Выходит к озеру. Тут прохладно. Ветер вихрится, задувает за шею, проникает под рубашку. Фуражкой бы закрыться от свирепого потока воздуха. К ногам подступает вода, зябко. И вот высокий холм, не холм, а гора, и ветер, ветер ледяной. Гора обрывается глубоким ущельем. Стрепунин лежит на спине, над самой пропастью. Голова ниже ног, нависает над бездной. Все тело тихо, неторопливо сползает вниз. Руки лихорадочно шарят вокруг, все ищут, за что бы ухватиться. Скала гладкая, так и обжигает холодом тело. И ни одного выступа. Сук, сук! Дотянуться бы, приподнять бы голову. Тело продолжает сползать вниз. А-а!..

— Что, что...

— Время, товарищ лейтенант. Время.— Это Раудмяги тянет Стрепунина за рукав.

Звезды мерцают огоньками. Стрепунину все еще кажется — он сползает в пропасть. Хватается цепко за Раудмяги, вскакивает на ноги и окончательно просыпается, хотя не в силах стряхнуть с себя тяжесть страшного сна. Ноги застыли, и все тело дрожит от стужи. Стучат зубы. Разминается и цедит:

— Б-бу-дить в-всех.

На пути к славе

Какой дорогой идти — по обочине шоссейки, чтобы затем свернуть к поселку, или по лесу, напрямик? По обочине легче идти и меньше боязни заблудиться. По лесу безопаснее. Стрепунин выбрал второй путь.

Идут по лесу. Впереди дозоры, за ними цепочкой тянутся десантники, жмутся один к другому, боясь отстать. Ориентир — Полярная звезда. Перед выходом Стрепунин

пояснил, как ее находить по ковшу Большой Медведицы. Небо в редких облаках, и звезды проглядывают меж ними. Полярная звезда светит в затылок. Звезда на всякий случай. Стрепунин ведет группу по карте и компасу. Пройдут километра полтора и встретят узкоколейку — до войны торф возили, по ней повернут направо. Отставить. Они не повернут направо, а пройдут еще дальше на юг и уж оттуда нападут на поселок.

Почва мшистая, мягкая, нога идет, как по ковру. Частик. Идти стало труднее, и нет полной маскировки — то впереди, то за спиной хрупают сучки. Но вот земля стала потнее, кочковатее. Уже хлюпает под сапогом. Идут по воде. Долго так, словно в озеро угодили. Крепкие сапоги еще держат, не пропускают воду. Но у всех ли они без дыр? Стрепунина сомнения начинают одолевать — ведет людей на авось. Отступать тоже нельзя. И утро на носу. Напрасно дал он людям столько времени на отдых. Всю операцию проспали.

Выстрел... Такой отчетливый, со звоном. Цепочка застыла. Кто выстрелил? Кто?

— Не двигаться,— шепчет Стрепунин рядом стоящим бойцам.

— Не двигаться,— передают те дальше.

— Не двигаться...

Без приказа все замерли, все вытянули в сторону выстрела штыки. Сам Стрепунин шлепает мимо цепочки. К дозорным. Вот и они — всюду успевающий Мормышкин и здоровенный лесовик из Кировской области — Погорелый. Перед назначением его в дозор Стрепунин спросил:

— Не заблудишься?

Лица Погорелого видно не было, но ответ говорил — расплылось:

— Гы-ы... Мне заблудиццца? Отец лесник.

Теперь Стрепунин:

— Кто стрелял?

Мормышкин шепчет — он всегда впереди:

— Шибанули-и. Тамоти-и.

Погорелый спокойно, как знающий дело:

— Далеко-от. Не бойтеся, товарищ лейтенант.

Отлегло. Стараясь подавить тревогу, Стрепунин спрашивает:

— Не потонем в этом болоте?

Погорелый — как хозяин леса:

— Крупная-от сосна исть. Скоро будить сухо-от.

Бойцы подтянулись к лейтенанту.

Пошли. Вот уж меньше чмоку и бульканья. Прогалина. Узкоколейка. Можно по ней пройти до поселка. Нет. Стрепунин выполняет намеченный план. Бредут по-прежнему на юг.

Глаз свыкся с темнотой, стал различать голые места, перелески. Светится вода в небольших озерцах. Восточная четверть неба чиста. Слева от десантников во всей красе сверкает Орион. Созвездие это всегда вызывает в Стрепунине радость, и он готов любоваться им без конца. Ему меньше нравится его второе название — Стожары, зато более по душе третье — Старикова Тросточка. Как шесть алмазов врублены в небо, один отнесен в сторону и четко обозначает клюку, а три как бы составляют перекрестие на самой середине тросточки. Он, Стрепунин, ведет группу послушных ему людей. Куда? Сколько выведет за линию фронта? Да и вернется ли сам? А Старикова Тросточка, все такая же прекрасная, будет гореть и гореть, как горит, должно быть, миллиарды лет. Мысль эта тривиальна, но всякий раз она будит разум, будоражит чувство.

Довольно, Стрепунин, любоваться небом, смотри больше под ноги, не утопи свое войско. Вон и боец говорит:

— Болото. Не утонуть бы... Канава. Как идти?

— Вдоль нее, вдоль нее...

Земля живая, трясется, дышит под ногами. Тяжело идти. Вот и вторая канава — пересекает первую. Пора. Отряд выстраивается фронтом и поворачивает на обратный курс, к лесу, забрав чуть в сторону Шлиссельбурга.

Небольшой перелесок. Его обходят стороной. Идут мелким кустарником. Опять перелесок.

— Орудия-от.

Слово произнесено негромко. Совсем негромко, а людей взвинтило посильнее выстрела в лесу. Все напряглись. Передние — потому, что слышали это слово, отставшие — по инерции. Стрепунин допытывается:

— Где, где орудия?

— Вон, вон-от, вправе,— говорит Погорелый.

Ничего Стрепунин не видит, хотя вытянулся в струну и готов сломать глаза. Что-то надо делать. Подает тихую команду:

— Ложись...

Шорох, шмяканье, стук.

Тишина. Лишь ветер чуть егозит. К орудиям поползли два разведчика — все те же, Погорелый и Мормышкин.

Стрепунин еле выдавливает:

— Приготовиться... к огню. По моему... приказанию.

Справа и слева повторили:

— Приготовиться к огню.

— К огню.

— По приказанию.

После тяжелого перехода приятно полежать. Можно смахнуть пот с лица, осмотреться. Только бы не обнаружить себя. Выстрели кто — и вся операция, все труды пойдут, пойдут...

Разведчиков нет и нет. Ох, уж это ожидание! Хоть другую пару посылай. Тех могли схватить, и новых...

Спокойствие, командир, спокойствие. Побереги нервы, главнокомандующий...

И грянул бой

Приползли разведчики. Первым докладывает, конечно же, Мормышкин. Он везде игла, а уж за ним и нитка. Торопится, говорит, как бежит, боится — Погорелый перебьет:

— Четыре орудии. Дежурный. И часовой. Впереди. Ходит, туда-сюда, туда-сюда. Есть барак.

— Где барак?

— Слева, тамо, тамо.

Стрепунин к Погорелому:

— Что еще?

— Землянки-от.

— Еще?

— Какие-те постройки.

Не до подробностей. Пора действовать. Созревает план боя: группу разделить на две части: меньшей напасть на орудия, большей — на барак и землянки. Там личный состав. Смять. Раз батарея — фашистов человек семьдесят. Наполовину больше, чем у него, Стрепунина. А внезапность? Это добавочная сила. Фашисты спят. Под утро самый сладкий сон. Идеальный случай. Не упустить бы.

Хомутов, Раудмяги, Мормышкин, Погорелый обступили Стрепунина, полулежат, ждут приказа. Вот он:

— Мичман, берите караульный взвод и курсантов. К бараку и землянкам. Строители — со мной. К орудиям. А пока... пока надо снять часового. Кто желает?

Десантники замялись, не спешили идти на такое дело. Струсили? Причина скорее в другом. Бойцы собрались все зеленые. Не всем довелось и курицы зарезать. И вдруг — убить человека! Фашиста же. Оно так-то так, но все же. Пулей, даже штыком — пожалуйста. А тут — в тело нож...

— Нет желающих? — спрашивает Стрепунин, спрашивает шепотом, а голос нетерпелив, дрожит.

— Я.— Это Мормышкин. Сказал твердо, без малейших колебаний.

Слабосильный. Только дело испортит.

Отозвались еще двое-трое, но робко:

— Разрешите.

— Пошлите меня.

— Сам пойду,— сказал Стрепунин. Захотелось испытать ему силу воли. Повторил:— Сам. Прикроет Погорелый. Раудмяги с группой — позади. Дайте мне хороший нож.

Ему передали нож в кожаном футляре. Стрепунин пробует пальцем лезвие — бритва, в тело так и впивается. Усы, как у кортика.

Наставление мичману Хомутову:

— Без крайней необходимости огня раньше нас не открывать. — И всем: — Отход на юг. Сбор в лесу, на старом месте, у канала. Начать движение спустя десять минут.

Ползут. Стрепунин впереди, Погорелый на некотором от него расстоянии. Вереск и мелкий прутняк хорошее прикрытие. Вот и орудия. Жерла вытянуты по горизонту. Дальнобойные. Может быть, универсальные. Не ими ли обстреливали десант? Вот и часовой. Идет прямо на Стрепунина. А он — голову в прутняк и вереск и свое тело хотел бы вдавить в землю. Часовой медленно поворачивается и так же медленно уплывает. Почва мягкая, шагов не слышно. Опять ползет Стрепунин, шуршит, как змея. Сердце пытается выскочить наружу.

Сюда, сюда возвращается часовой. Останавливается. Что-то его тревожит. На шее — автомат, на автомате — обе руки. Приближается — такой рослый, дюжий, в пилотке, куртке и тяжелых сапогах, должно быть, с подковами сапоги, как это рисуют в журналах и газетах. Топчется на месте, смотрит, смотрит на него, Стрепунина. Наводит дуло автомата, медленно, без конца — с ума сойти можно. Поворачивается и сам. О-ох! Удаляется.

Пора. Догнать!

Один прыжок, второй...

Немец сжался. Голову вправо, влево. Поворот корпуса. Стало вдруг светло. Еще шаг, последний шаг до немца. Нет сил сделать его. Глазок дула смотрит в живот Стрепунина. Лейтенант понуждает себя, подается на фашиста и чувствует, как нож с трудом пробивает куртку и с еще большим усилием — грудную клетку... Дальше идет легко, проваливается по самые усы.

Гитлеровец издает:

— У-а...

Стон такой естественный, царапающий сердце.

Тело немца обмякает, прогибается и бесшумно оседает.

Тут Погорелый. Когда только успел подбежать? Говорит:

— Автомат-от мой.

Дальше все происходило, будто бы на стороне, а Стрепунин был только наблюдателем. Правда, он что-то кричал, видел, как бойцы бросали горсти земли в стволы орудий, и слышал, как орудия грохотали. Глушили Стрепунина.

Всюду стреляли, но гуще всего в том месте, где предполагался барак. И Стрепунин во что-то палил из нагана.

Неожиданно, как-то неуместно, начали рваться мины. Их квакающих звуков Стрепунин достаточно наслышался в штрафном, при расширении коридора. Сейчас они рвались всюду. Это немножко его отрезвило. Закричал что было силы:

— Отходить! За мной!

Повсюду эхо бойцов:

— Отход! Отход!

Отход

Позади гремели выстрелы и были страшнее, чем вблизи. Огонь неприцельный и вреда десантникам, кажется, не причинял. Оторваться бы скорее от фашистов, убежать.

И бежали...

Барьером от немцев стал перелесок. Передых. Темп замедлен.

Десантников не преследовали.

Обе руки Стрепунина заняты: правая наганом, левая ножом. Зачем нож? Отдал его хозяину — строителю. Покрутил барабан — гильзы пустые.

Бойцы стабунились. Что такое?

— Раненый. Штанина разорвана, и под ней...

— Фамилия?

— Пряслов.

Вспомнил Стрепунин землянку, строителей, вопрос: «Воды боитесь?» И ответ: «Ежели в бане, то не боимся». Тогда же Пряслов спросил: «Письма-то писать домой али еще вернемся?»

Разули Пряслова, вылили из сапога кровь, кое-как перевязали рану.

— Кто еще?

Подошли трое. Одному царапнуло руку, другого кольнуло в пах, третьему задело висок. Возьми пуля на сантиметр левее — конец бы парню. Раны пустяковые, заживут. Марш, марш!

Пряслова несут на шинели.

Слева светит месяц — такой красный, как железнодорожный семафор. Облака будто бы нарочно обходят его, не заслоняя собой и не задевая даже лохматыми краями. Глядят одиночные поблеклые звезды.

Погорелый юлит перед Стрепуниным, не отходит ни на шаг. Говорит:

— Хорошо-от пуляете, товарищ лейтенант.

Тот замедлил шаг, невольно отозвался:

— Откуда вы взяли?

— Видел. Ште ни ударите, так фашист с копыток падает.

Когда-то Стрепунин любил жечь патроны в тире. Лю-

бил, если их давали. Едва ли приходилось сжигать больше десятка в год. Скудная порция. И находились стрелки! Стрепунин среди них был далеко не лучший. Имел, правда, и он свой конек — двадцать восемь очков из тридцати на дистанции двадцать пять метров. Отличный результат. И сейчас стрелял. Ранил кого-то. Может быть, и убил.

Только впечатления не осталось, в памяти отложился немец, которого свалил ножом. Лицо широкое, скуластое, с крупным подбородком. ...Валится грузное тело, и стон слышится, такой человечный стон... Трясет Стрепунин головой и жмурится, прогоняя видение. Почему часовой не выстрелил? Стоило бы ему лишь нажать на спусковой крючок... На лбу холодная испарина — запоздалая реакция организма на миновавшую опасность. И зачем потребовался нож? Просто бы застрелить из нагана, и все. Шум? А что бы от этого изменилось? Выстрел одновременно послужил бы сигналом для атаки. Нервы не выдержали, растерялся. Нападая на немца, Стрепунин даже револьвера не вынул из кобуры.

— А-а...

— Что это?

— Раненого тряхнули.

Светает. Различимы отдельные деревья. Много ольхи, березы, но преобладает хвоя. Болото выглядит непривлекательнее и опаснее, чем ночью. Зачем же было возвращаться на это гиблое место? И шоссейная дорога рядом, и фронт недалеко. А куда идти?

Приглянулся Стрепунину бугорок среди сплошной воды, здесь он и сбросил с плеч вещмешок. В болоте безопаснее, не всякий фашист полезет сюда. Победители выглядели совсем не воинственно. Уселись, облепили холм, как куропаточная стая. Командиры групп докладывают: Хомутов: «Не вернулось четыре»; Мормышкин: «Двоих нетути, Васильева и Косолапова. Как началась заваруха,

так и не видел их. Придут. А что?»; Раудмяги: «У нас один раненый. Пыряслов».

Где шестеро? Убиты? Попали в плен? Или, обливаясь кровью, лежат где-нибудь в кустах?

«Пропали без вести» — так Стрепунин отметил в своей книжице.

Потеряли шестерых. А что сделала группа?

Уничтожены четыре орудия. И главный результат победы—перебиты гитлеровцы. Сколько их? Докладывает Стрепунину один боец, другой, третий. Пусть командиры групп сами подобьют итоги. Кто из бойцов поаранистее, не может согласиться, чтобы на его счет было записано меньше семи фашистов. Самым популярным числом явилось — пять. Более скромные бойцы, которых было совсем немного, умаляли свои подвиги до двух, трех убитых немцев. В итоге получилось — двести тридцать восемь.

В книжицу Стрепунин записал пятьдесят четыре. По одному на каждого десантника, в том числе и на пропавших без вести. Ему надо было бы занести пятьдесят пять. Сам он тоже уничтожил. Уж одного-то бесспорно.

Были и трофеи. Шесть автоматов, хотя пять из них с пустыми магазинами, поэтому в дело употреблены быть не могут. Удачливее всех Мормышкин. Этот нигде не растеряется — сам маленький, а сил, как у муравья, может нести ношу тяжелее себя. У него два магазина к трофейному автомату, полные патронов: один при автомате, другой в вещевом мешке.

— А что? — признался он потом своим близким.— Покажи я второй магазин — лейтенант отберет и передасти другому-у.

Автоматы — хорошо. Орудия уничтожены — это лучше. Кто уничтожил? Из строителей кто-то.

— Товарищ Раудмяги. Фамилия бойца? Из орудий который стрелял.

Фамилию Раудмяги не мог выговорить. У него получалось: Хрустиков.

— Грузчиков?

— Я, я. Да.

Вот он, крупный парень, вахловатый, веки припухлые, вроде как бы от пересыпу, глаза большие, а глядят вяло. Стрепунин спрашивает:

— Откуда вы артиллерию знаете?

— Да я... Заблудился я.

— Как заблудился?

— Так и заблудился. Ну какой я строитель. Перевозили нас из Лахденпохии, вот и попал.

— Кто же вы?

— На батарее служил. Ну и знаю, изучал.

— Спасибо, товарищ Грузчиков.

— А чего тут особенного? Выстрелить с песком? Это же не в цель попасть.

О некоторых трофеях Стрепунин догадывался. Иные видел своим глазом, только притворялся слепым. Ну как не заметить на бойце хороших кожаных сапог? Или вон фляга, обшитая сукном, висит через плечо у моряка караульного взвода. Очень внимательно поглядел на флягу Стрепунин:

— Фамилия?!

Хозяин фляги ответил очень виновато и слащаво. На его остром лице явно боролись два чувства: мучила совесть — обобрал убитого; и другое — фляга ему очень нравилась, боялся — отнимет командир.

Ничего и ни у кого Стрепунин не отобрал. Так вот получается, одно и то же действие — захват трофея — влияет на человека по-разному: оружие возвышает бойца, а эта вот несчастная фляга развращает его. Первый шаг к мародерству.

Высокие материи в такое время! Стрепунин думал о

них. Что будет потом — узнаем, а что есть теперь — надо утверждать или отвергать. Утвердил.

Бойцы выпивали, закусывали и опять выпивали, сидя на хвое, пнях и лежа на мху или опалых, шумливых листьях. Подошел курсант-пограничник — лицо подростка, румяное, умное. В руках стаканчик и кусочек плиточного шоколада.

— Попробуйте, товарищ лейтенант. Трофейное. Жидковато против нашего, но ничего...

Такое доброжелательство — как отказать? Выпил лейтенант. Закусил трофейным шоколадом. Потом еще выпил — свое. Ел свои консервы.

Кричала ребячливо сойка. Стучал деловито дятел. А там, у фронтовой полосы — казалось, совсем рядом,— рвались мины, гранаты, прошивали строчки: пулеметы— длинные, автоматы — короткие. Шел бой.

Где Лоблов со своим первым эшелоном? Не там ли, в гуще стрельбы и взрывов? Почему бы не попытаться тебе, Стрепунин, соединиться с основной группой?

— Не полезу в котел,— упрямо твердил сам себе.

В котел не лезь, хоть разведай, что и как?

«Обнаружить себя, чтобы задушили голыми руками? Нет, мы еще повоюем!»

Сидим и кукуем

Уснуть бы.

Не шел сон к Стрепунину — возбуждение мешало.

Бегут с озера облака, нависают над лесом, проплывают поверх рябины, тонких извивов ее веток, оттеняя кровавые, такие сочные кисти ягод.

Какое большое желание уснуть.

Под головой вещмешок, на животе стеганка, под спиной постель из еловых веток, положены ветки изгибом вверх, пружинят, как матрац. Только бы спать.

Береза, ольха, клен, полусбросив летний наряд, как бы растеряли солидность, очистили место для елки и сосны. А те с приходом холодных дней набрали сил, яркой зелени и красоты, бесцеремонно выпятились, как хозяйки леса...

А что там у елки, в вереске? Неужели боровик?

Не удержался Стрепунин, вскочил, залюбовался грибом — шляпа коричневая, с блеском, прямо лаком покрыта; нога толстая, напоминающая бочонок. Откуда ты, красавец? Вспомнилось детство. Мать. Было ему лет восемь-девять. В десять он уже проводил ее на кладбище. Какая радость — встать с восходом солнца и шагать босиком в лес. Трава в холодной росе, а песок теплый. И мама рядом...

Охваченный порывом детской беззаботной радости, Стрепунин осторожно подобрался рукой под самый корень гриба и оторвал боровик от пористой, мшистой почвы. Подошли бойцы, стали любоваться. Один с шумом втянул воздух и сказал:

— Вот у нас в Архангельской...

Стонет раненый.

Радость и беззаботность слизнуты с лица Стрепунина. На щеках проступают скулы, нос заостряется, глаза теряют умильность — в них забота и боль.

Пряслов лежит под шинелью, лицо посеревшее, землистое. Глядит в небо, губы сухие, глаза нехорошо блестят.

— Озяб-б. Чайку б-ба.— Лоб широкий, выдавшийся, в огне и в поту.

Отнимает Стрепунин ото лба Пряслова руку, вытирает о брюки. Откидывает с ног раненого шинель. Сквозь разорванную штанину выступает красный бинт и видно тело — распухшее, фиолетовое, пожалуй, ближе к черному. Слишком много потерял раненый крови. И рана обработана неумелой рукой — бинт напутан как попало.

— О-ы,— вырывается у Стрепунина. Хоть бы одного санитара. Его душит злость.

Матросы оправдываются:

— Что было делать?

— Не доктора мы.

— Бинтов и тех нет.

— Да я не про вас,— смягчился Стрепунин.

Чем помочь раненому? Набрасывают на него вторую шинель и дают хлебнуть спирту. Тот затихает.

Снова Стрепунин на своей постели. Забыться бы...

...Отряд одержал победу. Большую или маленькую? Для фронта победа едва ли заметна. Для группы — значительна. Даже огромна. Разгромлена батарея. Да почему и не разгромить, уж слишком благоприятно сложились условия — врасплох застали гитлеровцев. На войне всегда так. Еще Суворов учил — бить не числом, а уменьем. Что значит уменьем? Значит — напасть на врага, когда он меньше всего ожидает, и с той стороны, откуда, кажется, и подойти немыслимо.

...Немцы тоже напали внезапно. Почему же...

Привстал Стрепунин, опершись на обе руки. От таких мыслей не уснешь.

И бойцы не спали, переживали бой, приукрашивая его и возвеличивая. Группы не смешивались. Самая большая — караульный взвод — заняла верхушку холма. Бойцы лепились вокруг мичмана, хотя и разбивались на несколько кружков. Взвод потерял при высадке двенадцать человек, в ночном бою — четыре. Всего больше одной трети. Это создало в группе траурный фон. Но радость победы все же пересиливала.

Мичман Хомутов лежит в центре. Как и у многих, под головой — вещмешок, рядом — автомат, все тот же, отечественный, с тяжелым круглым диском. Закручивает мичман махру в напиросу, с предосторожностями раскуривает, чтобы не было слишком дыму. Лицо у мичмана

круглое, суховатое, особенно сухим выглядит теперь, когда недовольно, натянуто, когда из-под жидких бровей глаза смотрят колюче. Форменная черная фуражка добавляет лицу сухости, и только рот, очень выразительно очерченный, с чуть приподнятой верхней губой, напоминает о мягкости. Ведет себя мичман по-прежнему загадочно, взвод свой держит на некотором от себя расстоянии, не сливается с ним, хотя матросы, как видно, и стремятся к нему. Матросы переговариваются будто бы и независимо, а все же никогда не забывая его присутствия.

— Когда в бараке взорвалось,— говорил матрос, лежа на животе,— когда взорвалось...

— Это я гранату бросил,— перебил плечистый парень, опершись на локоть.

— Вот я и говорю, когда твоя граната, Матиевский, взорвалась...

— В окно я ее махнул.

— Да и я о том. Когда граната взорвалась, они и посыпались, посыпались на нас. И в дверь, и в окна. А я их все на мушку, все на мушку...

— Слышите, ребята. Мушку увидел Иван. Да будь у тебя на стволе ворона, и тогда бы не разглядел,— издевался маленький щуплый боец.— Мушка-а, хы-ы. К шоколаду твой нос воротило, а то мушка-а. Кому мичман пригрозил прикладом?

Иван украдкой взглянул на мичмана и стал возражать:

— Не такой наш мичман, чтобы прикладом. Нет, товарищи, нарубили мы там капусты. Будут помнить...

— На Мантсаари нам дали жару. Хватит, теперь и мы...— Это уже в другой группе разговор.

Ветер набирался сил, продувал людей. Тепло ночного похода стало иссякать. Бойцы жались в кучи, прятали руки по карманам, за пазуху и говорили, говорили.

У строителей раненый. Их группа раскололась пополам: одна часть ушла с первым эшелоном и теперь непз-

вестно где, а другая — вот здесь, потеряв при высадке одного человека, и в ночном бою одного тяжело ранило. Эти быстро приспособились к месту — недаром они работяги. Облюбовали елку, разлапистую. На одной ее стороне обрезали, именно обрезали, ножом, а не обрубили топором и не отпилили ножовкой, которые запрещено использовать, чтобы не демаскировать себя, нижние сучья и образовавшееся пространство утеплили со всех сторон. Той же хвоей. Получилось нечто похожее на шалаш. Вход завесили ватником. Тесновато, правда, зато не дует. Под другой елкой устроили раненого Пряслова и сидели у него по очереди. А дай им возможность пустить в ход топор и ножовку, да они бы такой соорудили домик, что закачаешься.

Лежат строители в полумраке, ни лиц, ни поз не видно. Кто-то говорит с укором:

— Поверни ты пушку да вдарь по землянкам, тогда бы а-а...

— А-а. Своих, что ли, перебить?

Теперь новый голос, шепеляво, торопливо:

— Шиманули мы их ошиновательно. И это ш винтовками. А шнабди наш, братцы, автоматами, да мы бы. А то вше отштупаем и отштупаем.

— Хвастаться нам нечем,— возразил звонкий, очень приятный голос.— Удачно выбрали время, захватили медведя в берлоге. А как дальше?

Заговорили скопом:

— Да, как дальше?

— План какой?

— Кабаны на болоте. Живем тоже.

— Как ты, старшина?

Старшина — это Раудмяги. Откуда ему знать, как долго они будут здесь праздновать победу и куда затем пойдут «гостить»? Стрепунин без его советов обходится, один

составляет, видно, планы. Отвечает, путая личные местоимения:

— Она, командир, говорит... Она не говорит ничего.

Пола ватника затрепетала, поднялась, пропустив свет. В дыру просунулось туловище в шинели.

— Товарищи, помогите. Маменькин сынок у нас — ногу в кровь растер. Плачет. Дайте портяночку.

Возня. Приглушенный голос Раудмяги:

— Пошла.

Раудмяги и посыльный идут к пограничникам. Те замаскировались. Маскировка — главный их тактический прием. Кто под сосенкой, кто под елкой. Они очень молоды, и не всяк выдержал нагрузку — высадку в воду, ночной бой, переходы. Сидит под иголками сосны белобровый парень, смотрит на ногу с растертой, окровавленной кожей и не может сдержать слез — падают капелью на шинель. Раудмяги пеленает потертую ногу в не совсем чистую тряпку, вырванную из полинялой матросской тельняшки. Вчера целый ворох получил этой ветоши, одалживает кому придется.

Пограничников всего семь. Верховодит здесь Мормышкин, хотя никто его не выбирал и не назначал. Как-то само собою определилось. Он оказался энергичнее и, пожалуй, смышленее своих товарищей. Хотя фамилия его и фигура настраивали всех на иронический лад, с этим мирились.

Сейчас Мормышкин вылез из можжевелового куста, как еж, и пропел:

— Ничаво-а, Васек, выживешь. А что? С любимой мазолью па-адолгу живут.

После такого ободряющего диагноза пограничник всунул перевязанную ногу в сапог, вдвинулся в сосновые ветви и замер.

Мормышкин обратился к Раудмяги:

— Слушай, браток. Не знаешь ли ты, где мы дальше будем веселиться?

Ответом были стенания:

— Уйдете. Знаю, уйдете. Не оставьте. Не... не...

Это Пряслов умолял Стрепунина. Лейтенант говорил раненому слова, какие обычно говорят в подобных случаях:

— Да что ты, да разве мы... Сам с нами пойдешь. Смотри-ка, рана у тебя совсем хороша...

Раненая нога выглядела страшно: синзая, толстая и ровная, как старое бревно. Лицо Пряслова приняло бронзовый оттенок. Кто-то шепнул Стрепунину:

— Газовая гангрена.

Человек умирал. Надо бы унести больного с глаз долой. Куда? Кругом болото, а дальше опасно: заметить фашисты могут. Пусть события развиваются естественным порядком. Стрепунин их изменить не волен.

Облака повисли на верхушках деревьев. Заканал дождь. Капли звонко ударяли по сухим листьям, словно с неба падали тяжелые пули.

Дождь заспешил, заспешил и полил, частый и спорый. Невдалеке, у самого озера, стреляли.

Разведка, нужна разведка. Кого послать? Погорелого. Тот подходит и говорит:

— Вы меня, товарищ лейтенант.

— Пойдете в разведку. Вдвоем. Кого хотите взять?

— Кашицу. Со мной-от пойдет.

Кашица оказался парнем хмурым и, как показалось Стрепунину, нерасторопным. Не стал возражать Погорелому — раз хочет с ним, пусть идет. Другие бойцы измотаны почным переходом и боем, а Погорелый бодр. Кашица... Наверное, тоже сохранил силы, ежели согласился добровольно.

Очень скрупулезно Стрепунин инструктирует разведчиков. Главная задача — выяснить, кто ведет бой у озера? Дождь поможет подойти незаметно к большому каналу.

— Подкрадемся. А если что насчет Кашицы, то он парень не моторный, а ничего.

Пошли разведчики.

А Стрепунин терзается — хорошо ли сделал? Поймают этих двух, а по ним доберутся и до всей группы. Лег под елку. Хоть и прохладно, и дождь шумит, задремал...

...Возвратились разведчики. Доложили — за каналом дерутся наши. Стрепунин и теперь упрямится:

— Не поведу вас на верную, бессмысленную гибель.

На бессмысленную гибель? А почему она, собственно, бессмысленна? Когда же помощь своим была бессмыслицей. Переправиться. Да на той же шестерке. Подними со дна канала, переплыви.

На шлюпке — вот идея!

...Переплыли Новый канал. Сокрушили, смяли фашистов. Освободили своих. Лоблов встретил Стрепунина со злобной завистью. Он вот ничего не смог поделать с немцами, а Стрепунин — герой, освободитель.

Застенчиво смотрит на героя Софа, пряча под длинными ресницами радость. Теперь ее не уничтожат, не надругаются над ней фашисты. Камень свалился с сердца. И Лоблов Стрепунину не соперник. Сонюшка принадлежит ему, Стрепунину, вся целиком. Ради этого следовало покинуть болото и совершить обратную переправу через канал. Как прекрасна Сонюшка! Верхняя губа по-детски чуть вздернута, и радость девушки сдержанна, стыдлива...

Стрепунин проснулся. Может быть, он и не спал вовсе, а просто выдумал эту картину.

Десант марширует

Идет отряд кораблей — днем, в ясную погоду. Идет. Немцы видят его. Как он осмелился! Сокрушить, сжечь, потопить!

Сорвалось. Отряд подошел к берегу. Ни бомбы авиации, ни снаряды артиллерии не смогли остановить дерзких. На глазах у немцев десант высаживается на берег.

Не допустить высадки, уничтожить!

Итак, приказ за приказом: «Смять», «Сокрушить», «Стереть с лица земли».

Все было у фашистов для полного уничтожения десанта — авиация, артиллерия, минометы. Озеро кипело, как перегретая вода в котле. Только чудо могло спасти десантников. Чудо произошло — первый эшелон достиг берега. У немцев имелась довольно существенная брешь в обороне — на берегу озера совсем не было войск, если не считать малочисленной охраны. И особенность. Стрелковое оружие — пулеметы, автоматы, винтовки — не применялись. Берега Нового канала — земляные валы, поросшие кустарником и деревьями — заслоняли собой озеро, стрелять через них не так-то и просто.

Десантников высадили в озеро. Первое их прикрытие — камыш; главный тактический прием — движение вперед, все вперед! Раненые падали, захлебывались и топули, но эшелон стремился, рвался на берег. Лоблов зычно командовал:

— За мной, вашу!..

Голос командира прибавлял бойцам сил и служил в камышах ориентиром — все тянулись к нему.

Берег! Вот он, желанный. Кусты и деревья укроют и защитят. И главное — земляной вал.

Десант высадился. Немцам показалось — у страха глаза велики,— на берегу целый батальон, не меньше тысячи человек. Сегодня тысяча, завтра придет пять тысяч, захватят Шлиссельбург, ликвидируют Ладожско-Мгинский выступ. Десант не потоплен на переходе, зато теперь не поздно втоптать его в землю и остатки в озеро столкнуть.

На берегу десантники растаяли, слились с рельефом. Под прикрытием растительности поднялись на гребень вала. Тут увидели... канал!!

Трудно описать смущение, обиду, подавленность людей. Водная преграда. Конца ей нет. По сравнению с озером ширина пустячная, только попробуй-ка преодолеть ее. Многие читали или от других слышали про эту канаву, но кто же знал, что она такая широкая и станет на пути так вдруг!

Был смущен и Лоблов. Вот-вот вышли из озера, вышли потрепанными, но не уничтоженными, а теперь нате вам — опять вода. Про нее в Осиновце много разговаривали, но кто же мог подумать, что это так серьезно! А теперь фашисты не дают размышлять, бомбят непрерывно — и этот ужасный вой бомб... Не послушал вчера Лоблов доброго совета Стрепунина подготовить переправу через канал, теперь расплачивайся. Все, кто рядом с майором, смотрят ему в рот, ждут решения. Командир найдет выход, спасет десант. Обязан спасти!

В какую сторону и на что направить силы? Справа город. Разве напасть на него? Да там достаточно одного пулемета, чтобы задержать всю группу. Расстреляют как... Да, справа, на западе, ждет десантников бесславный конец. Позади — озеро, впереди — канал. Свободен один путь — влево, на восток. Там наш фронт, до него недалеко, это Лоблов знал хорошо. Свои помогут. Пробьемся!

Брусняга имел практический опыт и мыслил широко. Он оставил двух связных — встретить Стрепунина и вывести его к главной группе. Но ждать ее, эту вторую группу, нельзя — уничтожат. Надо уходить.

Поползли, пошли, побежали...

За десантом погнались самолеты, перенесся к востоку, опять же вслед за десантом, артиллерийский и минометный огонь. Туда же, к востоку, потопали немцы в тяже-

лых армейских башмаках и с автоматами на животе. Особенно всполошились немцы на линии фронта, когда узнали о приближении десанта. Немедленно повернули оружие в тыл и встретили группу Лоблова огнем, какого не было и на озере.

Тупик. Впереди — огонь, справа — канал, слева — озеро, позади...

Назад!

Трудно идти и назад — на пути немцы. Это не полк, не батальон и даже не рота — группа, как видно, малочисленная, но у нее много огня. Фашисты, живые фашисты были на виду, стучали автоматами без всякой меры, заслонили от десантников путь на Шлиссельбург, и некуда десанту податься.

Перелесок за Новым каналом стал терять резкие очертания, вода в канале как бы густела и застывала, местами тускло блестя. Тростник на озере и — дальше — вода чистая хорошо еще просматривались отсвеченные зарей, но и с этой стороны полоса видимости сужалась.

Наступала тревожная ночь.

В мышеловке

Десантники отдохнули, осмотрелись, мокрые портянки заменили сухой тряпкой, у кого она была. А не было — пускали в ход полотенце, разрывали на полосы нижнюю рубашку. Все принимал солдатский, с просторным голенищем сапог. Бойцы как бы жили по лозунгу: «Ничего не жалеть. Будем живы — наживем!» Пили и ели сверх положенной нормы. Что будет завтра — посмотрим, а что есть теперь — наше.

Майор Лоблов созвал военный совет.

Лоблов, и вдруг советуется?

Взяло, как говорится, Фоку и сзади и сбоку. Попало зернышко под кованый жернов.

И все же Лоблов не стал бы совещаться, кабы не комиссар Моргун. Тот сказал:

— Что будем дальше делать, командир?

Они отошли в сторону и смотрели на выгорбившееся облако, окрашенное угасающей зарей. Оба крупные и почти одних лет. Разве на год или на два комиссар постарше.

— Так что же?

— Что потребуется, то и сделаем, политрук.

Лоблов намеренно не назвал Моргуна по должности — комиссаром. В правах они равны, а по званию майору соответствовал бы батальонный комиссар, а политрук ниже на два ранга. Эту тонкость и подчеркнул сейчас командир.

По натуре Моргун неторопливый, малоповоротливый, как крупный и угловатый валун — куда лег, трудно перевалить на другое место. Говорит:

— Довольно темнить, Лоблов. И без того последний свет гаснет,— должно быть, заря напомнила комиссару о свете.

— Всякий командовать лезет. Здесь один командир — я.

— А я комиссар.

— Меня поставили головой десанта, и я отвечу.

— По-твоему, что же, комиссар безответственное лицо? Я требую, я...

— Что ты сделаешь? — пошел на вызов Лоблов.

— Опомнись, майор. Грыземся. Не время и не место. Мы в огне. Если что... Давай с пользой, как большевики.

— Не агитируй, политрук. Не учи умирать меня, строевого командира. Это право я никому не уступлю. Ты скажи лучше, где второй эшелон? Где?

— Ты сам ответь, как командир.

— Не я ставил этого шибздика, Стрепунина. Навязали мне, стреножили.

— Нас-то ведь тоже навязали десанту. Может быть, десант этого и не хотел. Не мы управляем десантом, а события нас швыряют куда хотят.

Лоблов не нашелся. Говорит:

— Ну а чего ты хочешь?

— Созови командиров. Давай посоветуемся. Да и подбодрить надо.

— Заседать... А враг нас будет колошматить. Хорошо. Созову. Ординарец — ко мне!

На валу под ольхой пятеро — три командира, комиссар и Скорнякова. Софу Лоблов все время держал при себе и вот удостоил особой чести — пригласил на совет.

Сидели на обломках рангоута, на досках, выброшенных волной. Лишь Лоблову ординарец поставил ящик из-под рыбы. Ящик тоже дар озера. Раздавались короткие и редкие автоматные очереди. Это палили немцы, словно бы напоминая десантникам — мы здесь, караулим вас, отдыхайте в свое удовольствие... Десантники не отвечали: патроны берегли.

Первое слово Лоблов предоставил младшему лейтенанту Кудряшкову.

— Давай говори.

Кудряшков встал и начал рапортовать:

— Курсантская группа имеет в наличии сорок один штык и один легкий пулемет Дегтярева. Раненых — пятеро. Из них два — тяжело. В госпитале... На излечении.

Кудряшкову казалось — не доложил он самого главного, но где оно, это главное — не знал. Ах, состояние бойцов, твердость группы и ее командиров. Опять чеканит:

— Моральное состояние личного состава...— Отличное? Нет, это будет бахвальством. Говорит: — Хорошее. Бойцы готовы...

Сам себе: «Не то, не то».

Выручает Лоблов:

— Сколько не дошло?

— Не известно, товарищ майор. Когда второй эшелон...

Прошелестела мина, шлепнулась в тростник и там разорвалась. Продолжил Кудряшков уже не с той четкостью:

— Курсанты-пограничники и здесь и там. Было шестьдесят два, а сколько в другую группу...— окончательно споткнулся.

Майор бросил:

— Ясно.— И к капитану: — Теперь ты.

Брусняга оказался в десанте единственным строевиком с опытом; он прошел путь в полку от помкомвзвода до командира роты. В этой должности его и застала война. Полку было приказано выделить в десант одну роту. Не получилось. Полк пообещал дать штабу флотилии пятьдесят бойцов. И это обещание не выполнил — послал лишь тридцать. Опасался — моряки поднимут бучу. Чтобы задобрить их, прикрыл недостачу бойцов опытным командиром, придав группе ручной пулемет. Авось сойдет. Сошло. По крайней мере на первое время.

Капитан счел себя вправе отчитаться за весь эшелон.

— По состоянию на двадцать один ноль-ноль мы имеем: пограничников, включая младшего лейтенанта, сорок два; стрелков — двадцать пять; водолазов — пятнадцать; строителей — пять; минометчиков — шесть; санитаров — четыре. Всего девяносто семь. Из них ранено: тяжело — четыре, легко — девять. Все легкораненые—в строю. Оружие: винтовок — девяносто одна; ручных пулеметов — два; один миномет и к нему тридцать шесть мин; гранат — двести тридцать восемь. Продукты: сухой паек на трое суток. Резервов нет, ни продовольственных, ни боезапаса. Обстановка... Докладывать или вы сами, товарищ майор?

— Валяй.

— Обстановка неблагоприятная. Заблудилась группа Стрепунина, и нет связных. Мы на пятачке. А если правильно говорить — на копейке с обрезанными краями. В данных условиях лучшим выходом было бы прорваться на оперативный простор. Прорваться любою ценой.

Комиссар к нему:

— В каком месте?

— Через канал.

— На чем?

— На плотах. Тот берег охраняется, кажется, слабо. За ночь сумеем плоты связать. Тальника вдоволь. Есть топоры, ножовка. Много камыша, можно быстро навязать из него снопов и на них плыть. До рассвета управимся. Да, забыл. Захвачена рыбачья лодка. Небольшая, но двух-трех человек вполне выдержит.

Опять комиссар:

— Если же здесь воевать?

— Можно и здесь. Место для обороны почти идеальное, кабы сверху было прикрытие. В тылу — озеро, наступление противника отсюда затруднено. И со стороны канала атака маловероятна. От пульогня с того берега нас надежно укрывает вал. А вот с минометным огнем ничего поделать нельзя, от него будет урон. И от мортир. Самые слабые наши места — фланги.

Вклинился младший лейтенант:

— Нужны окопы.

— Именно окопы,— подхватил капитан.— Все стрелки — с саперными лопатками. Есть лопатки и у минометчиков. Организую непрерывную работу по очереди. Силы расставить так: пулеметы — на фланги. По одному. Слева — фронт. Не потерпит в своем тылу тигра. Нанесет удар. Именно против этого удара и следует сосредоточить кулак — стрелков и водолазов. Считаю их наиболее стойкими группами. И все же главной задачей нашей будет...

— Что же? — спросил комиссар.

— Прорыв на ту сторону канала. Иначе нам отсюда не вырваться.

Опять комиссар:

— Когда свяжемся с флотилией?

— Надежды мало. Не уберегли радиостанцию, подмочили.

Камыш переговаривался с ветерком, налетевшим с озера. За каналом застрочил пулемет — одиноко и, казалось, бутафорски. Вспыхнула ракета и осветила группу под ольхой — круглое, полное лицо майора с ртом, изломанным иронией; строгий, удлиненный профиль комиссара; Кудряшкова, любующегося ракетой; Бруснягу, закрывшегося от нее рукой, и Скорнякову — она отвернулась от света, уткнула нос в колени.

Визг бомб заставил всех изменить позы — невольно податься к земле, скорчиться. Разорвались бомбы в озере, обдав людей брызгами грязи.

Ракета погасла. Люди ослепли. Прогремел голос Лоблова:

— Что нам скажет начсанчасти?

Софу как бы подтолкнули. Она зачастила:

— Раненых четверо. Двое в ноги. Один контужен. Сергеев — в живот. Операция нужна. Без нее не выжить человеку. Бинты есть. Лекарства... Вот...— Хотела сказать — вот если бы хирург был,— вовремя спохватилась и не продолжила.

— У тебя что, комиссар?

Тот не сразу отозвался, заговорил после значительной паузы, правда, веско:

— Капитан говорил о переправе. Надо попытаться.

— Вполне сможем,— подтвердил Брусняга.

— Тут нас сожрут. Но особенно отчаиваться не стоит. К нам придет подмога — группа Стрепунина. И флотилия не оставит. В этом я убежден так же, как и во

всех здесь вас. Но если уж доведется, доведется... Давайте, товарищи, не посрамим себя. Вот и все.

— Теперь слушайте,— начал рубить майор,— слушайте, что скажет Чапай. Приказываю: капитану за ночь отрыть окопы полного профиля. Заготовить на всякий случай камыша и дерева. Главным считать западный фланг, правый, в сторону Шлиссельбурга — туда водолазов и стрелков. Оба пулемета — с ними. Миномет — в центр. Командиром западного фланга назначаю капитана Брусняги.

— Есть,— ответил Брусняга, без энтузиазма. Майор явно мудрит. Что поделаешь, капитан дисциплинирован, выполнит всякую блажь командира.

Тот усиливает впечатление, продолжает:

— Я сам буду здесь, справа. Слева — Кудряшков и... комиссар.

— Пусть будет так,— согласился Моргун.

Вопреки логике Лобов усилил западную сторону. Правда, перебросить бойцов с одного фланга на другой не представит большого труда — пробежать бойцу придется всего сто пятьдесят—двести метров. Расстояние для солдата ничтожное... в нормальных условиях. А в бою? Связи проводной нет. Без посыльного ни одного приказа не отдашь на другой фланг. А по дороге вестового и положить могут.

Почему же Лобов усилил фланг, на который трудно ожидать решающей атаки? Сюда воинские части могут попасть только из Шлиссельбурга, до которого шесть-семь километров. Слева — войска под рукой. Возьмут да ударят и с фланга, и через канал, на лодках, вопреки предсказаниям Брусняги.

Лобов показал твердую руку. Вы хотите давать советы — хорошо. Я выслушал их, а сделал наоборот.

Возможно, у него были другие какие-то соображения,

но он доводами своими ни с кем не поделился. Как приказал, так и будет. Скомандовал:

— Разойтись по работам!

Десантники бодрствуют

Бряцали лопаты. Окопы отрывались по всем правилам — не прямолинейно от озера до канала, а с изломами. Брусняга метался с одного фланга на другой, расставлял бойцов, приказывал:

— Деревья и кусты не трогать. Вы понимаете, не трогать.

— Как же не понимать,— отвечал ему пограничник.— Растения — лучшая маскировка.

— Молодец. Верхние края делайте чуть покатыми, меньше будет оползней.

Лоблов разговаривал с бойцами на свой манер. Увидев на правом фланге водолазов, сказал:

— А-а, клешники. Иванморы. Не нашли еще клада?

Один остряк не растерялся:

— Скоро, товарищ майор. Что-то уже звякает.

— Это вам не кам-мбуз. Вот там бы вы уж зазвенели.

Ни у кого из водолазов клешей не видно — брюки заправлены в кирзовые сапоги. Напрасно на это намекнул майор. Матросы, правда, не обиделись на командира, им скорее льстило напоминание о клеше и камбузе. Не прочь, очень бы не прочь они постучать теперь ложками и позвенеть кружками.

На левом фланге строители. Их Лоблов приветствовал:

— Копаем... вашу бабушку. Тяп да ляп. Щель замазали, грязь закрасили — иди, живи. Пусть потом кирпичи стучат по черепам. У меня что сварите, то и съедите. Ломовики...

— Почему же ломовики,— товарищ майор? — спросил обиженный строитель.

— Больше ломаете, чем делаете...

Напрасно Лоблов так к ним. Присмотрись он внимательнее, смог бы заметить — строители копали все разом.

У всех лопаты. Железных — две, остальные деревянные. Сами сделали, нашли подходящие доски и вот вытесали. Грунт мягкий, поддается и дереву. Лопаты деревянные особо споры на выброске земли.

Комиссар Моргун занялся вопросами разведки. Надо побольше знать, что делается на том берегу канала. Там есть немцы, но как густо они понатыканы? Нельзя ли переправиться на оперативный простор?

Прогуляться на тот берег вызвались добровольцы — стрелок, пограничник и два водолаза. Нужен один разведчик. Комиссар при посадке на суда отличил мичмана Кривцова — генерального водолаза, как он его назвал.

— Пошлите меня, товарищ ко-омиссар, — просит мичман.

— Фигура крупновата,— засомневался Моргун.— Фашистам легко заметить.

— Не заметят. Я же водолаз.

— Хорошо. Иди. На лодке, есть такая.

— Никаких лодок.

— На чем же?

— Поплыву. Канал мне на два вздоха. Только уговор.

— Какой же?

— Вернусь — стакан спирту.

— Это обеспечу.

Разделся Кривцов до трусиков, спустился с вала и сразу как бы утонул. Никаких всплесков, ничего такого, что хоть чем-нибудь напоминало бы плывущего человека.

Как всегда при таких случаях — минуты кажутся часами.

Выстрел! Близко так, почти рядом. Захлопали, застучали на том берегу. Ракета прорезала тьму. Много ракет. Укрыться некуда от яркого света.

Десантники побросали лопаты, защелкали затворами. Выстрелы на том берегу начали редеть и постепенно иссякли.

Моргун тревожно смотрел из окопа на канал. Конечно же, стреляли по Кривцову. Воды канала неподвижны — свинец налит в берега. Убили славного мичмана...

Кривцов явился привидением, как и ушел — полуголый.

— Жи-ив,— выдохнул комиссар.

— Во-одки,— выбил Кривцов зубами ритм.

На разведчика накинули шинель. Комиссар наполнил стаканчик из своей фляги. Кривцов крякнул и тяжело перевел дух:

— О-о.

Дальше слышалось — буль-буль-буль. Это уже Кривцов тянул прямо из фляги. Еще раз крякнул и попросил:

— Чего-нибудь на зуб.— С полным ртом, забитым едой, начал: — Розрешите, о-ы, доложить...

— Без доклада ясно — берег оцеплен.

— Оцеплен. Не переправиться нам.

Еще прилежнее и тревожнее застучали лопаты. С озера подул упругий ветер, отнимая у тела последнее тепло. Забиться бы под куст, свернуться калачом и обо всем забыть, забыться, ну на полчаса хотя бы — вот сокровенные думы бойцов. Лоблов по-своему поощрял их.

— Вы зеленые. Здесь до срока созреете. Крепче, крепче держать лопату.

Стрелков обозвал «кашеедами».

Ночь подходила к концу. Из-за горизонта вывалилась красная краюшка луны, даже и не краюшка, а лишь самый ободок ее. В тылу врага, где-то под Шлиссельбургом, шел бой. Он будоражил десантников, пожалуй, больше, чем близкие выстрелы. Не стрепунинская ли там бьется группа? Подмога. Сюда завернет. Может быть, не так

долго осталось и ждать ее. Тревожится радостью сердце бойца.

В прогалины между рваными облаками светили звезды. Ковш Большой Медведицы поворачивался к бойцам своей ручкой. За линией фронта занималась заря, румяня у облаков выщербленные края. Только заря виделась недолго, небо стало затягиваться хмарью и как бы припадать к земле.

Бой под Шлиссельбургом давно прекратился. Наступал день. Какие радости нес он десантникам?

Приготовиться к бою!

Главные силы фашисты сосредоточили под Ленинградом на линии Ропша — Красное Село — Колпино, чтобы оттуда дать городу последний бой. Осталось каких-нибудь тридцать—сорок километров до города-гиганта, еще один бросок — и вся махина рухнет. Да, рухнет. Не сможет выдержать натиска такого количества гитлеровских войск и техники. Так думали фашисты. На другие участки фронта, окружавшие Ленинград чуть разорванным Ладожским озером кольцом, сил у немцев не хватало. А зачем их там держать? С падением Ленинграда сами собой рухнут и другие участки этого фронта. Да и вся война пойдет по наклонной плоскости. Высвободится таран, и им будет пробито все до самого Урала.

Да, не так уж много войск имели фашисты под Шлиссельбургом. Вдруг — десанты, один, второй! Первый ускользнул: прорвался через фронт. Второй посерьезнее. Сам командующий Северной группой армий фон Лееб заинтересовался десантом, заторопил своих подчиненных поскорее расправиться с ним.

На скорую руку в Шлиссельбурге был сколочен батальон. Одну роту пустили по суше — между озером и каналом, две другие роты должны пойти на лодках

Новым каналом и частью по суше, тыловым берегом. Не дожидаясь рассвета, одна рота уже замаршировала. Готовы были двинуться и лодки, и командир батальона обер-лейтенант Шперлинг полон желания раздавить десантников одним ударом, ударом большой силы.

Что такое? Стрельба! Почти у самого Шлиссельбурга! Шперлинг в недоумении.

Прибежал запыхавшийся солдат, выбросил руку вперед и стал твердить:

— Партисан, партисан...

Шперлинг меняет план, оставляет лодки и с двумя ротами спешит на выстрелы, к батарее, которую громила группа Стрепунина.

...Партизаны или кто там прогнаны. Преследовать их едва ли разумно — сумрак и болото и без партизан опасны. На поле боя найдены русские — четверо убитых и двое тяжело раненных. Раненых допросили. Хотя допрос и не дал больших результатов, но у гитлеровцев и без того оставалось много данных для размышлений. Только по тельняшкам захваченных бойцов можно было догадаться — батарею громили матросы, десантники. Одна группа десанта блокирована там, у линии фронта, другая произвела вот этот дерзкий налет. Высадилась ли эта вторая группа ночью или отпочковалась от вчерашнего десанта? Скоро во все будет внесена ясность. На берегу две десантные группы. Это бесспорно. Шперлинг жестоко покарает русских, очистит от них тыл и попутно отомстит за разгром батареи. Вторая группа ускользнула пока от расправы, тем хуже будет для первой. Ее стиснули между озером и каналом, остается уничтожить или сбросить в озеро — что одно и то же. Это будет сделано еще до полудня.

Спешит, торопится Шперлинг к Новому каналу.

Десантники первого эшелона ничего не знали о батальоне Шперлинга, они просто готовились к бою.

Небо, затянутое теперь сплошными облаками, принимало однообразно серый, постепенно темнеющий тон. Небесная крыша как бы сужалась и готова была упасть. Рождалось двоякое чувство: неприятное — вот накроет тебя, отемнит, и успокаивающее — укроет от всех бед.

Над озером выделилась темная, во весь горизонт полоса, похожая на гриву от заводской трубы.

— Смотрите, смотрите, товарищи! — прокричал водолаз, указывая на полосу.— Корабль, корабль! Помощь!

Бойцы встрепенулись, сонной вялости как не бывало, в людей влилась энергия, они жадно вглядывались в озеро, разыскивая корабль. От кого же, как не от него, тянется эта темная полоса? Но что за таинственный корабль, почему его никто не может обнаружить?

Мичман Кривцов убил в бойцах надежду:

— Какой там корабль. Просто дождевое облако.

Сразу всем стало почему-то зябко, захотелось горяченького. Камыш шебуршит, нагоняет тоску. И эти противные окопы — стенки осыпаются, за ворот струится холодная земля.

Фашистской атаки ждали всю ночь, и все же она пришла внезапно. Водолазы завтракали — ели черствый хлеб с рыбными консервами, а стрелки углубляли траншею и маскировали ее травой и камышом. В это время квакнула первая мина. Она разорвалась на валу, подрезав куст. Зловеще просвистели и лопнули два снаряда, правда, в камыше, не причинив десанту вреда. Началась канонада. Загорелись кусты, позицию заволокло дымом, запахло сладковато порохом.

Окоп, отрытый стрелками, начинался от камыша и, поломавшись на короткие отрезки, взбегал на гребень вала. В одном из таких отрезков сидели двое бойцов. Оба в шинелях и пилотках. У одного была голова крупная, сдавленная сверху, лицо полное, краснощекое, с широким лбом. Пилотка для такой головы была слишком мелкой,

ело держалась и, казалось, надета была лишь для того, чтобы завершить, сделать более пропорциональной голову. У соседа его — лицо вытянутое, узкое, пилотка сползала ему на глаза и тоже делала голову пропорциональной, укороченной. При каждом свисте снаряда и шелесте мины оба солдата пригибались, хотя сидели ниже уровня окопа, а при взрыве вздрагивали. Оба стискивали винтовки ладонями, чтобы скрыть дрожь рук. Крупноголовый отчаянно ругался:

— Колбасники... Завели шарманку на целый день. Кляп им в рот.— Может быть, в ругани он хотел утопить тревогу. В конце концов ругаться ему надоело, а молчать нет сил. Тогда он к товарищу:

— Ну как, Андрюха, тебе нравится эта мура?

Андрюха неуклюже, по-медвежьи поворочался, переложил винтовку с одной коленки на другую и сказал:

— Не приставай, Вавилов.

— Ты опять о своей Дуне?

— О ней, Прокоп.

— Да пошли ты ее под хвост... А сам не ругайся.

— Я уж и то, а как подумаешь...

— А ты не думай.

— Думаю — будет смеяться с другим, целовать его... А меня нет. Совсем нет на свете...

— Эх, дья... (взрыв мины) ...явол с ней, твоей Дуней. Пусть целует и обнимает кого хочет. Бабы, они для того и созданы — обнимать. Уж я-то их знаю. У иной не лицо — харя, и по характеру ведьма, так и тянет тебя в ад. С такой и спрос короткий. А посмотри-ка на другую — ангел, прямо ангел, голосок — у-ух, рожок пастуший, а мысль одна, все о том же — кого бы подцепить. Тьфу!— Он густо сплюнул.— Са-абака...

— Замолчи, Прокоп. Набит рот похабщиной. Тошнит.

— Зря, что ли, говорю?

— Ангелы, ведьмы — да черт с ними. Как хо... (взрыв снаряда) ...отят, так и поступают. Но Дуня, она, знаешь ли...

— Не ной, как по мертвым. Мы живы, живы! Подмога скоро придет, черт бы их всех там замотал. Туман— это хорошо. Корабли незаметно подойдут.— Прокоп осторожно выглядывает из окопа.— У фрицев тихо. Видно, спирт хлещут для храбрости.— Повернул голову внутрь позиции и с испугом: — Соня несет.

— Кого несет?

— Раненого. А може, и убитого.— Прокоп садится и ерзает, ему не по себе.

Разлилась тишина, какая-то пугающая. Шуршание камыша и подвывание ветра не нарушают ее. И голос капитана Бруснягн, высокий протяжный:

— К бо-ою приго-отовиться!

...Окоп водолазов прошелся по самому хребту. Залезть в землю морякам? Злее насмешки нельзя и придумать. Рыть землю — ха-ха — какое издевательство!

И конечно же, окоп водолазы отрыли кое-как, да и то сделали не без давления со стороны капитана Брусняги. При первой возможности водолазы ложились в ямку или под куст — куда придется — и задавали храпака. Крики о появлении корабля и затем артминометный обстрел взбодрили их, водолазы засели в окоп, сбились в группы и занялись и пресными, и солеными анекдотами. Один матрос продолжал спать. Когда мина взрывалась очень близко, он вскакивал и задавал один и тот же вопрос:

— Нам пора?!

Но особенно выделялся другой матрос. На нем шинель и бескозырка. Лицо приятное, щеки румяные и покрыты пухом, нос небольшой, тонкий, глаза скорее синего, чем серого, оттенка, и взгляд их мягкий, ласкающий, рот хорошо очерчен. Матрос этот производил впечатление маминого сынка, кажется, так и хочет к кому-

нибудь приласкаться. Только всем здесь известно — матери у него нет, в десять лет остался сиротой, а воспитала его бабушка, этого Тимоню Щегленкова.

Тимоня окончил десятилетку, его призвали на срочную и послали в школу водолазов. Оттуда — в десант. Так он очутился на Ореховом берегу.

Краем уха слушал Тимоня разговоры товарищей, вздрагивал, как и они, от взрывов мин, от снарядов, поющих на высокой ноте, и думал... думал о матери. Пять детей родила его мать. Все умерли, едва достигнув двух — пяти лет. Мать высохла от горя. Женщина глубоко верующая, она молила бога оставить ей в живых ребенка, ходила к ворожейкам, а дети умирали и умирали.

Шестой, Тимошенька, родился хилым. Болезни одна за другой наваливались на него. Поносы и запоры чередовались; ветрянку, коклюш, корь, золотуху, скарлатину — все перенес Тимошенька. И выжил. Выжил! А мать все боялась — уйдет от нее ненаглядный ее сынок вслед за своими братьями и сестрами, кутала его в шубы и одеяла, не давала ветерку на него дыхнуть. Тренетала, когда сын уходил на реку выкупаться в жаркий июльский день. После Тимошеньки мать родила еще двух дочерей, но они были для нее дети как бы иного рода. Она их любила — и только, а в Тимошеньке души не чаяла.

Тот рос. Тело его очистилось от всех лишаев и золотушных чирьев. Мальчик оказался умным, только любовь матери обратилась во вред же ей. Она избаловала своего Тимошеньку. Он сделался капризным, эгоистичным, невыносимым маленьким тираном. Дают молока — не хочу, давай сливок. Сливок дают — дай сметаны.

Было и хорошее в мальчике. Помимо острого ума он обладал нежным сердцем. Плакал по скворцу, выкраденному вороной из скворечника. Мать свою мучил, но и любил до самозабвения.

Заболела мать неожиданно, летом. Пришла с полевой работы и начала жаловаться — голова, голова... Легла в кровать и не встала. Утром следующего дня она позвала:

— Тимошенька, подойди, родной, ко мне.

Она лежала под лоскутным одеялом, густые волосы выбились из пучка, связанного на затылке, и разбросались по подушке. На впалых щеках пылал румянец. Глаза темные — Тимошенька наследовал цвет глаз отца, — такие прекрасные, смотрели на него. Сказала:

— Я умираю. Как же ты без меня?

Судорожно прижала к себе сына и не хотела отпускать.

Религиозная женщина. А вот раем был для нее сын. Как не хотела она его оставлять! Ничего не видела — слезы ей затмевали свет, только чувствовала тело сына и еще горше плакала, предвидя свой конец.

Тимошенька еще не осознавал полностью горя, только чуял надвигающуюся страшную беду, и сердце его было готово разорваться от боли и тоски...

На флоте Тимошеньку стали звать еще нежнее — Тимоня.

Теперь сам Тимоня Щеглепков мог бы повторить слова матери: «Я умираю». Он отчетливо видел то, о чем многие, может быть, только догадывались. Немцы сегодня же их сомнут. Невозможно удержаться на земле, которую можно прикрыть носовым платком. Все говорят о подмоге с озера. Не будет ее. Не придет она, эта помощь. Нет на Ладоге войск для десанта. Это он слышал там, в Осиновце, от многих. И факты подтверждают. Даже караульную команду оторвали от службы и послали в десант. Нет оружия — винтовки привезли в самый последний момент. Если и свершится чудо, откуда-то явится подкрепление, то не сегодня. А тогда, тогда зачем оно?

Есть вторая группа десанта. Разве она не придет?

Тимоня напрягся телом, привстал. Конечно, придет вторая группа. А с ней и умереть легче.

— К бою приготовиться!

...Мичмана Кривцова расспрашивали:

— Нырнул — и сразу на том берегу?

— Не сразу, а в два приема.

— За корягу не зацепился, мичман?

— Дно чистое.

— Видел немцев?

— Не видел, а слышал. По всему берегу насыпаны густо.

— Они по тебе палить, а ты?

— Нырнул, и вот, как видите.

Дальше Кривцов не просто разговаривал, а призывал:

— Мы — моряки. Морская душа в нас живет. Неужели опозорим свое звание. А куда отступать? Куда, скажите? Может быть, в озеро? Так покажем же, товарищи!

Слова Кривцова были горячи, из самого сердца выходили. Он имел авторитет — был у себя в части комсоргом. Но пока авторитет этот выдали ему авансом. Аванс надо отработать. Ночью Кривцов плавал на тот берег. Возвратился. Что бы потом ни случилось, а ночная разведка останется на счету мичмана как лучшая его аттестация. Говорил Кривцов почти лозунгами, но слова его волновали товарищей. Водолазы не спрашивали: а что дальше? Они повторяли:

— Покажем!

— Вдарим!

Им отзывалось:

— К бою приготовиться!

Вот он, первый

Шум нарастал. Немцы, вынырнувшие словно из-под земли, приближались к окопу. Они вытянулись густой

цепью от камыша до верхушки вала, и чудилось, поднялась сама почва, шевелится, идет. Запели пули, противно, с причмоком. Тимоня впервые видит немцев и немного разочарован в них. Мыслил встретить громил — дюжих, мордастых, в тяжелых кованых сапогах. А тут бежали на Тимоню солдаты, обычные, пожалуй, помельче их, водолазов, и щеголеватые — в касках, легких курточках. А вон совсем юнец, только-только, должно быть, со школьной скамьи. Пусть бежит. Ствол винтовки сам упирается ему в грудь. Совместить прорезь прицела с мушкой, как учили на стрельбищах. Палец на спусковом крючке не уверен — то схватится самым кончиком, то сгибом, и дрожит. Тимоня силится унять предательскую дрожь пальца и не может. Толчок в плечо — и удар по ушам приводит Тимоню в еще большее возбуждение. Молодой немец спотыкается и падает головой к окопу.

В густой цепи наступающих встал первый султан дыма — те шарахнулись в разные стороны. Мина! Неужели фашисты стреляют по своим? Это наша мина. Десять выстрелов сделать разрешил Лоблов.

Еще один немец упал. Навзничь. Еще... А тот, первый, перед глазами. Стреляет он один, Тимошенька. Только немцы повсюду падают, цепь их редеет. Может быть, лишь кажется — редеет, всю цепь и не видно, а только тех, кто перед стволом.

Гитлеровцы приближаются. Уж совсем рядом, почти штыком достать...

Что-то непонятное. Люди выскочили из окопа, закричали, побежали немцам навстречу. В одних гимнастерках. И Тимоня срывает с себя шинель, подхватывается какой-то силой и кричит: «А-а!!!» — и бежит, бросая вперед гранату.

Фашисты удирали... Одних, настигая, закалывали штыками, других сваливали прикладом по голове.

— Смерть оккупантам! Бей, круши!

Вот оно, упоение боем! Ни раздумий, ни страха, есть только торжество!

Привел в себя десантников тяжелый немецкий пулемет. Он простучал длинно, выхватив из десанта не одного бойца. Кривцов крикнул:

— Ложись!

Бойцы попадали подрубленными деревьями. Поползли к окопу, не в силах подавить соблазна, чтобы не снять с убитого немца фляги, сумки, автомата...

Тимоня торопился, на трупы старался не глядеть — выворачивало нутро, тошнило от вида ран и запаха крови. Но это кто? Молодой немец. Его, Тимонин, первый... Хотел отвернуться, и не мог Тимоня, все смотрел и смотрел. Какой он молодой, не старше его, Тимони, белолицый, с тонкими светлыми волосами. Каска чуть отошла от головы, как на живом. Сознание прорезает злая мысль — так тебе и надо, зачем пришел сюда? Да, конечно, зачем пришел... Но почему же погасла радость от этой вот победы? Почему разлилась жалость и неисходная тревога?

В окопе стонали раненые. Санитары относили их в тыл — окопчик, отрытый метрах в ста от передовой.

Появилась Соня. Щегленков смотрел на нее с тайной радостью. Девушка взглянула на Тимоню и деловито сказала:

— Ранен.

Провела ватой по его лицу — вата порозовела. Сняла с головы Тимони бескозырку, осмотрела стриженую голову и совсем холодно:

— Царапина. Пусть товарищи перевяжут. У меня тяжелые...

Улыбался ей Тимоня, не спуская глаз с девушки. На сердце светлело.

Брусняга пересчитал бойцов.

Пришел Лоблов и сказал водолазам — ему они особенно были по душе:

— Вот так их, клешники! Хорошо пощекотали в толстые зады.

Стрелков командир десанта обошел вниманием.

Зато комиссар прошелся по всему окопу, каждого бойца одарил добрым словом. Брусняту подбодрил особенно:

— Отлично управляли боем. Бесстрашно. Подпустили вилотную, а потом штыком их, все штыком. Спасибо. — Пожал Брусняге руку.

Тот к Лоблову:

— Восполнить бы потери, товарищ майор. Противник не ограничится первой атакой.

— Дам подкрепление, — сказал майор. — Как только получу из Осиновца, так и дам. — Осклабился и добавил после некоторого раздумья: — Не горюй, капитан. Пришлю два отделения зеленых. — В слово «зеленых» вложил двойной смысл — пришлет пограничников, у них знаки различия зеленые и сами бойцы незрелые и неумелые.

Десантники потягивали немецкий спирт, закусывали немецкими галетами, хвастались трофейными автоматами. Сморенные бессонной ночью и боем, многие валились с ног и засыпали.

— Пошлите еще двоих на розыски пропавших,— приказал майор Брусняге.

Комиссар выбегает на бруствер

Дождь стандартный, осенний, шел волнами — то едва брызгал, кропил людей, то становился необыкновенно щедрым — частил, прорывался струями. Стенки окопа сырели, осклизали и делались иссеченными, в рубцах от стекавшей воды. На дне окопа вырастали лужицы, сливались в ручеек, и он бежал к озеру.

У стрелков имеются накидки, укрылись. Водолазы и пограничники нахохлились мокрыми петухами; шинели и ватники жадно впитывали влагу, тяжелели и стягивали тело, мешая движениям. С головы холодными червяками вода ползла по спине. Руки бойцов заскорузли, словно были простираны в щелоке. Кто пошустрее и посмышленее, притащил в окоп доску, обломок рангоута, сноп камыша или хворостину и сел на это — все не голая земля. Ленивые и нерасторопные обходились без «инвентаря», сидели прямо на земле.

Мичман Кривцов и здесь отличился. Поднес Брусняге подарок — спасательный красно-белый круг с надписью «Муромец» и сказал:

— От чистого сердца, товарищ капитан. Нигде не пропадете с этой штукой, особенно в море.

Капитан ответил:

— Спасибо, мичман. Плыть не собираюсь, а здесь использую с удовольствием. — И сел на круг.

Вторую атаку десантники чуть было не прозевали. Немцы, учтя урок, теперь не шли во весь рост, а приноровились к местности — где ползли по-пластунски, а где шли по-обезьяньи, на четвереньках, воровски подбираясь к окопу. Минометный огонь, хотя и редкий, велся с того берега канала непрерывно. Огонь немцев был неточен — дождь мешал корректировать стрельбу — и все же причинял десантникам много неприятностей. Не прекращался минометный огонь даже сейчас, когда немцы рисковали поразить своих.

Увидя гитлеровцев, десантники взбодрились. Стрелкам дождь не помеха — аккуратно пришпилили немцев пулей к земле. Пограничники цель держали неуверенно — народ неопытный, в руках связанность. И от холода, и от волнения. Водолазы стрельбу вели хладнокровно, и некоторые из них довольно метко, но их больше тянуло на схватку врукопашную — тут уж они мастера!

Наступающие совсем рядом, маскировка для них потеряла смысл. Поднялись в рост и бегут, бегут... На головах каски, на животах автоматы, на поясах ножи. Лавина орала, стреляла, подкатывалась к окопу — захлестнет, подомнет все под себя.

Пулеметы на флангах окопа неожиданно замолкли, как-то оба вдруг. Заело ли что в них, заменялись ли в это время диски или пулеметчиков убило, только без бодрящего, ритмичного стука пулеметов десантникам стало сиротливо. Бруснята стоял в окопе на загривке вала, видел бой и чувствовал его нерв. Общая стрельба десантников была несобранной — заметил это. С остановкой пулеметов стрельба словно бы потеряла душу — стала совсем вялой, замирающей.

Вал немцев катил на окоп.

Бруснята крикнул во всю мощь:

— Пулеметы!!

Закончил такими бодрящими словами, что пулеметы залаяли добрыми барбосами.

Немцы заслонили собой весь мир.

Комиссар выскочил на бруствер, показался таким большим, достающим облака. Заорал, потрясая пистолетом:

— За Родину, товарищи! Ур-ра-а!!

Отбросили и на этот раз гитлеровцев.

Санитары, как и после первой немецкой атаки, наводили порядок — убирали убитых и раненых.

Вавилова Прокопа ранило разрывной пулей в пах. Перевязывала его Скорнякова. Прокоп отчаянно матерился. Возможно, что ругань служила ему наркозом, утоляющим боль.

— Колбасники, та-та-та, та-та-та. Я всех бы их, та-та-та, та-та-та...

Софа слышала и не слышала режущих уши фраз, проворно накладывала на рану повязку. Бинт окрашивался,

становясь из белого розовым, а затем темно-коричневым. Сильно пахло йодом. Прокоп неистощимо сквернословил. Девушка не выдержала:

— Как тебя зовут?

— А тебе зачем?

— Скажи.

— Ну, Прокоп.

— У тебя, видно, во рту комок из поганых слов. Ты, Проня, выплюнь их все разом.

Вавилов вдруг заморгал, заморгал. Девушка назвала его Проней, — может быть, это и растрогало парня. Ругаться, да и вообще говорить, перестал, а вместе с этим быстро рыхлел, обмякал, лицо обескровливалось, как у покойника, такое широкое, большое лицо. Сказал все же:

— Все кишки порвали мне фрицы. Конец...

Тяжело ранило и комиссара. Одной пулей раздробило ключицу, другая засела в бедре, задев кость. Перевязывали комиссара сразу двое — Софа и санитар. Над ним развесили на кольях плащ-накидку, взятую у стрелков. Был при перевязке Лоблов — стоял, смотрел, молчал.

Комиссара перевязали. Лоблов отозвал Скорнякову в сторону и спросил:

— Как?

— Плох.

Лоблов загадочно сощурил глаза и растянул губы.

— Послушай, Скорнякова...

Выстрелы, крики.

Новая атака.

Покрывая все шумы громовым голосом, майор кричит:

— Миномет! По врагу огонь!

Софа поспешила к раненым.

За подкреплением

Атака отбита. Валяются убитые. Стонут изуродованные. Сеет дождь. Озерная волна прокатывается по камы-

шу, пригибая его и поднимая, и доходит до берега со стоном, точно плача по убитым.

Нетерпелив Лоблов, не может дождаться, когда Скорнякова наложит бинт на голову солдата. Говорит:

— Продолжим разговор.

По молчаливому сговору отходят за кусты — пусть бойцы не видят и не слышат.

— Что вы хотели?

— Отвезите комиссара.

— Куда и на чем?

— К своим. Есть лодка.

К своим! С лица Софы проходит усталость, широко раскрываются глаза. Неужели можно вырваться из этого пожара? Не от холода, от волнения дрожит ее голос:

— Ко-огда е-ехать?

— Сейчас же.

— Где лодка?

— Там, в камышах.

Лицо так стремительно поворачивается к камышам, и весь корпус девушки подается туда же.

Кричит раненый:

— Пить! Горит... Да есть у вас сердце!

Софа вжимает голову в плечи, вся фигура ее приземляется, уменьшается в росте, веки полуопускаются. Щеки сереют, в глазах уже усталость и скорбь. Спрашивает:

— А тут?

— Справимся.

Скрестился глаз с глазом, испытывают — у кого тверже взгляд. Она спокойно, как о решенном деле:

— Нельзя мне отсюда.

— Кому же больше знать, что санитарке можно делать, а чего нельзя? — вспылил Лоблов.

— Не пойду.

— Поедешь!

— Не-ет! Что хотите.

Рука ползет по кобуре... «Не заботится, лишь себя скомпрометируешь. Лучше уговором».

— Комиссару нужна срочная операция. Спаси его.

— Не спасти.

— Поезжай. Сейчас же поезжай!

— Товарищ майор, я уже сказала.

— Слушай же ты, чертова девка! Да я тебя... Под суд. В трибунал...

— Опомнитесь! — И опять спокойно. — Не стращайте.

Он молчит. Она добавляет:

— Страшнее, чем здесь, нигде не будет.

У него горячечная мысль: «Настою на своем».

Кошмарный переход озером, отвратительная высадка десанта прямо в воду, томительное, нескончаемое шлепанье по воде и стылая ночь. Убитые, покалеченные... У самого Лоблова сапоги в липкой глине, шинель в ржавых пятнах и свисает панцирем, влажные брюки шуршат, щеки и подбородок в щетине, рыжеватой, колючей... И дума, сверлящая мозг, истачивающая душу постепенно, как нождак крепкую сталь, дума о том — что он, Лоблов, и кто он? Впервые, пожалуй, в жизни задумался вот так — какова его роль и какова цель.

Вывод напрашивался сам собой — обыкновенный он человек, не герой. Самый заурядный человек. Завел людей... Скорее всего, не он завел, а самого его запутали обстоятельства, сбили с пути... И не может он, майор Лоблов, с этим ничего поделать. Да, не герой он — ни себя ему не спасти, ни других. Всякий бы на его месте сделал попытку разжать тиски, вырваться из ужасного положения. Что он делает, как командир, как влияет на события? Люди дерутся, как... На ум приходит сравнение со львами. Пусть не львы, а... Эх, на его месте любой боец вел бы себя не хуже. Да тот же мичман Кривцов попытался бы разорвать этот мешок. Как ловко вчера прогу-

лялся Кривцов на тот берег. Смело можно сказать — вышел сухим из воды...

Постепенно мысли Лоблова приняли несколько другое направление. Десант попал в трудные условия. Ну и что же из того? На войне такое часто случается. Больше того — неожиданность на войне является обычным делом. Да, он, Лоблов, не готовился к победе, но живым в руки не дастся. Весь отряд настроен на этот же тон. И разве нет здесь заслуги командира десанта? Лоблов никогда не хныкал, всегда был бодр и этим заражал бойцов. Лоблов не изменит своего поведения, а где бить врага — на этом ли пятачке или на обширном плацдарме, — это все едино. За каждого нашего бойца положить двух немцев!..

Такие мысли приободрили Лоблова. Первым итогом его размышлений было спасти девушку. Попадет к немцам — надругаются над ней. Нашел и предлог — доставить в госпиталь комиссара. Средства есть — лодка.

Вдруг непредвиденное препятствие — девушка заупрямилась. Отказалась повиноваться. Первый случай в его практике, когда военнослужащий не выполняет приказания. Правда, женщин как военнослужащих, как солдат он не принимал всерьез. Но сейчас много необычного. Сам он впервые в бою. И когда же приходилось ему иметь дело с девушками-бойцами? Где-то подсознательно рождалось приятное чувство. Софа не играет в благородство. Ее потребность — быть среди несчастных и хоть в малой мере скрашивать их участь. Вспомнил он жену, детей, и пришла мысль — как бы хорошо иметь вот такую «бабу» — твердую, заботливую и нежную.

Спасти ее, спасти. Что-то надо придумать...

Да, есть!

Очень взволнованно, чего с ним давно не было, майор начал:

— Мы погибнем. Все до одного. Слышишь, Скорякова, раздавят нас. Стрепунина нет. Удрал, стрикулист.

— Не таков Стрепунин, чтобы...

— Пусть не со злым умыслом, но нет ни его, ни его группы. Нам же нужна помощь. Ступай. Скажи...

— А раненые? — горячо возразила Софа.

— Раненые. Какой толк. Все равно всех... Понимаешь ли ты, всех перебьют. Спасение только оттуда, с озера.

Большая цель закрыла малую. Софа готова покориться судьбе. Она еще, правда, сомневается:

— Почему обязательно меня? Да любой боец...

— Бойцы здесь больше нужны, чем ты.

Софа смирилась:

— Я готова. — Закрыла лицо руками и отвернулась.

Надо умирать

Разрывной пулей Лоблову повредило кость голени. Будь сделана своевременная операция — и рана быстро бы зажила. А тут? Ногу ему перевязали, но она стала заметно полнеть и покрываться подозрительной синевой. Санитар настаивал:

— В укрытие вас, товарищ майор. В укрытие. Нельзя утруждать ногу.

— Много рассуждаете, коновалы. К окопу меня. Ну, живо! Пусть видят — командир при десанте. Что глаза таращите, поднимайте, поднимайте, пыжики. Или сил нет, котлет мало съели?

Фразы приправлялись смачными словами с упоминанием бога и черта — разве можно противиться такому натиску? Санитары, напрягаясь — тяжеленек майор, — положили Лоблова на носилки и перенесли к окопу на гребень вала. Вместо матраца под майора подложили охапки камыша и веток от ольхи и ракиты.

В окопе постоянно находился капитан Брусняга, характером ровный, серьезный всегда, даже слишком серьезный. Ему бы вести себя чуток попроще — поговорить с

ребятами на постороннюю тему, иногда вставить в разговор шуточку. Но и таким, каков был он, бойцам нравился. Они приняли его и не то чтобы полюбили — для этого у них было мало времени, — а уважали. С ним просто и не так страшно.

Другое дело майор Лоблов. Он бойцов возбуждал. Его еще только принесли к окопу, а десантники приободрились, вытянули головы из плеч, меньше стали прятать по карманам озябшие руки. Командир ранен и, кажется, довольно тяжело ранен, но пожелал быть рядом с ними. Каждому, сидящему в окопе, ныне захотелось проявить себя как-то по-особенному, если и не отличиться, то хотя бы устоять в ряду со всеми, не выбиться из строя.

Лоблову была видна щетина тростника — живая, волнующаяся. А там, за щетиной, вздымались волны лебединой стаей. Озеро было беспутно и страшно. Вода бесилась и рычала. И все же только оно, озеро, смогло бы спасти десант, будь у Лоблова три-четыре шлюпки. Не о том ли ему твердил Стрепунин? Прислушайся он тогда к его совету, и все могло бы обернуться по-другому. Отсутствие шлюпок Лоблов чувствовал теперь так остро, что не будь минометa, и тогда было бы меньше беды, чем теперь...

Но раздумывать и горевать некогда — началась новая немецкая атака. Лоблов забыл о невзгодах, он призывал:

— Клешники! Топорники! Зеленые! Колбаса идет. Пулей ее! Штыком поковыряйте. Посмотрите — чем нашпигована!

Не каждый боец и слышал майора, а возбуждение от его слов передавалось от одного к другому, и всякий переставал думать о себе, и любого легче было убить, чем одолеть в бою.

Почему же так получалось? Бойцы знали своего командира не больше суток, ничем особенным он себя не проявил, говорил им больше обидное, чем дружеское, а вот поди же — покорил сердца. Покорил, и все. А дело,

видно, вот в чем. Природа наградила Лоблова большой жизненной силой, а все живое радует людей, радует помимо их сознания и воли. Вдобавок к сказанному примешалась еще и эта бравада — ранен, но выставил себя напоказ.

Конечно же, немцы заметили человека, лежащего на возвышении, и стали поливать это место из миномета. Бойцы попытались подойти к майору с намерением перенести его в окоп, но тот крикнул:

— Прочь! Носы утрите! На винтовку капает.

Лица бойцов на самом деле были мокры от дождя, капало с пилоток, с фуражек, со щек. И носы свои бойцам вытирать было нечем — все сырое: рукава одежды, платки в карманах и барахлишко в вещевых мешках.

Майор лежал на боку, укрытый плащ-накидкой. Одна из вражеских мин грохнула рядом...

...Ему разорвало живот.

Бойцы кликнули санитара, здоровенного матроса. Тот, подойдя, откинул с майора плащ-накидку, полу шинели и оголил тело командира.

Рана оказалась ужасной.

Должно быть, майора мучили страшные боли, и, чтобы их заглушить, он щурил глаза и сжимал челюсти. И ни одного слова, ни одной жалобы.

Санитар к бойцам:

— Помогите, товарищи.

Майор на него грозно:

— Не трогать! Оставь...

Санитар и просительно, и требовательно:

— Да как же. Нельзя так. Заражение крови и... Я отвечаю, наконец.

— Здесь, только здесь.

Боль сводит губы майора, сплющивает нос.

— Но вы же... — протестует санитар и не договаривает.

— Умираю? Я знаю это. Здесь, как солдат.

Это выговорил громко и твердо. Силился засмеяться, но только ртом косил и едва слышно:

— Вместе со... Солдат... все... про... — сильно сморщился, потянулся и застыл.

Санитар закрыл рану командира десанта полой его же шинели, а лицо концом плащ-накидки. Бойцы подняли тело майора и понесли от окопа.

Как-то вдруг стало сиротливо. Сама природа будто чувствовала это — небо усерднее заплакало, громче зашуршал камыш, волна забилась назойливее о берег.

Один из стрелков сказал:

— Вот так и мы. Пойдем за командиром ногами вперед.

Боец сидел на хворосте, съежившись. Реплику его услышал Брусняга, подошел по окопу к бойцу и крикнул:

— Встать!

Злой голос, свирепый взгляд капитана и близкое его соседство взбудоражили бойца, и тот подскочил, как от тычка снизу.

— Кто ты? — не сдерживая себя, выдохнул капитан.

Боец зачастил:

— Солдат, солдат. Тимофеев. Товарищ...

— Солда-ат? Не похоже.

— Солдат, товарищ капитан.

— Тогда что же особенного, если и убьют? Солдату это положено.

Тимофеев взглянул на капитана удивленно. Залепетал:

— Я что же, я ничего. Как все. Только нам говорили...

— Что тебе говорили?

Солдат наивно ответил:

— Воевать на чужой земле. Побеждать...

— Ты видел, как умирал командир? Видел? Вот так надо побеждать. Своею кровью.

Сам Брусняга сомневался, надо ли так «побеждать», как это сделал майор. Разве не он завел десантников в котел? Сам умер хорошо, солдатом, но так ли уж необходима была его смерть, как и много других смертей, вот на этом месте — между озером и каналом?

Так он думал, а бойцу говорил совсем недвусмысленно:

— Мы не погибаем, а воюем. Пусть каждый солдат убьет одного фашиста, и войне конец. И умирать надо, слышите все — надо!

— Если надо, товарищ капитан, да что же я. Не хуже другого...

Буду учителем

Был жив командир десанта, лежал у всех на виду, и на душе светлело. Унесли командира, и душу заполнила холодная, сырая непогода, как заполнила эта непогода весь Ореховый берег.

— Хоть бы рассказал ты нам, Тимоня, как женился, — просит матрос, а глаза невесело, но смеются, плутовские цыганьи глаза.

Женщин Тимоня не знал, товарищам в этом не признавался — стыдно. В школе водолазов другие матросы хвастались своими победами. Тимоня краснел, если разговор заходил о женщинах в таком роде. Однажды его все же заставили высказаться — расскажи да расскажи, какая она была, твоя первая ночь? Что же, рассказал. Запинаясь, скупо и в душе проклиная себя:

— Ну чего особенного. С Марусей... Этой самой, как ее, Букаевой. Ну, поцеловал... Обмякла...

Водолазы не верили, добирались до деталей — в какое время года это было, какой час ночи, где?

Тимоня отмалчивался, весь рдея.

И теперь водолазы обидно смеялись. Тимоня лишь огрызнулся:

— Не приставай, Хохлов.

Хохлов был первым спорщиком в группе. Начал с другого конца, лишь бы не молчать самому и расшевелить товарищей:

— Будут еще атаки?

Кто-то ему:

— И не одна. Считать устанешь.

— Не могут нас немцы сломать. Рядом фронт, а наступают с одного боку. Почему? — Он отвинтил горлышко фляги и опрокинул ее над своим ртом, чмокая тонкими губами. — Вше. Пушта. — Фляга отзывалась гулко дождевым каплям. — А у тебя, Тимоня?

— Не дам.

— Один глоток.

— Пятый будет.

— Не скупись, сочтемся. — У него выходило — «не шкупись, шошитемся». — Кончится война — приглашу в ресторан и напою шимпанским. Обязательно напою. Посмотрю — какой ты пьяный... А потом уж и с девчонкой познакомлю. Мужчин мало будет, подходи к любой девушке — примет с радостью, да еще и водкой угостит. Эх, товарищи! Оставил и я свою Марусю. Бывало, как обнимешь — груди крепкие, что твои антоновские яблоки... У-у, теперь бы... Эх, дай, Тимоня, хлебнуть.

— На, допивай, — сказал просто Тимоня и протянул Хохлову флягу.

Тот присосался к ней, как ребенок к соске.

— У-ух, злая, стерва, — сказал он, возвращая Тимоне флягу. — Угощу тебя шимпанским. Простой ты человек, Тимоня, не жадный. — И без перехода: — Почему же так дохло наступает немец?

Отозвался не водолаз — пограничник:

— Не придают нам значения. Подумаешь — горстка людей сидит. Так, веник развязанный. Повыдергают по одному.

Хохлов совсем не считал первую атаку дохлой, но скоро притерпелся и стал смотреть на немцев с высокомерием. Ответил пограничнику:

— Глупо думаешь. Повыдергают. Нет у них большого войска, вот и тянут кота за хвост.

Спорить не хотелось, да и все тут опротивело. Хохлов лишь не мог утерпеть, опять стал приставать к податливому Тимоне:

— На кого ты хошь в вышше школе?

Спрашивал уверенно. Как же, Тимоне все предоставлено, остановка за малым — выбрать профессию. Тимоня был того же мнения.

— Пойду в Герценовский. На учителя.

— Хм... Ушитель. Нашел шпециальность. Шиговать малышей литературой.

Мокрой рукой Тимоня трет мокрое лицо, перебирает плечами и оживленно, пожалуй, даже слишком оживленно для такой погоды и обстановки говорит:

— По литературе пойду, Хохлов, по литературе. Знаешь ли ты, как она меня затянула!

— Шпиговать малышей. Вон у нас была...

— Нет, Хохлов, ты вслушайся:

Звучит, как колокол, на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Так и слышится: «Бом, бом!»

— Это я слышу: «Бум, бум». — Только и у нас вон была учительша.

— Нет, Хохлов, вот еще: «У Ивана Ивановича голова была похожа на редьку хвостом вверх, а Ивана Никифоровича на редьку хвостом вниз».— Как? Не чувствуешь всей этой, этой, как бы тебе сказать, этой живой...

— Ну, чувствую, чувствую. Только и у нас была в семилетке Клавдия Степановна. Встанет в пять утра, понабашит у единоличной коровы, вышлет гусенят на ши-

рокий простор, потом поросят, курят, а потом уж к нам — язык высунет, болтается, как у твоего колокола на башне вечевой. Шленанцы на босу ногу, икры толстые, навоз к ним прилип.

— Выпил ты, Хохлов, и развезло тебя, потому и фантазируешь.

— Я — фантажирую? Зимой однажда кабана кормила. Как была в засаленной овчине, так и ввалилась к нам. Ш-шикарно!

Тимоня мечтательно:

— О, у нас не такие. Вон Михаил Федорыч. Читал про Четкура Полосатого. Весь класс хохотал до слез.

— И наш один шпандорил, — не унимался Хохлов. — Штепан Герасимыч. Шторию нам давал. Вот уш дештвительно говорил, как пешню пел. Начнет, так начнет: «Как ныне собирает свои вещи Олег». — Мы только рты разевали, ну прямо скворцы голодные. А кончил чем? Отшил жену у своего же ученика...

Долго еще Хохлов поносил своих наставников, пока ему не надоело. Нашел новую тему. Она всколыхнула бойцов. Спросил:

— А пришлют ли нам, товарищи, помощь?

Сразу откликнулись:

— Откуда ждать — с озера или с неба?

— Сваримся в этом котле.

— Э-эхма.

Хохлов тронул общую рану, взял да посыпал на нее соли.

— Другая наша группа — где она? — Желчно бросает фразу, оглушая всех: — Нас предали.

На Хохлова смотрят со страхом. Тот высказывается до конца:

— А куда делись? Утонули в канале? Их столько же, сколько и нас. Сами видели — шлюпки... И еще пикажу...

— Приготовиться!

Это уж голос Брусняги.

Ползли немцы.

Десантники жалели патроны, ждали — бить наверняка, с близкого расстояния.

Немцы приближались короткими перебежками. Они научили десантников выдержке, а сами научились маскировке.

Тимоня находился под впечатлением разговора с Хохловым. «Буду учителем». Неколебимая вера слышалась в словах.

Бежит один немец, другой. Ствол винтовки Тимони протянулся через горку земли, не дрожит. Живая мишень пока далеко, мушка едва умещается на ней. Устоялась. Озябший палец слегка надавливает на спусковой крючок. Стреляй! Поздно. Немец падает сам по себе.

«Стольких людей отсюда унесли. А вот меня... Что меня? Пуля слегка царапнула. Почему бы не быть такому весь день, завтра, всю войну? Он, Тимоня, будет жить, будет...»

Следил за немцем, в которого не успел выстрелить. Опять бежит чужой тот солдат в плаще и каске. На каске хорошо видны рожки. Мушка чуть вздрагивает на груди бегущего. Палец слишком резко делает рывок. Толчок в плечо. Немец театрально поднял руки, откинулся назад и картинно упал. Такие красивые падения убитых Тимоня не раз видел в кино. В воображении первая жертва. Тот, белокурый. Когда это было? Год? Месяц тому назад? Утром? Немец встает, бежит на Тимоню, падает, опять встает... Без конца убивает его Тимоня.

Наступающих немного. Но и в окопе не густо.

Голос Брусняги:

— В штыки, приготовиться!

Напрягается Тимонино тело к прыжку. Выскочил Тимоня на бруствер, винтовку наперевес, штык тянется к груди фашиста. Перед глазами черная, такая безобидная

дырка автомата, неторопливо поворачивается в его сторону. Скорее штыком его, предупреди выстрел, продырявь, приколи к земле! У дырки дымок, совсем легкий, невинный. Тело пронзает остриями...

— О-ой!

Красный крест на белом небе заслоняет собою мир. «Санитарка», — догадывается Тимоня.

— Я умираю, — говорит он. — Сонюшка, милая, ты здесь, ты... Как хорошо...

Над ухом грубый, мужской голос:

— Не умрешь, матрос. Вылечим. А Сони пету. Уехала за помощью.

Перед взором лицо матери — нежное, милое, а на устах слова:

— Сонюшка, буду учителем. Буду учите...

Умер Тимоня.

Если останусь жив

Пуля пробила капитану Брусняге грудь. Входное отверстие было едва заметным, зато при выходе пуля вырвала из шинели значительный клок. Умер капитан легко, без мук.

Командование правым, или западным, флангом принял мичман Кривцов, как старший тут по званию. Известность к мичману пришла еще прошлой ночью, когда он сплавал к немцам и возвратился от них, как с того света. Бойцы подчинились ему: как-никак свой герой.

Младший лейтенант Кудряшков весь день просидел на восточном фланге в бездействии, немцы его не тревожили, только бойцы от него убывали — перекочевывали направо. Он сейчас тут единственным командиром остался, поэтому по праву стал главой десанта. Младший лейтенант спасет остатки первого эшелона. Спасет. Для этого он родился и жил.

Кудряшков развил бурную деятельность — обошел позицию, сосчитал бойцов. У мичмана Кривцова их было тридцать один, включая минометчиков, радиста и двух санитаров. Всего же на обоих флангах осталось сорок семь человек. Бои вырвали из группы добрую половину.

Патронов было пока достаточно. Имелись трофейные автоматы. И гранат не меньше шести десятков. С минометом дело было хуже.

— Один лоток, — уныло доложил Кудряшкову сержант.

Вчера у осиновецкого пирса сержант выглядел браво. Прошли сутки, и человека перевернуло. Сделает три выстрела, и от миномета столько же будет пользы, сколько вон от той бочки, выброшенной озером на берег. Сержант знал — все бойцы чувствуют себя смелее, когда слышат над головой шелест мин, летящих в сторону врага. Их осталось всего три, три мины. Этот беспощадный факт и угнетал сержанта, пригибал к земле.

С пулеметами тоже неполадки. Один поврежден, другой без боезапаса. Младший лейтенант приказывает:

— Набить патронами диски!

Где взять патроны? Да у бойцов с левого фланга, пусть поделятся. Собрать с убитых. Использовать каждый патрон.

Всех Кудряшков ободрил надеждой — за ночь придет подмога. Для того и послана санитарка Скорнякова к своим, через линию фронта. Не оставят десант в беде.

Да и радиостанция вот-вот заработает. Задействовала бы давно, кабы погода была посуше. Радист смышленый, своего добьется.

Всех волновал вопрос: куда делась группа лейтенанта Стрепунина? Вновь посланные связные не вернулись. Кудряшкова спрашивали:

— Пусть Стрепунин предатель. А другие товарищи? Не могли же все.

Младший лейтенант отвечал с нескрываемым раздражением, вкладывая в слова ненависть и презрение:

— Люди верят своему командиру, и их обмануть не трудно. Трибунал и позор ожидают этого негодяя.

Слух, пущенный о Стрепунине как о предателе, разрастался, цеплял на себя «подробности», приобретал ощутимую реальность. Этому способствовали обстановка и желание группы найти причину ее невзгод.

Особенно подробно говорил о Стрепунине Кудряшков с водолазами. Стрепунин моряк, и они моряки, следовательно, несут за него моральную ответственность. Целый день сидят матросы в ослизлой и грязной канаве, пропахли порохом и гарью, отсырели до самых селезенок, устали невероятно, и нет просвета ни на горизонте, ни у них в душе.

Водолазы любезно поднесли новому командиру спасательный круг «Муромец». Мичман Кривцов сказал, торжественно, как каравай хлеба, подавая круг младшему лейтенанту:

— Вот, как особый знак от моряков. Капитан на нем сидел, а теперь вы.

— И так же прихлопнут меня, как прихлопнули капитана, — мрачно пошутил Кудряшков, принимая круг.

— Как знать? Круг все же спасательный. Может быть, пригодится.

— Будем надеяться — спасет, — не меняя мрачного тона, ответил новый командир. Его занимал Стрепунин, и он страстно сказал:

— Клянусь вам, если останусь жив — разыщу предателя. Добьюсь для него кары.

В ночь перед высадкой Стрепунин приходил к водолазам, говорил с ними. На словах такой идейный, и вот возьми же — предатель. Да никакая кара для него не будет слишком суровой. Смерть предателю!

Младший лейтенант оставил Кривцова командовать группой правого фланга. Сам находился тут же, у правого окопа, и думал: «Как спасти группу? Да, как?» Этого младший лейтенант пока не знал. Оставалась надежда, хотя и она с каждым часом становилась расплывчатей, бледней.

Вскоре обстановка изменилась резко. И не в пользу десантников. Из Шлиссельбурга к их позиции немцы перегнали лодки. Подошел Шперлинг со своими молодчиками. С левого фланга немецкий фронт послал на десантников свою роту, придав ей легкую полевую гаубицу стопятимиллиметрового калибра.

Атаку немцы начали перед сумерками. Справа и слева наступали по суше, со стороны канала — на лодках, с тыла, по озеру, — вброд, через камыши. Надвигались со всех четырех сторон...

Вестница

Две задачи обязана выполнить Софа Скорнякова — доставить в госпиталь раненого комиссара Моргуна и донести до штаба флотилии весть про бедственное положение десанта. Пусть флотилия пошлет помощь, немедленную.

В другое время обе задачи могли бы быть выполнены за полтора-два часа. Пройти по озеру на лодке несколько километров — разве это труд? Особенно для такой ловкой и физически закаленной девушки, как Софа Скорнякова.

Дождь закрывал собой озеро, и камыш и берег терялись в ливневой завесе. Это хорошо. Софа будет укрыта от немецкого глаза. Камыш особенно надежный щит, еще лучше укроет, чем дождь. Да, щит. Только не тяжел ли он для девушки? Будет препятствовать движению лодки — прорвись-ка сквозь него. А тут еще такая непогода. За камышом по-звериному рычит озеро. Шумит разгульный камыш, то пригибаясь до самой воды, то вставая вы-

сокой плотной стеной. Волна идет косая, в сторону фронта. Будет помогать Софе, иначе она едва ли управилась бы с лодкой.

Лодка тесовая, просмолена хорошо. На ней всего одно сиденье — для гребца. Весел нет, лежит в ней шест — горбатый, с сучками. Софа качает головой, глядя на посудинку, в которой ей придется плыть по разгулявшемуся, буйному озеру. Как натура деятельная, Софа сразу же нашла работу, пока санитары несли к лодке комиссара. Она достала из кожаного футляра, висевшего на поясе, узкий нож, сделанный из скальпеля, и нарезала им камыша — хороша постель в лодку. На эту постель и положили комиссара.

Один из санитаров сказал, отойдя от лодки:

— Зачем мучить человека. Ему осталось...

— Не твое дело, — перебил его другой. — Помоги лучше эту душегубку столкнуть.

Пропуршала лодка по гальке, обдирая себе бока. Она никак не хотела держать нос в озеро, все время поворачивала борт волне и прижималась лагом к берегу.

Софа вошла в лодку, объявив войну волне.

Дно озера твердое, в него удобно упираться — шест не проваливается и хорошо отделяется от грунта. Лодка вертлява и капризна, не желает слушаться, все время к берегу воротит нос. И этот неподатливый камыш — любому движению лодки сопротивляется, стеной стоит.

Больной стонал, но не очень назойливо, сдерживал, видно, себя, только жаловался:

— Зябну. Накрой меня. Потеплее накрой.

Струйки дождя и брызги от волн непрерывно падали на раненого и стекали на дно лодки. При крутом крене лодки Моргуна тревожило, сдвигало с места. Раненый рычал. Тогда девушка успокаивала его — проводила ру-

кой по голове, поправляла на нем накидку, хотя потом ей стоило больших усилий, чтобы выровнять сбившуюся с курса лодку.

Прошло больше часа, а лодка едва ли продвинулась вперед метров на триста.

Холода Софа не чувствовала, скорее, было жарко, лицо взмокло не только от дождя — от пота. Вода в озере не глубока, шест едва ли погружался бы больше полметра, кабы его не захлестывала волна. Первое время борьба с волной отнимала у девушки все силы, и мысль работала в одном направлении — как удобнее упереться шестом в дно и выгоднее поставить нос лодки. Иногда камыш плотно обступал и сжимал утлое суденышко, не пуская его вперед. У Софы хватало и сил, и терпения снова и снова упираться шестом в дно озера и хотя бы на длину камышины проталкивать лодку вперед. Правда, лодка теперь меньше вертелась и послушнее была шесту.

Спереди, позади и справа шла война — стреляли, что-то рвалось. Нет-нет да и прорежет сознание мысль — она, Софа, уходит от боя, оставляет людей в беде. Лодка в такие моменты, словно подслушав внутренний голос девушки, резко воротила нос к берегу.

Пришла новая мысль и ввергла девушку в отчаяние — лодка не плывет, а с трудом, нудно протискивается сквозь озерные крепи. Так и к утру не добраться до своих. Надо спасти комиссара, пока это можно сделать, стоит лишь оперировать рану и влить в организм свежей крови. А помощь тем, кто остался... Их же всех... Всех! Ах, какая же она слабая! Мужчина вышел бы из положения. Конечно, вышел бы.

Мысли эти рождали у Софы не слезы и отчаяние, а большое терпение и упорство. Размеренно работала она шестом — рывок, опять рывок... Наконец приняла суровое решение — потянет лодку за собой.

Скорнякова храбро вошла в воду. Первая же волна захлестнула ее по грудь. Совсем и не холодно...

Раньше груз в лодке уравновешивался: на носу — комиссар, на корме — девушка. Сейчас нос осел, а корма поднялась. Тащить лодку трудно. Девушка повернула ее и потянула кормой вперед. Суденышко пошло легче.

Раненый молчал, должно быть уснул. Сон придаст ему сил и поможет добраться до госпиталя.

Волна часто захлестывала борт и прибавляла в лодку воды. Отливать нечем, да и времени нет.

Начали застывать, совсем окоченевать ноги Софины. Холод охватывал, сковывал все тело. Лодка становилась все грузнее, тяжелее.

Сумерки быстро перешли в темную ночь. Война успокоилась — не слышно ни стрельбы, ни взрывов. Ракеты зарницами отблескивались иногда в дождевой сетке.

Руки, еще пуще ноги девушки становились деревянными. Механически, без раздумий брела она вперед, таща за собою лодку. Лодка полна воды, как же больной может спать? Софа остановилась, передохнула, отбросила накидку с головы комиссара и дотронулась до его лба — лоб холодный, неприятный, словно рука ее коснулась мокрого камня.

Вой ветра, взревы волны, шум камыша... Жутко. Во всей вселенной она одна — одна живая, а рядом мертвец.

Она задрожала всем телом. Это уж был внутренний озноб — не только от холода, но и от страха. Первая мысль — оставить лодку и бежать, бежать... Нет сил бежать — комиссар застонет, закричит, будет звать ее...

Пошла, не видя куда, не выпуская из рук буртика лодки.

Камыш расступился. Открылась чистая полоса воды. Совсем легко тянуть лодку... Что это? Неужели озеро? Она так далеко ушла от берега?

Открытого озера Софа испугалась еще больше, кажется, чем мертвеца.

Здесь же неглубоко. Значит, берег, берег...

Вошла в лодку. Вот и шест. Уперлась им в озерное дно.

— Достаю, достаю, — повторяла Софа заплетающимся языком. До этого она доставала дно ногами, шла по нему, но забыла об этом.

Лодка, подгоняемая волной, шла легко и торопливо, но вскоре опять уткнулась в камыш и остановилась. Сил у девушки уже не было, чтобы лодку подталкивать.

Софа дико закричала и обессиленная свалилась на труп...

...Со времени высадки десанта прошло более полутора суток, а от него, как и прежде, никаких вестей. Штаб флотилии успел перебазироваться в Новую Ладогу. У командующего собралось руководство флотилии — начальник штаба Валенков, комиссар Ромашкин, начальник оперотделения Теунов и бывший командир отряда Коваль. Вопрос один — что стало с десантом и, если он жив и в беде, как помочь ему? Днем просили у штаба флота разведывательные самолеты — отказал. Не хватает самолетов для защиты непосредственно Ленинграда. Послали на разведку катер «КМ» — не вернулся. Крепость донесла — потоплен. Сформировать бы новый десант, третий, который смог бы оказать помощь высадившимся, если им еще требуется какая-то помощь. Никакого нового десанта флотилия сформировать не в силах. С плавсредствами обернулись бы, может быть, и оружие дал бы флот или фронт, но людей нет. И с этим ничего поделать нельзя. Так, в томительном бессилии велись разговоры. Их не прекращали, думая найти какой-то выход из создавшегося положения, но выхода не находили.

По ранее намеченному плану этой ночью десант должен выходить на свою территорию. Еще раз предупреждены наши части, обороняющие берег Ладожского озера: «Будет выходить десант, помогите». Только-то и всего.

Было уже за полночь, когда поступило донесение: «В районе деревни Липки подобрана лодка, и в ней труп комиссара десанта и девушка-санитарка...».

Не ясно было — жива девушка или нет? Откуда взялась лодка? Где остальные десантники? Много было и других вопросов, на которые сообщение ответа не давало. Все же мелькнул проблеск света и всколыхнул штаб флотилии.

Новый план Стрепушина

Группа Стрепушина продолжала отсиживаться посреди болота. Строители спали, укрывшись от дождя еловыми ветками, караульный взвод и пограничники коротали день как попало.

Пряслов умер. Нашли по соседству другой бугорок, вырыли на нем могилу, положили в нее бойца и засыпали землей. Еще одного не стало.

А группа живет.

Вернулся из разведки Погорелый. Один — печальный, растерянный, смущенный. Весь в грязи, и сухой нитки на нем нет. Случилась беда — это Стрепушин понял сразу. И нетерпеливо:

— Кашица там?

Погорелый головой мотнул да так и оставил ее склоненной.

— Убит?

Тот еще ниже наклонился.

Слова не вытянешь из этого лесовика.

Скупо рассказал. Переправились через Старый канал вброд. Подошли по перелеску к Новому каналу. А там немцы. Полно их. Стреляют. В кого? Не видно.

— Сам слышу, что стреляют. — Не может раздражения Стрепунин сдержать. — Сам слышу. С кем дерутся — вот что. За этим и...

— Я что же, понимаю. Понимаю-от. Да не видна, не видна. Наши. Кому там? Окромя некому.

Погорелый не говорил — надо помочь. Но в горячем взгляде, энергичных жестах Стрепунин читал тайные мысли разведчика: надо идти на выручку.

Командир и боец не понимали друг друга в главном, жили как бы каждый в своем кругу. Погорелый, потрясенный смертью товарища, готов был спешить к каналу, скорее туда, схватиться с немцами. Стрепунин видел бессмысленность похода за каналы, где группа будет моментально уничтожена, может быть даже не дойдя до переправы. И теперь группа полуоткрылась немцам, потеряла свою безопасность. Фашисты обнаружили разведчиков, гнались за ними по пятам. Кашицу свалила пуля. Погорелый увернулся. Не оставил ли он за собою хвост и не притащил ли на нем гитлеровцев? Лейтенант совсем теряет выдержку, спрашивает:

— Прямо сюда и бежал?

— Не-ет. Как вы и сказали — сперва туда-ти. — Вялый жест к линии фронта. — Я все понимаю.

Враг силен и беспощаден. Сломать его, задавить! Для этой цели стоит заглушить все прихоти, вырвать из себя все эгоистические желания, подчинить свои поступки железной логике. Выполнить приказ командующего флотилией во что бы то ни стало. Надо нанести врагу второй удар в самом неожиданном, самом чувствительном для него месте. Пусть знает об этом Погорелый, пусть знают все.

— У нас другая дорога.

Боец все стоит, чего-то ждет. Который-то раз Стрепунин повторяет:

— Не поведу вас в мышеловку.

— Да я что же, — винится Погорелый. — Убили Кашпу. Муторно.

Муторно и Стрепунину, но он верен себе — будет вторая ночь, его ночь. Какой объект изберет он для нового нападения: аэродром или Поселок номер два? Поселок совсем рядом. До аэродрома дальше, хотя и здесь расстояние невелико, кабы не близость фронта. У немцев, видно, большую службу несет эта площадка. Пошевелить недурно их здесь, вывести бы из строя два-три самолета, поджечь горючее. Игра стоит свеч! Аэродром, конечно, охраняют. Так что же из того? Не полк же там стоит. В прошлую ночь группе светила счастливая звезда, может быть, счастливое созвездие — Старикова Тросточка. Сейчас дождь, небо в тучах, звезд не видно. Да, не видно их. Однако на небе-то они есть!

Ударим по аэродрому!

Откуда нападать? Идти ли знакомой дорогой на юг, но свернуть не вправо, как прошлую ночь, а влево, к линии фронта. Или подойти к аэродрому с другой, фронтовой стороны? Этим же лесом, где сидит сейчас группа, промаршировать на восток, повернуть на юг и навалиться оттуда. Со стороны фронта немцы, пожалуй, меньше всего ожидают подвоха.

Подозрительный шум. Что это? Не пришли ли фашисты? Бежит боец, весь запыхавшийся, и торопливо, торопливо:

—То-оварищ... Скорей, скорей...

— Что?

— Драка.

— Кто дерется?

— Там...

Дрались два солдата, оба с черными петлицами на воротниках. Пыхтели, молотили друг друга кулаками по голове, лицу, груди. Больше молотил один. Он без головного убора, лицо свирепое, белокурые волосы спутаны;

кажется, не так и силен, сколько зол и напорист — разбил недругу лицо, в крови щеки и подбородок.

— Что это значит? — не давая воли голосу, спросил Стрепунин.

Бойцы, ранее пассивно наблюдавшие драку, надвинулись на забияк плотной массой и растащили их. Белокурый задира не унимался, шипел:

— Шкура. Придушу гада.

Сам дрожал, извивался, желая вырваться из стиснувших его тел и рук.

Затеяли, прохвосты, шум. Да этим они могут выдать немцам всю группу. Сдерживая ярость, Стрепунин к белокурому:

— Фамилия?

— Застрелю. Сволочь. Грязная свинья, — не унимался тот.

— Как фамилия?

Один из бойцов пояснил:

— Шиморский он.

— За что он того?

— Правдина-то? А обозвал его, Шиморского. А тот ему по физике. Да еще, да еще.

— Как обозвал?

— Дело давнее. Отца Шиморского раскулачили, а Правдин возьми да скажи: «Вот ты, Шиморский, воюешь, а в душе небось скребет». А тот отвечает: «Почему в душе у меня должно скрести, почему?» «Да как же, — говорит Правдин, — Советская власть семью твою, а стало быть, и тебя наказала. Злобу, надо быть, затаил. При первом случае...» — Шиморский осерчал. — «А что, — говорит, — я сделаю при первом случае, ну?» Тут Правдин и брякнул: «Туда можешь податься, в случае чего». Тут Шиморский и вытянул кулаки.

Правдин окрасил оба рукава стеганки, вытирая лицо,

но кровь продолжала течь по виску, скулам и губам. Стрепунин к нему:

— Правдин твоя фамилия?

— Правдин, товарищ лейтенант, — отозвался избитый.

— Ты упрекал Шиморского за его отца?

— Да разя я зря говорил?

— Фамилия у тебя хорошая — Правдин, а сам ты неумный.

Слово «неумный» Правдина страшно обидело. Он бы скорее стерпел «дурака» или даже «идиота», чем такое, почти мягкое — «неумный».

— Вы, вы меня не оскорбляйте, товарищ лейтенант. Я ему слово, а он кулаком в морду. Сразу видно — замашки отца. Так и есть — кулак. Враг народа. Как мы к нему должны относиться? Как? А вы меня обзываете.

— Ступай умойся.

— А-а, защищаете.

У бойцов двойственное настроение. Они сочувствуют Шиморскому и одновременно сомневаются в нем, как в сыне бывшего кулака.

Стрепунин понимал — вдаваться в дискуссию сейчас вряд ли следует, но и оставить вопрос невыясненным нельзя. Десантники все равно будут его обсуждать и решат по-своему.

Правдин продолжал:

— Защищаете сына кулака.

Стрепунин ему тихо и выразительно:

— Ну... Что я приказал!

Боец уже забыл, что приказывал ему командир, а потому смотрел на лейтенанта растерянно.

— Что я приказал? Идите и умойтесь. Живо.

— Есть, есть, — затараторил Правдин, делая под козырек.

— Подождите и слушайте. — Раздельно Стрепунин сказал: — Врагов народа в Красную Армию не берут.

Зарубите, Правдин, покрепче это себе на носу или еще где там. Товарищ Шиморский, где вы работали до призыва?

— В колхозе, — промямлил тот, все еще окруженный бойцами.

— Сколько лет?

— Четыре года.

— Вот видите, товарищи, работал. В колхозе. Кто еще имеет что-нибудь против него? Нет. Так вот, Правдин, идите, умойтесь и будьте довольны, что с вами не поступили хуже.

Правдин пошел к болоту умываться, группа бойцов стала редеть, все хотели скорей укрыться в хвое от дождя.

Сектант

Залез Стрепунин под сосну, задумался. Мечта взлетела высоко — стало видно и батарею, разгромленную вчера, и аэродром. Вчера — батарея, сегодня — аэродром. Точность расчета, внезапность, смелость — вот богатыри, все сокрушат. Пусть точного расчета нет, но все другое налицо.

Дерзай, Стрепунин!

...Вторично военный совет. Члены те же — мичман Хомутов, рядовые Раудмяги и Мормышкин. Говорит больше Стрепунин, а те поддакивают, вставляют реплики или молчат. Хомутов в своем обычном облике — насупившийся. Что-то продолжает тяготить его. Что там стоит за его душой? Раудмяги предан Стрепунину и готов с ним куда угодно. Мормышкин не знает, как избавиться от льющейся через край энергии. Завоевал трофей — автомат, гладит его, смотрит, сощурив глаз, в его дырку, забавляется, словно подросток, которому отец впервые подарил пугач. Для Мормышкина не важно — куда? Важно — когда?

План нападения на аэродром, может быть, не столько строен, сколько дерзок.

— По этому болоту, все по болоту вдоль шоссе. На пути две проселочные дороги. Пересечем их, свернем на юг, возьмем чуть вправо, подадимся назад и... и громом с ясного неба... С трех сторон. Отходить на торфяник, а уж оттуда — домой. Прорвемся через линию фронта.

Хомутов охлаждает пыл командира:

— Всех взбудоражим, а потом через линию. Как легко это.

Стрепунин ему:

— Что предлагаете?

— И без того всех подняли на ноги. На батарее. И первый эшелон дерется.

Дерется первый эшелон. Об этом Хомутов сказал так твердо, что со стороны можно думать — только-что оттуда.

— Так что же?

— На ближний поселок предлагаю, и домой.

— Каким курсом домой?

— Старым. Через озеро. На шлюпке.

— Да разве на ней всем нам разместиться?

— Как-нибудь.

— Как выходить — потом видно будет, — примирительно сказал Стрепунин. — Можно и на шлюпке.

Мягче стал и мичман:

— Через фронт, так через фронт. — И вырвалось: — Лишь бы скорее в Новую Ладогу.

Вот оно что — скорее в тихую гавань. Новую Ладогу!

Стрепунин категорически:

— На аэродром. В ноль-ноль. Там будем в два. До рассвета пересечем фронт. Моим первым заместителем — вы, мичман. Вторым...

За сосной тяжелые шаги и голос:

— Товарищ лейтенант. У нас...

— Опять что-нибудь.

— Сектант объявился. Не стрелял.

— Еще не легче. А откуда вы знаете — стрелял, не стрелял?

— Зна-аем. Заметочки были. А сейчас поглядели в ствол — чистый. Ну и патроны. Все целые. И это самое, и вообще...

— Опять строитель?

— Наш. Одна паршивая овца заберется в стадо...

Раудмяги виновато смотрит на лейтенанта. В группе второе ЧП. Незадачливый он, командир строительной группы.

Плохой Раудмяги начальник.

— Вторым моим заместителем будет, будет Раудмяги. — И пришедшему: — Пошлите сюда вашего сектанта.

О сектантах Стрепухин кое-что читал у Мельникова-Печерского, о духоборах, трясунах многое слышал, но дел с ними никогда не имел. Вдруг тут, в самое неподходящее время. Вот не было печали.

Подошел боец. Солдат как солдат — стеганка, подсумок, кирзовые сапоги. На поясе бомбы. Вид очень боевой, и ничего, кажется, особенного. Нет, всмотрись-ка, есть особенное. Лицо аскетическое, замкнутое, не лицо — маска. Глаза серые, холодноватые, но умные, думающие, обращенные внутрь себя. Остановился у сосны, чуть вытянулся — жизнь солдата поставила все же на нем отметину. Сказал:

— Товарищ лейтенант, вы меня звали?

Стрепухин вышел из-за укрытия на дождь, встал по стойке «смирно» и так строго:

— Как обращаетесь. Доложите по уставу.

Тот резко выпрямился, руку к виску и четко:

— Солдат Инокентьев. По вашему вызову...

— Ну вот, это по-солдатски. — Показал под сосну. — Туда. Садитесь.

Инокентьев присел на корточки, оставив спину под дождем. Под плащ-накидку, на свое место, уселся Стрепунин. Стал спрашивать, а Инокентьев отвечать.

— Стреляли?

— Нет, не стрелял.

— Не в кого было?

— Не могу.

— Не умеете, значит. Не обучили вас. Так я понял?

— Учили. Только...

— Что же?

— Убивать людей не могу.

— В какой секте состоите?

— Баптист я.

Голос у Инокентьева бесстрастный, сухой. Видно — не трус и не лжец, не изворачивается, убежден в правоте своего дела. Готов пострадать за веру, и, может быть, с охотой.

Мормышкин пойдет в пекло не задумываясь. Шиморский отстаивает кулаками право быть гражданином своей Родины. И вот Инокентьев. А ведь все они члены одной семьи. Жили на одной земле, учились по одним учебникам, а тянутся в разные стороны.

Очень хорошо Стрепунин понимал — религия не Гордиев узел, не разрубишь одним ударом меча. На примере своего родного поселка он знал, как труден этот вопрос. Была церковь — сгорела. Был поп — умер. Казалось бы — религии в поселке конец. Как бы не так. Попом стал Пелюков. Заводской рабочий. Бывший сосед Стрепунина по формовке. И старше его всего лишь лет на пять. Как-то приехал Стрепунин домой, встретил Пелюкова, поздоровался, как с бывшим товарищем. Тот был в пиджаке, с жидкими русыми волосами, совсем короткими, не прикрывавшими даже хрящеватых ушей. По виду как был рабочий, так им и остался, нисколько и не походил на обычного попа — в рясе и с длинными волосами, — а прихо-

жан, как видно, удовлетворял, служил в своем же доме обедню, крестил детей, отпевал покойников.

Стрепунин спросил его тогда:

— Просвещаешь односельчан?

Тот с некоторым конфузом:

— По силе возможности.

Перед самой войной Пелюков умер. Как старухи ни старались, не смогли найти мужчины, из которого можно было сделать попа. Вышли из положения. Церковные обряды стала отправлять жена Пелюкова, бывшая поселковая девушка Ксюша, а теперь матушка Ксения Трофимовна. По закону православной церкви женщине вход в алтарь запрещен. Пренебрегли молящиеся этим законом. И выходит — нет церкви, нет попа-мужчины, а религия осталась.

Сектанты самые фанатичные верующие. С их верой труднее бороться, чем там, в поселке. Втянуть бы баптиста в спор. Стрепунин спрашивает:

— Скажите, кто вам запрещает избавиться от разбойника?

— Запрещает заповедь — не убий. Все для жизни создано.

Последнюю фразу Иннокентьев произнес живо, даже с волнением, в голосе слышалась если и не страсть, то энергия.

— Хорошо. Все создано для жизни. Но если жизнь нашу хотят отнять, разве мы не обязаны отстаивать ее. Чтобы жить.

Всунулся Мормышкин:

— Отсидеться хочет. Трус.

Иннокентьев не удостоил его даже взглядом.

— Еще хочу спросить, — сказал Стрепунин. — По вашему учению — все создал бог. Так?

— Так.

— Зверей и насекомых.

Не стал Инокентьев подтверждать этой очевидной для него истины.

— Почему же тогда все защищаются от врагов? Труженица пчела и та убивает обидчика, если это ей под силу. Сама умирает, а жалит врага. Почему?

— В творении много всяких тайн. Люди — разумные существа, надо смирением и любовью. Вон и Достоевский говорил. — Инокентьев начал с пафосом: — Говорил — для улучшения мира мы не вправе лишать жизни людей.

— А они нас вправе? Вправе?

Все сокровенное высказано, разговор подошел как бы к концу. Мнения непримиримы, всяк остается при своем. А что делать с сектантом? Он группе не помощник, а ее обуза. Стрепунин обводит взглядом Хомутова, Мормышкина, Раудмяги и спрашивает:

— Что будем делать?

Члены военного совета завздыхали, заворочались. Теперь они превратились в заседателей. Нелегко приговаривать товарища. Пауза сильно затянулась. Барабанил дождь по накидке, глухо отзывались опавшие листья на капель. Не перенес молчания Мормышкин, сказал:

— Оставим его здесь.

Стрепунин:

— Как оставить?

— Ну-у ка-ак. Остави-им, и все-о. А чтобы не передался — привяжем к дереву. — Сказал и сам был смущен нелепицей своих слов. Начал поправляться: — Ну я уж не знаю как, только... С собой, что ли, его нести?

Неожиданно Хомутов безапелляционно:

— Расстрелять как предателя.

Что это с мичманом? Ишь какую прыть показал. Не притворяется ли? Не задумал ли что нехорошее и строгостью норовит прикрыть свое дельце?

— Вы, Раудмяги?

Эстонец встрепенулся, заговорил:

— Я? Не-е знаю.

Сектант сидел неподвижно, шея сильно втянулась в плечи, голова склонилась к груди, рука на коленке дрожит, рабочая рука — крупная, с короткими пальцами. Холод ли пробирал человека или этот импровизированный суд?

За тобой дело, Стрепухин, высказывайся.

— Мнение мое такое, товарищи. Давайте оставим... Оставим все так, как есть. Конечно, Инокентьев изменил присяге и за это должен быть строго наказан. И будет наказан. Только не сейчас. Пусть идет с нами. Как с ним поступить потом — будет зависеть и от него и от обстановки.

Мормышкин и Раудмяги с откровенным облегчением выдохнули воздух.

По уходе Инокентьева Стрепухин отдал приказание Раудмяги:

— Отберите у баптиста патроны и раздайте другим бойцам. Оставьте ему одну обойму, на всякий случай. Может быть, одумается, святоша.

Командир должен быть мудр — обязан взбудоражить бойцов, вызвать в них энтузиазм, когда они особенно сдали, и успокоить их, если без меры возбуждены. Самому же надо быть терпеливым.

В группе сорок семь штыков. Точнее — штыков сорок пять, автоматов — два, пистолетов — один. Много это или мало? Все относительно. Прошлой ночью сила группы оказалась достаточной для разгрома батареи. А сегодня? Это уж будет зависеть от сопротивления противника. Насколько гостеприимно встретят десантников на аэродроме.

Военный совет всем составом обходит бойцов. Стрепухин залезает в укрытия или беседует прямо под дождем. Десантники с пристрастием расспрашивают — куда пойдем, когда?

Последняя операция — и домой, через линию фронта, в Новую Ладогу. Как это хорошо звучит — домой. На лицах бойцов и теперь, в сумерках, блестят зубы от улыбок.

Строители вышли из своей норы, обступили Стрепунина и так смиренно, так жалобно:

— Разрешите, товарищ лейтенант. Разрешите...

— Что вам?

— Чаек сготовить.

— В укрытии огонь разведем.

— Рядом станьте — искорки не увидите.

Заколебался Стрепунин. Не сослужит ли костер предательскую службу? Стало темно, дождь не перестает, костер развлечет бойцов, займет их на долгое время, а чай обогреет, прибавит сил, которые никогда не лишни и особенно будут нужны в предстоящем бою. А опасность? Тут, в тылу врага, ее столько, что и не знаешь, с какого боку подступит.

— Разрешаю. Готовьте чай. Для всех. И ни одной искры.

— Да мы...

— Вот спасибо. Спасибо. Дрова есть. Сухие. Загодя впрок заготовили.

Пожалуй, Стрепунин рад не меньше других. Кружка горячего чая — да неужели такое возможно!

Над костром висят котелки. Небольшой огонек, а какая всем радость! Сверху распростерлась хвоя, вокруг огонька толпятся плотно люди, а за ними непроницаемый лес. И поодаль люди — стерегут, как бы огонь не пробился наружу. Котелки с крышками и без них, в воде плавают кусочки коры, иголки, пепел. Но разве смущает бойцов, что в чай попала соринка? Будет чай, настоящий, горячий — вот ни с чем не сравнимое чувство. Вода греется медленно. Бойцов это не тяготит,

быть у костра — уже наслаждение, они по очереди несут эту приятную вахту.

Вода в котелках начала ходить, слегка шуметь, пузыриться у краев. Шум нарастает. В одном котелке поднялось волнение, в другом...

Заварили чай. Такое простое, обычное дело, а как растрогало людей:

У Стрепунина была алюминиевая кружка, она обжигала руки, а еще более губы, и все это было приятно, как-то по-своему необыкновенно. Бойцы прихлебывали чай глотка́ми, дули в кружки и все это делали в наслаждении. С чаем сухой паек пошел весело в горло — хлеб с маслом, рыбные консервы — все исчезало.

Что ожидало людей, они не знали, но сейчас, под монотонный крап дождя, были счастливы, если можно назвать счастьем минуту их душевного довольства.

Марш к аэродрому

Полночь. Группа Стрепунина месит сапогами болото, спешит на восток, к фронту. Слева изредка прошуршит грузовик, прострекочет мотоцикл и напомнит десантникам, что недалеко шоссе, заставляя их напрячься и ускорить темп марша.

Путь отряду пересекает просека — первая дорога. Осторожность и еще раз осторожность. Перебегают группами бойцы, пригибаясь и озираясь.

Другая проселочная дорога. Пора поворачивать на юг.

Бойцы бодры, ужин с крепким чаем их поддержал и согрел, а марш горячит. Хоть и чавкает в сапогах, ноги мокры, но это теперь никого не беспокоит. Предстоящий бой повышает настроение, делает людей малочувствительными к лишениям.

Тревожит Стрепунина баптист. Торопится вместе со всеми, а в бою может моментально перековаться во

внутреннего врага, если к тому будут подходящие условия. Хомутов не просветлился, остается таким же неясным, как и был. С этим может быть еще и похуже, за ним стоит целый взвод.

Дождь перестал, но небо еще оставалось мглистым, как бы больным, словно роженица после разрешения. Идти все же неприятно — стóит задеть сук, как на тебя обрушивается поток воды.

Группа вышла на торфяные просторы. Ночь сразу утеряла от своей густоты. Без лесного прикрытия люди почувствовали себя беззащитными, словно бы оголенными, жмутся в плотную группу, задние наступают на пятки передним, не хотят и шагу отстать.

Поворот вправо. И опять вправо.

Взвилась ракета — совсем выставила бойцов на разглядение, посмотрите на них и делайте что хотите. Взорвись рядом бомба, и тогда бы не было большей беды. Заорал кто-то:

— Ложись!

Упали на мягкий травянистый покров.

Огненная полоса разрезала темь, впилась в небо, как бы задержалась чуть там и стала падать на головы десантников.

Впереди — широкая площадка, и на ней самолеты, а дальше, прижавшись к лесу, чернели строения. В разных концах площадки многоголосо залаяли пулеметы, рассыпали дурацкие трели автоматы, разодрали воздух орудия, облизываясь красными языками.

Рядом тревожный вопль:

— Нас предали!!

И Стрепунин откликнулся, орет:

— Молчать! Мою команду!

Погасла ракета. Прямо отдых без нее, дышать свободно. Не будет десантникам отдыха — вспыхнула вто-

рая. Третья. Много их. Чмокали пули. Вздрагивала земля от снарядов.

Завыло, застучало со стороны фронта. Шум и грохот перемещались десантникам в тыл. Окружают — это не столько поняли, сколько почувствовали бойцы своей кожей.

По аэродрому забегали фашисты, которых было хорошо, до тошноты хорошо видно в свете ракет. Становилось трепетно, страшно. Эх, насолить бы им, показать — не боимся. Ударить по самолетам. Цель большая, трудно промахнуться. Аэродром просматривается во все стороны. Гитлеровцы спешат, приближаются, хотят замкнуть кольцо. Пора, пора убегать! Обезумел Стрепунин, подает команду:

— По самолетам! Огонь!

Дробно отозвались на команду винтовки. Отстучали автоматы. Мичман Хомутов и солдат Мормышкин лежат рядом со Стрепунным. Он им:

— Автоматы — молчать!

Заскребли душу голоса раненых: нащупали фашисты десантников.

Аэродром осветился факелом с земли — запылал самолет. Пожар на аэродроме вызвал некоторое замешательство в гитлеровцах. Они засуетились, чаще забегали по аэродрому.

Стрепунин надсадно горланит:

— Отход! — И мичману: — Прикрыть. Оставить двух бойцов. Отдать им автомат!

— Отдать автомат?!

— Оглох, что ли!

— Не отдам. — На лице мичмана пляшут отсветы, оно искажено и злобой и болью.

— Отдать! — выдыхает Стрепунин.

— Нет.

Это «нет» такое строптивое, что Стрепунин не знает, как поступать дальше. Выручает сам мичман, говорит:

— Сам останусь.

— Ты-ы? — Можно ли верить ушам? Все же бросает: — Оставайся.

Тут Мормышкин:

— И я.

— Что, ты?

— Здесь, с мичманом.

— Да, да. — И бойцам: — Раненых с собой.

Взять раненых! Здоровым бы спасти ноги! Изо всех сил бегут к перелеску, он укроет и от ракет и от немцев.

Отчаянный крик:

— Братцы! Не оставьте!

Ковылял, опираясь на винтовку, боец. Стрепунин вгляделся в него и с изумлением:

— Сектант?

Тот плаксиво тянет:

— Не оставьте.

В Стрепунине бушуют мстительные силы. Не помогла тебе кротость. Струсил, изувер проклятый. Подыхай... А сам приказывает бегущим бойцам:

— Возьмите его.

Бойцы стали по обе стороны сектанта, освободили его от винтовки и вместе с ним втянулись в перелесок. Ориентиром служат выстрелы фашистов. Подальше от них. Группа удалилась в направлении Шлиссельбурга. Намерения ясны — выбраться к озеру, через болото, в котором отсиживались день.

Не проходят — пробегают десантники открытую луговину. Наконец — лес! Круг завершен, десантники вернулись на свое насиженное место.

В лесу темно, только играют на востоке зарницы-ракеты. Стрельба отчетлива — и справа, и с тыла.

Погорелый уходит разведать канал. Шлюпка и озеро — вот спасители десантников. Группа притаилась, ждет разведчика.

Наспех Стрепухин пересчитывает людей. Их двадцать. С разведчиком и с ним, командиром, двадцать два. Двадцать шесть, выходит, остались у аэродрома. Зачем повел людей наобум, без разведки. Разгром артбатареи вскружил голову. И тогда ломил наугад, случайно захватил артиллеристов врасплох. Не везде же такие ротозеи и олухи, какие оказались на батарее. Загубил группу.

Потеряли у аэродрома двадцать шесть. Из них двадцать четыре были просто бойцы, или «штыки», а вот двое — мичман Хомутов и Мормышкин, — те для Стрепухина люди, человеки со своими неповторимыми характерами. Гибель всех двадцати шести он и связывал с этими двумя. Отношение к каждому разное: к Хомутову и до сих пор еще полудоверчивое, а вот к Мормышкину... Такой родной он. Младшего брата оставил Стрепухин у аэродрома.

Десант высадился днем, в ясную погоду и на глазах у немцев — дерзость, которой они не могли понять. А все неясное и непонятное, если это людям грозит бедой, их раздражает и пугает. Раздражил десант гитлеровцев. Разгром же батареи их переполошил.

Подняли немцы на ноги всех способных носить оружие, усилили караулы, запросили у высшего командования подмоги. Только снимать части с фронта побоялись, может быть, русские затеяли демонстрацию на берегу Ладожского озера, сами же в это время нанесут удары где-нибудь на Волховском фронте. Была и другая версия: десантники захватили плацдарм. Последуют новые высадки войск. Ударят по Шлиссельбургу и разорвут цепь, которой скован Ленинград. Десант — кость в горле. Ее надо выплюнуть или проглотить...

В тылу орудуют две группы. Надо кончать с ними. Скорее кончать.

Так обстояло дело на Ореховом берегу.

Друг наш, озеро

Вернулся Погорелый и доложил: на Старом канале немцев нет. Мост разрушен. Канал неширокий, можно валежину перебросить и по ней пройти.

Какая там валежина.

— Вброд!

К Старому каналу! Здоровые бегут, раненые торопливо ковыляют — одни сами, как придется, другие поддерживаемые товарищами.

Ветками, палками прощупывают дно и влезают в воду. Торопливо, с бульканьем, всем скопом переходят на тот берег, скользят, падают. Раненые и потихоньку и громко ноют. Им помогают подняться на вал. Четверых бойцов Стрепухин оставляет для прикрытия. Стремятся к Новому каналу.

Взвивается ракета. Группа застывает. Здоровые бойцы поддерживают раненых; у Раудмяги и Погорелого на плечах по короткому кругляку. Отливает металлом лента канала, распущенным веником стоит перелесок, густой стеной остался за каналом лес.

К каналу бежит солдат, так легко, с хитринкой бежит — петляет. Это же наш солдат — в стеганке и пилотке. Мормышкин!

Ну скорее же, рядом канал, за ним спасение...

За Мормышкиным гонятся два немца, у обоих перед собой автоматы. Он уже на шоссе. Погасни ракета, укрой его.

До канала пятнадцать, десять прыжков. Вот-вот скатится к воде, закроется берегом. Не выдерживает, кричит:

— Помогите, това-арищи!

Сжимаются сердца десантников. Вся группа в едином порыве подается к собрату, вытягиваются винтовки....

Зловеще строчат автоматы. Мормышкин оступается и падает, вытянув руки к десантникам.

Ракета гаснет, погружая все в непроницаемость.

Грунту залихорадило пуще. За спиной стрельба.

Новый канал. Десантники теперь не боятся воды, чуть ли не по грудь в канале и вызволяют на берег осевшую, загруженную илом шлюпку. Едва оторвали от грунта — острый киль уж слишком глубоко врезался. Опасность подхлестывает бойцов, утраивает их силы. Шлюпку опрокинули и разом освободили от воды и большей части ила. Промывать борта и днище некогда, завинтили лунку пробкой и быстро загрузили шлюпку собой, простучав по днищу сапогами и прикладами. Вот и бойцы прикрытия. Торопитесь! Двое не вернулись, легли навечно у Старого канала.

Шлюпка добрая, вместила всех. Раудмяги особенно расторопнив и догадлив—нашел оба весла, бросил в шлюпку кругляк.

Поплыли. Не прошло и минуты, как нос лодки ткнулся в другой берег.

Опять выставлено охранение — с двух сторон, от Шлиссельбурга и линии фронта. С тыла уже бежали немцы, грея воздух автоматами. Не опасно — между гитлеровцами и десантниками протянулся Новый канал, его вброд не перейти. Только бы шлюпку молниеносно туда, через вал. Ну, разом!

Попробовали было перемахнуть ее на руках — не тутто было, тяжела. Стали подергивать — тоже плохо подается, киль увязает в мягком грунте. Пригодились кругляки. Рвут десантники шестерку, один за другим подкладывая под киль катки. Порой катки крутятся, помогая движению шестерки, но чаще вдавливаются в землю, и шлюпка просто скользит по ним, теряя на этом так нужные десантникам секунды.

Гребень вала. У-ух! Передохнуть бы. Где уж там — слышно свиристенье пуль. Пусть люди укрыты валом и кустарником, а шлюпка по каткам сама спешит к озеру — все равно мешкать некогда, слышится новая беда — немцы справа, стреляют густо, по всему чувствуется — много их.

Несчастье! Шлюпка застряла, с разбегу врезалась носом в ил.

— Курат! — ругается Раудмяги и сам командует: — Руками, руками...

Выстрелы нарастают, и все отчетливей. Кажется, к самому уху приставлены дула. Еще одно усилие, еще! Пыхтят, пыжатся, а шлюпка ни с места — не вытянуть ее из грунта.

— О! Ы-ы!

Пошла!

Еще тяжело тащить — мелководье. Но вот уже воды по колено — легко толкать шестерку, а набежит волна — шлюпка становится совсем невесомой. Позади стреляют. Охранение огрызается — отвечает своей пальбой. А шестерку и десантников уже заслонил от пуль камыш. И сама шлюпка стала резвой и послушной, бодро принимает грудью встречную волну и режет ее острым носом.

Пора садиться и плыть. Хором кличут свое охранение.

— Сюда, товарищи!

Нервозное ожидание. Но вот булькание. Трое выросли из-за камыша.

— Где же ваш товарищ?

— Остался, — торопливый ответ одного из пришедших. — Наповал.

Остатки десанта в лодке. Всего девятнадцать. Для шестерки многовато. Но что делать? Волна не так уж высока, шлюпка выдержит. Ну как не выдержать...

Два весла и крюк. Им матрос упирается в дно — помогает гребцам. По краю камыша шлюпка идет споро.

Светлеет. Отодвигается горизонт. Перед десантниками возникают озерные — нет, это слишком слабо, — открываются морские дали. Изрытая водная поверхность. За кормой — громада крепости, сидит в воде, заслонила собой исток реки. Дальше просматривается берег и на нем тонкой свечкой маяк. Ветру здесь нет преграды, продувает десантникам кости, тело в мокрой одежде начинает сбиваться в озноб, ноги отнимаются.

И все же, все же! Так просторно, так вольготно тут! Вырвались из ада. Живы! Какое счастье — видеть мир! Давно ли многие десантники страшились воды, просто трепетали перед ней? Но как все изменилось — этот огромный водный бассейн есть лучший друг, избавитель.

По очереди гребут веслами и толкают лодку отпорным крюком — греются.

Камыш прервался. К берегу от озера шел широкий чистый плес. Это его прошлой ночью так испугалась Софа Скорнякова. Камыш тут вроде бы прокошен или вырван с корнями. Предположили — фронтовая полоса.

Открытие это вогнало людей в уныние.

Хорошо был виден прифронтовой берег. Конечно же, с него наблюдают шлюпку. Наша ли это полоса? Если немецкая, то не пропустят, расстреляют из орудий и минометов.

Стрепунин подзадоривает:

— Проскочим! На весла по двое. Один гребет, другой помогает. Сели! На-а-чинай! И-и раз! И-и раз!

Шлюпка рывками подавалась вперед. Крючковой усердно работал на корме. Там был сам Раудмяги, видно, и шлюпка, и море знакомы ему с детства. Стрепунин держал румпель.

Половина полосы пройдена. Людям неприятно — чувство такое, словно ты служишь для кого-то мишенью.

На берегу молчат. Может быть, пронесет...

Несколько последних усилий. Гребцы вытягиваются в

струну, из последних сил наваливаются на весла. Вот и камыш, а там наши, наши!

Сильный взрыв разодрал воздух. Столб воды, земли и камней встал над плесом.

Шлюпку опрокинуло. Камыш огласили стоны людей и призывы о помощи. Бойцы плавали. Озеро окрасилось кровью...

Странный спор

Их осталось одиннадцать, невредимых, — он, Стрепунин, и десять других десантников — семь моряков из караульного взвода, двое строителей и пограничник. Сушится одежда у печурки, такой горячей, с малиновым оттенком. Гудит «буржуйка», от нее идет благодатное тепло. Стрепунин слышит ее песню. А давно ли уши были замурованы, видел — люди шевелят губами, как в немом кино, беззвучно, а что говорят — понять не мог. Сейчас из ушей будто пробку вынули, слышны звуки жизни.

Одиннадцать здоровых да в госпитале восемь — девятнадцать человек от группы Стрепунина. Сектант жив, а Мормышкин погиб. И Погорелый утонул. Жив и Раудмяги, только ранен. К эстонцу Стрепунин как-то особенно расположен.

Здоровые спасали раненых. Поздно начали спасать — сами были оглушены, потрясены и не сразу пришли в себя. Кабы не помощь с земли, не дотащиться бы многим до берега.

Взорвалась мина, это несомненно. Почему взорвалась? Может быть, шлюпка на нее наскочила? Едва ли? Тогда бы и костей не собрали. Взрыв произошел на стороне, посредине плеса, который шлюпка миновала. Скорее всего, провода от мины шли к берегу, там и замкнули электрический ток.

Восьмеро в госпитале, а все здоровые бойцы отдыхают в другой землянке. Стрепунин выпил «согревающего» и лежит теперь под теплым одеялом, а уснуть не может. В голове — туман, в сердце — беспокойство. Долго ворочается на жестком матраце, многократно затягивается воздухом, как куревом, и забывается.

Вдруг завыли сирены, завизжали бомбы. Взрыв! Стрепунин куда-то бежит. Дорогу преграждает немец. Как! Знакомое лицо. А-а, он. Стрепунин вынимает пож, чувствует, как негнущаяся сталь пробивает одежду, хрящ грудной клетки и легко уходит в тело. Немец падает. Что-о? Шевелится, встает, гонится по пятам, вот-вот настигнет, схватит... И крик, крик! Сердце выворачивается. Это же Мормышкин кричит...

Гадко скрипит дверь. У порога майор. Очень черный, похож на кавказца. Нет, чистый русак. С оканьем. Скорее всего волгарь. Подходит к койке, громко говорит:

— Долго будешь жить, моряк. — Трясет Стрепунину руку, садится у его ног. — Прости, что потревожил. Так надо.

Стрепунин пристально и недоверчиво его разглядывает.

— Говори, лейтенант, где ходил, что видел? — Вынимает из планшетки карту. — Показывай. Ого? Артбатарею. Она часто нас беспокоила. Молодцы. Молодцы.

Черный майор, пожалуй, на год, на два всего-то и старше Стрепунина, а разговаривает с ним, как отец с сыном.

— Аэродром. О! Погромили вас. В неудачное время, брат, попали.

Кошмарный сон вернул Стрепунина назад, за каналы, и лейтенант медленно оттуда возвращался, трудно приходил в себя, говорил заученно — головой, а не сердцем.

— Да, аэродром... Без рекогносцировки. Ошеломили нас. Ретировались.

Рекогносцировка. Шелом. Ретирада. Уж слишком книжно.

Майор понимал — лейтенант угнетен. Надо расшевелить его, пробудить интерес к беседе. Стал расспрашивать о Лоблове.

И здесь Стрепунин отвечал кратко: «Не знаю. Не видел. Не мог».

— Первый эшелон весь уничтожен, весь, — сказал майор.

— Ве-есь! — выдохнул Стрепунин.

— Трое остались, только трое.

— Кто же, кто?!

— Младший лейтенант, солдат и...

— И? — Стрепунин оторвал голову от подушки, кожа на щеках натянулась и помертвела.

— И девушка. Санитарка.

— О-о... — простонал лейтенант, и стон был такой, будто из тела вынут осколок, который постоянно Стрепунина мучил и не давал жить.

«Буржуйка» замерла, не напоминала теперь о себе ни голосом, ни теплом. Майор позвенел дверцей, подбросил в печку чурок и вернулся к Стрепунину. Тот поджал губы, насупился, в душе укоряя себя: какой же ты молокосос, не сумел спрятать своих чувств, обнажил их перед первым попавшимся человеком. Захотел по-прежнему замкнуться и не мог — тонкие, как у подростка, пальцы сжимались в кулак, глаза горели.

Майор догадался о настроении лейтенанта и стал ненавязчиво, как бы между прочим, объяснять счастливый случай, спасший Софу. Боец сидел в «секрете», когда услышал шум в камышах, уже приготовился стрелять, но почему-то раздумал и только поднял тревогу. Наряд солдат прочесал камыш и обнаружил лодку, труп и едва живую девушку. В санчасти натерли ее спиртом. Отошла.

— Столько часов тянула лодку, подумать только. Одна, ночью, с трупом — храбрая девушка. Очнулась в санчасти и заплакала. Думали — худо ей. Не то. Она к врачу — спасите десант, пошлите помощь. Так и убежала от нас в Новую Ладогу. Младший лейтенант? Тот здоровенный. У него спасательный круг — помог ёму. А солдат — хороший пловец. Все уехали в Новую Ладогу.

Прорвало Стрепунина, заговорил лихорадочно, бичуя себя:

— Там трое, и у меня... Лоблова зажали, сам себя он закопопатил. А я, я? На свободе был. Первая операция удалась, на олухов напал. Захотелось повторить победу. Без всякой подготовки, без разведки...

И все в таком же духе.

Опять загудела печурка.

Майор не прерывал излияний лейтенанта, угостил его «Беломором», сам закурил и сказал:

— Что вы мне, лейтенант, все про разведку да про разведку. У Наполеона была разведка, только не избежал ни Бородина, ни Ватерлоо. И Суворову разведка не помогла, зажали его в Альпах, пришлось пробиваться. Но он — гений, пробился. А у нас? Разве не было разведки? Была, да какая! Может быть, такой никто и не знал. Хорошая разведка. Но что вышло?

Пылко и заносчиво Стрепунин возразил:

— На нас вероломно напали.

Майор горячо:

— Вероломно, вероломно... Мы живем не во времена Киевской Руси. Тогда князь если и затевал против кого поход, то за месяц, а то и больше предупреждал: «Иду на вы!»

«Иду на вы!» — эту фразу Стрепунин сам помнил с институтских лет, но какой злой иронией она прозвучала сейчас. Он даже испугался этой фразы.

Майор продолжал:

— Так и предупреждал: «Иду на вы». И мы ждали, когда фашисты стукнут в наше окошко и скажут: «Готовьтесь! Через неделю начинаем вас бомбить. В шесть утра, не раньше». Ну как, смешно? То-то. А чего же, позволь тебя спросить, от них ждали? Неужели помощи в построении коммунизма? Кошка всегда останется кошкой, а вонючка вонючкой.

Уж очень откровенно высказался майор. Да это же мысли самого Стрепунина.

Майор, окая, развивал свою мысль:

— Война, дорогой мой лейтенант, не игра в кегли и не поединок двух боксеров, когда должны соблюдаться определенные правила — шары катать по очереди, не бить ниже пояса и тому подобное. Война — это схватка народов не на жизнь, а на смерть. Обман и хитрость на войне — обычное оружие.

Разве сам Стрепунин не применил ту же хитрость позапрошлой ночью? Знал он и другое — без храбрости, хитрости и ума войну не выиграть. Но открытый цинизм философии войны, высказанный майором, Стрепунина удовлетворить не мог. Потому стал противиться, возражать:

— По-вашему — на войне все средства хороши. Фашисты сжигают деревни, города, убивают мирных жителей, и это все в порядке вещей? Где же истина? Где грань между справедливостью и злодейством?

Подымил майор папиросой, подумал и стал неторопливо опровергать доводы Стрепунина:

— Какая в государстве политика, такие будут и средства ведения войны. Мы не дадим себя уничтожить, но и не будем бессмысленно уничтожать другие народы. Фашисты на войне делают то, что делали и до этого, только более откровенно и грубо. Ждать от них другого, это ждать от змеи молока или меду.

Задрожал накат землянки, зашуршала, посыпалась сверху земля.

— Начали, — сказал майор. — План фашисты выполняют, посылают нам очередной паек снарядов. Ты, лейтенант, свою задачу решил и нечего колотить себя в грудь. Разгромил батарею. Принес важные вести. Сам собой напрашивается вывод — нет у немцев значительных сил на побережье озера. Понимаешь ли, нету. Этот факт мы используем по-своему.

Прошелся майор по землянке, снова погремел у печурки. Затрещала, закорчилась береста. Запах дегтя и дыма приятно защекотал ноздри.

— Картошечки бы тут испечь. — Майор причмокнул. — Люблю ее в мундире, слегка подгорелую. Да, — спохватился он, — ты обедал? Нет? Прикажу принести.

Вот он, наставник

В тамбуре стукотня. Дверь опять запела неприятно. Вошел новый посетитель — подполковник.

Сел, как и майор, в ногах Стрепунина, но не на койку, а на табуретку — разница пустяковая, а казалось, полковник отдалился от Стрепунина больше чем на милю.

— Семнадцать человек от всей группы, — начал сокрушаться подполковник и трясти величественно головой. — А было пятьдесят шесть? Печально, печально. В первом эшелоне и того хуже — совсем разгромлен. Только трое уцелели. И это из сотни.

Спокойно-покровительственный тон подполковника бесил Стрепунина, он закусил нижнюю губу, чтобы не взорваться и не наговорить этому доброхоту дерзостей.

Не замечая нервозного состояния Стрепунина, тот тянул:

— Меня не может не смущать одно обстоятельство — как это вы смогли разъединиться? Как ушли от основной группы? И вот результат подобного разделения. А что

приобрели? Подумайте сами, лейтенант Стрепунин, что приобрели? Разведали местность, аэродром? Но это же не танк — его не замаскируешь и не спрячешь в кусты. Разве о нем не было известно? Да, уничтожили батарею? Это, конечно, пойдет вам в актив. Но флотилия при высадке десанта потеряла корабли. Тут уж получается что-то, как у купца, — рубль торгуем, два гуляем.

Голос подполковника монотонен, а смысл настораживающий, даже пугающий. Майор уверял — десант принес пользу; подполковник разуверяет. Кто прав?

А зачем тебе, Стрепунин, жить чужими мнениями. Почему бы самому не разобраться в обстановке? Или на плечах твоих не голова, а кочан капусты? Ты сам был в тылу врага и знаешь про этот тыл больше, чем тот майор и этот подполковник.

Да, Стрепунин две трети своей группы оставил на Ореховом берегу и понимает многое... Будто бы понимает. И тем не менее не хочет и не может считать те две ночи в тылу врага ненужными и уж тем более вредными для войны. Он, правда, бичевал себя, но это больше для очистки совести. И теперь еще полностью не осознает случившееся, но в разговоре с майором убедился — его группой сделано много. А потому задиристо и непочтительно стал спорить с подполковником и повторять слова майора:

— Война — это не игра в кегли. Десант разгромлен. Да. Но и немцы понесли урон. Им заменить солдата труднее, чем нам. Да, труднее. И батарею перетащить из Германии нелегко. Не могу я принять вашу точку зрения и не хочу ее принимать.

— Почему же, лейтенант? Бессмыслицы у нас вдоволь. И если проанализировать ваши действия...

— Мои действия не идельны, но ваша мысль и не верна, и вредна.

— Пусть не верна. Но почему же вредна?

— Сковывает намерения и сеет сомнения.

— Факт есть факт. От меня требуют оценки действий десанта. Это я и сделаю незамедлительно. И должен огорчить вас, лейтенант Стрепухин, как мне это ни больно, мои выводы будут не в вашу пользу. Считаю — главная вина в разгроме десанта лежит лично на вас.

— Считайте — это дело ваше.

— Я просто вас предупредил.

— Могли и без предупреждения.

— Еще. Мне совсем не понятны действия флотилии. Послать две сотни под жернов — это, это...

— Послать десант — идея не флотилии.

— Чья же?

— Штаба фронта. Сам командующий приказал.

— Командующий Ленфронтом?

Подполковник перепугался — сказал лишнее. Черт его знает, кто он такой, этот лейтенант. Еще наговорит где не надо, да и от себя добавит. Враз изменилась поза подполковника — сгорбилась. Лицо из тугого сделалось рыхлым, мятым, похожим на футбольный мяч, который проколот и стравил воздух. И язык стал заплетаться:

— Ко-омандующий? Во-он как. Команиду-ующий. Должно быть, так и надо, ясно надо. Тут уж и рассуждать нечего. Картина просветлилась. Я и покинул бы вас, да еще хочу предложить один вопрос. Сколько фашистов вами уничтожено?

— Кто же их считал. Может быть, сорок, а то и все восемьдесят.

— Наверху круглым цифрам не доверяют. Запишем шестьдесят семь. Согласны? Тогда до свидания.

Вышел он все же лиховато.

Прощание

Госпиталь располагался в большой усадьбе. Дом старый, дореволюционный, с колоннами и мезонином. Ре-

монта давно не было, стены облупились и пожелтели. Крыша, когда-то крашенная мумией, теперь выгорела и приняла коричневато-черный, землистый цвет. Надворные постройки тоже состарились и выглядели уныло. Невеселости и даже тоски добавлял всему старый парк. Полураздетые клены и липы вытянули сучья-руки, словно защищаясь. Только дубы стояли кряжисто, но и они звенели печально листьями, как металлическими пластинами.

— Сюда, сюда, лейтенант, — сказала Стрепунину пожилая женщина в белом, разорванном на плече и не совсем свежем халате.

На грузовой машине Стрепунин едет в Новую Ладогу. Госпиталь на пути следования. Шофер согласился полчаса ждать, пока Стрепунин будет прощаться с ранеными десантниками.

— Больные в сарае? — спросил он женщину, подходя к одной из надворных построек.

Ответ получил грубый:

— По виду вы — фронтовик, а вопрос задаете по-тыловому. Сарай. Посмотрели бы неделей раньше — под дождем люди лежали. Никаких помещений не хватало. А это не сарай, а палата.

При входе в «палату» Стрепунин невольно отбросил голову назад, как от тычка в нос — такой ударил терпкий запах лекарств...

Раненые стонали, но слух поражали не столько эти стоны, сколько крик больного:

— Пулемет! Пулемет! Заглох — та-та-та-та! Вперед! Да здравствует...

Люди с бинтами на головах напоминали запеленатые куклы; лежали руки в гипсе, недвижные, березовыми кругляками. Была вздернута нога, словно раненого поднимали на дыбу.

Стрепунин узнал своих бойцов. Узнал. Лежали они без головных уборов, все остриженные под пулевку и в стандартных больничных рубашках. И вот — узнал. Только не его в том заслуга. Сами они заметили Стрепунина раньше, чем он их, заулыбались ему, затеплились их глаза, головы поднялись над подушками. Всем видом десантники говорили, просто кричали: «Это мы, мы, ты не можешь не узнать нас». И он к ним подошел. А вот и Раудмяги. Глаза большие — синие, сияющие, не глаза — озера, а лицо обескровленное, и нос выпятился.

— Вот вы... — начал Стрепунин. — Как себя чувствуете? — Фразы обычные, но в них много теплоты, а это всегда покоряет, какими бы словами ни было выражено.

Бойцы заговорили гуртом. Раны у них нетяжелые. Многих выпишут через день-два. Нестеренко полежит дольше — ему ушибло ногу. А Касаткину переломило ребро. У всех одно желание — скорее бы в Осиновец...

Еще одного раненого узнал Стрепунин, хотя тот и не улыбался ему и не отрывал от подушки голову. Лишь взглядом тот следил за Стрепунинным ревниво.

Это был сектант Инокентьев.

Лейтенант отдал бойцам папиросы, какие у него имелись, положил на тумбочку банку консервированного леща и переписал фамилии раненых.

Десантникам хотелось знать, что о них думают другие, ну те же фронтовики, в часть которых они теперь попали. Стрепунин имел мнение двух командиров — майора и подполковника, два противоречивых мнения. Нет уж, нет, Стрепунин им скажет единый отзыв, непререкаемый. И плевать ему на все другие мнения. И сказал — не словами, сердцем:

— Человек имеет в жизни много дорогого, заветного. Но самое неоценимое, единственное и неповторимое — это его жизнь. С концом ее он всего лишается. Жизнь. И вы ее не щадили. Выполнили долг. Сделали все, что

от вас требовалось. Сделали бы больше, кабы могли. Вы... — на язык лезло — герои. Не захотел Стрепунин говорить этого слишком часто повторяемого слова. — Вы... как дети, как настоящие дети защищают свою мать, не думая о себе, так и вы. Дрались... Спасибо вам, дорогие.

Последнее слово вырвалось у Стрепунина помимо его воли, оно так же неожиданным оказалось для раненых десантников. Один из них не выдержал, заплакал.

На прощание Стрепунин поцеловал всех семерых, чем совсем растрогал и их, и себя.

Пора уходить, а он медлит, раздумывает. Над чем? Сектант его тревожит. Как поступить с ним? При встрече не подал тому руки. Подавать ли при уходе? Глаза Инокентьева жгли его, от них невозможно было отвернуться. Э, пусть будет, что будет. Стрепунин уже у койки Инокентьева и как можно задушевнее говорит:

— До свидания. Поправляйтесь и вы.

Руки их встретились. Лицо баптиста только на миг, может быть, сделалось по-мальчишески растерянным, как от неожиданного большого подарка. Он еще был молод, едва ли ему исполнилось двадцать один.

Провожал Стрепунина горячечный бред:

— Эй, вы, орлы! Не Москва ль за нами! Вперед! Ур-ра!

Встреча без музыки

Машина громыхала и подпрыгивала. Стрепунина мотало во все стороны, хотя он и цепко держался за борт кузова. Особенно донимала бочка с бензином. Она стояла на попа и, несмотря на это, все время тряслась и стремилась к кабине. Все десантники руками и ногами толкали ее от себя, но она упорно двигалась к ним. Борьба с бочкой разгоняла в пассажирах дорожную скуку.

Голые поля, унылый лес и холодное, мокроглазое небо. Попадались и широкие полосы озими, но и они рож-

дали нерадостные думы — созреет ли тут хлеб или его вытопчет солдатский сапог.

Бойцы возбуждены — в Новую Ладогу едут, возможно, попадут в свои прежние части.

Один Стрепунин невесел. Им постепенно овладевало нехорошее чувство тревоги. Жив-здоров, встретит Софу, конечно же встретит, пожмет ее длинные пальцы, заглянет в глаза. Конечно, простит ей ее минутное и сумасбродное увлечение... Для него, для Стрепунина, осталась она в живых, только для него. Тогда почему же нет радости? Полководец ты лапотный. Возвращаешься с восемью бойцами. Где остальные? И этот непередаваемый крик Мормышкина... Погорелый, Хомутов... Каждый сам по себе богатырь.

Хотелось плакать.

Оголенные березы напоминали бойцов с забинтованными ногами. Кровавился рябиной лес.

Его, командира группы, пуля пощадила, не царапнула даже. Неужели вся операция была пустой затеей? Люди полегли ни за что? Нет, нет и нет! Никогда Стрепунин не согласится с таким выводом.

В лесу безраздельно господствовала хвоя — оттеснила на задний план и полузакрыла собой березы, осины, клены, ольху...

Лишь дубы сопротивлялись, не хотели сторониться, были величественны, мало потеряли от пышной своей одежды.

От города Волхова дорога шла вдоль реки, то капризно убегая от нее, то, как бы соскучившись, возвращаясь к берегу.

Старая Ладога. Городок просматривается из одного конца в другой, а заметь-ка — имеет два миниатюрных кремля, два монастыря — мужской и женский, почти рядом стоят. Между ними полуразвалившиеся укрепления. И церкви. Стрепунин насчитал их пять. Почти все выдер-

жаны в одном стиле — корпус непропорционально высок, купола обширны — новгородско-псковская старина.

А вот и Новая Ладога. Над городом господствует церковь с синим шпилем и зеленым куполом. В высоте с церковью спорят мачты судов. Волхов тут такой широкий, готовый, кажется, каждую минуту выйти из берегов. И Старый канал! Вот она, встреча, только с другого конца. Мутная вода в черных берегах разлилась по задворкам города.

Старый канал захватил внимание десантников, они глядели на него, полные горестных дум. Канал загородили домики — деревянные и каменные вперемежку, чистенькие, но бельмастые, нередко с бумагой в окнах, вместо стекол...

Машина проскочила Гостиный двор и остановилась у светлого двухэтажного каменного здания — чуть ли не лучшего дома в городе. У входа — часовой. Здесь штаб флотилии.

Начальник штаба живет на широкую ногу, совсем не то, что в Осиновце. Зал просторный, хоть бал устраивай, стол массивный, на резных ногах, зеленеет лужайкой; кожаные диван и кресла. Вошедший человек немного робеет в таком помещении, его подавляет эта солидная обстановка.

Рапорт Стрепухин отдал по всем правилам. Ждал — если уж капитан второго ранга и не поспешит к нему навстречу, то обязательно пожмет руку, поздравит с благополучным возвращением, пригласит сесть, тепло побеседует. Черт возьми, ведь не каждый же день высаживаются десанты. Да, начальник штаба примет его ласково. Тогда-то он, командир десантной группы, откроет перед капитаном второго ранга свою душу, положит сердце на ладонь.

В уме Валенкова всплыли катера, пирс, десантники, как сейчас, перед ним идут группы — водолазы, погра-

ничники, строители, полковые стрелки, караульный взвод и... мичман Хомутов. Все там остались, все на Ореховом берегу. Как предсказывал, так и получилось. В сердце прокралась жалость, которую сменил гнев. Валенков совсем не в силах спокойно говорить со Стрепуниным, спрашивает:

— Где вы были?

Лейтенант почуял беду. Где она, в чем, еще не знал, но что она есть — несомненно. Неуверенно начал:

— Не понимаю я вас, товарищ капитан второго ранга. Вы же сами посылали меня.

Тот еще строже:

— Сколько привели?

— Восьмерых. Я девятый. И еще в госпитале. Их взрывом ранило...

— Высадилось сколько?

— Пятьдесят шесть.

— Где остальные?

— Там, на Ореховом берегу. Убиты, ра...

— Там. Убиты! — Папироса в руках начальника штаба дернулась. Он ее сунул в рот. Пока прикуривал, она плясала. Крикнул: — Да как вы могли!

Передернулся весь Стрепунин, забормотал:

— Объясню, объясню... Простите... О чем вы...

— Я о вашем, вашем разгильдяйстве или... — выдержал паузу. — Или намеренном поведении.

Золотые нашивки на кителе начальника штаба, стол, вся комната начали медленно поворачиваться. Устоять бы на ногах, устоять бы...

Несколькими часами раньше в Новую Ладогу примчалась худая слава о Стрепунине и волнами, как от большого взрыва, разошлась во все стороны. Привел ее, эту худую славу, младший лейтенант Кудряшков. Со слезами на глазах Кудряшков рассказывал командующему, начальнику штаба, комиссару и всем, кто его хотел слу-

шать, рассказывал повесть о трагической гибели первого эшелона десанта, о героической смерти Лоблова и многих других смертях.

— Стрепунин убежал. Предал нас. И вот, разгромили...

Допросили Софу Скорнякову. Та не подтвердила злых намерений Стрепунина, просто не верила в такое. Сказала, что и Лоблов не был в этом уверен. И тут же чистосердечно заявила — среди бойцов ходили толки. Сама слышала от раненых. Они называли Стрепунина... Как называли? Ей этого слова не выговорить. Откуда появились толки? Не знает.

Стрепунин готов был разрыдаться.

Почти трое суток не спал, огромное физическое и нервное напряжение — все это не прошло даром.

Устоять бы, устоять. Стрепунин выдержит, не даст воли ни грубому своему поведению, ни слезам. Умри, а выдержи...

Стоит перед начальником штаба бывший штрафник, по всему поведению видно — анархист, себялюбец, разгильдяй. Не воспитали его характер так, чтобы жизнь товарищей для него была дороже своей. Нет у него чувства локтя, потому и не пошел на выручку старшего командира и всех... Вот кто непосредственный преступник — он помог фашистам разгромить десант. Так пусть же беспощадная рука правосудия опустится на голову негодяя.

Щеки у Валенкова обвисли, спускаются мешками, от уголков рта разошлись глубокие канавы, дремучие брови тяжело нависли над глазами. Рука сжала массивное пресс-папье.

— Командир. Мо-аряк.

Губы Стрепунина беззвучно шевелятся. Он собирается с последними силами, говорит:

— Не виноват я. Весь отряд в мышеловку? Не мог. Что хотите, не мог.

— Вы и не пытались.

Стрепунина осеняет. Прибывают силы. Он теперь не оправдывается, а сам предъявляет требования. Все припомнил от начала высадки до самого ее конца.

— Да, я моряк, я командир, обязан выполнить приказ, каков бы он ни был. Выполнял, насколько хватало сил. Десанту приказано было разведать местность боем. И моя группа вела бой, разведала что смогла. Не за этим ли нас туда посылали? На Ореховом берегу два канала — разве не было известно? Почему же нас не обеспечили самым необходимым? Хотя бы резиновыми шлюпками. Деревянные сразу же были разбиты, осталась только одна.

Упрек Стрепунина больно хлещет по чувствам Валенкова и тем-то особенно неприятен, что справедлив. Начальник штаба поставит этого строптивца на место.

Нет же, капитан второго ранга не унизится до грубостей. Конечно, операция готовилась в спешке — не было ни оперативного плана, ни достаточных средств. Где они, эти резиновые лодки? Приказали за одни сутки сколотить десант. Вот и сколотили. Обеспечили кое-как оружием, на другое недостало пороху. Но все же такая дерзость...

— Кто вы, кто? — спрашивает Валенков. — Разве не обязаны воевать с тем, что есть. И воевать хорошо! Не простят нам плохой войны. Вы не выполнили своего долга и пойдете...

Угас Стрепунин, одрях. Он и сам чувствовал за собой какую-то вину, а потому опустил голову, полностью покорившись судьбе. Стал будто бы спокойнее.

Валенков поднял трубку.

— Грибкова мне. Грибков? Это я, сто второй. Приходите. Вернулся он. Да-да, тот самый.

Виновата война

Процедура допроса Стрепунину очень знакома. Перед отправкой в штрафной батальон подобное он испытал много раз.

Допрашивает Грибков. Он со Стрепуниным, пожалуй, одних лет, но званием на ранг выше и, несмотря на это, допрос ведет почти дружески.

— Признайтесь, Стрепунин, вам же не хотелось соединяться со своим командиром майором Лобловым? Мне известно — конфликты между вами начались с первой встречи. Кому охота идти под начальство нелюбимого человека. Правда — не хотели?

— Военнослужащий не выбирает себе начальника, служит с тем, с кем ему приказано. Я бы смог подавить в себе неприязнь. Не знаю, известно вам или нет, что я несколько раз обращался к майору. Еще перед высадкой. Хотел получить от него инструкции. Но он меня отвергал.

— Но я спрашиваю про Ореховый берег.

— Не знал, где майор находится.

— Почему же мичман Хомутов знал. Шел бой. Так близко.

— Мне казалось — бой идет на линии фронта.

— Ну вы же человек военный. Пусть из запаса. Сколько лет на флоте командиром? С лета тридцать восьмого? Три года. Да срочная три, сверхсрочная один. Так и не поняли — в километре идет бой или в пяти?

— Не понял.

— Может быть, со слухом не все в порядке?

— На уши не обижаюсь.

— Тогда в чем же дело?

Грибков пишет, Стрепунин думает.

— Допустим, вы ничего не знали о первом эпизоде. А если бы знали — пошли бы на соединение?

— Затрудняюсь сказать. Тогда все-таки была бы определенность.

— Но могли бы и не пойти?

— Мог бы. Во всяком случае, стал бы думать — надо ли вести людей в мышеловку?

— Признание делает вам честь, но оно очень тяжкое. Повторите — могли бы и не пойти?

— Мог бы.

— Не примешивались ли к чисто военным вопросам другие соображения?

Молчание.

— Вы слышите, Стрепунин?

— Слышу.

— Не было у вас других соображений?

— Каких же?

Грибков делает маневр, уводит вопрос в сторону, видимо желая сбить Стрепунина с взятого тона:

— Каковы ваши взаимоотношения со Скорняковой?

Стрепунин вспыхнул, перекрутился на стуле, горячечно заговорил:

— Не вплетайте ее сюда, не вплетайте. Прошу вас.

— Нельзя без нее, поймите это, лейтенант.

Тот сник.

— В ночь перед высадкой вы и Скорнякова вышли из землянки. Не скажете ли...

— Не скажу.

— Тем хуже для вас. Тогда другое. Что вы говорили комиссару накануне высадки?

— Не помню.

— Подскажу. Вас не устраивало благополучное возвращение первого десанта. Это так?

— Не совсем.

— Чем же вы были недовольны?

— Вы говорите о выходе, о благополучном возвращении десанта. Не это меня не удовлетворяло.

— Что же?

— Его действия в тылу врага. Может быть, я и не прав. Судил, не зная дела.

— И наметили свою тактику?

— Каждый солдат должен знать свой маневр, говорил Суворов. Тем более это должен был знать командир, каким являлся я.

— И на практике осуществили свой маневр, хотя он стоил стольких жизней. Сколько погибло?

— Вам, наверное, лучше известно.

— А вы-то думали об этом?

— Думал. Хотел спасти людей от бессмысленной смерти, потому и переправил группу через каналы.

— Кого же спасли? Разве себя только.

— Вы говорите так, словно я сидел в убежище, а бойцов посылал... Не виноват я, если...

— Кто же виноват? Кто?

— Война.

Слышны хлопанье дверей, шум пробежавшего по улице грузовика.

— Война. Эх, лейтенант, вы же умный человек, институт окончили, редактировали газету, а говорите ерунду. Война-а. Этим словом все можно прикрыть — дезертирство, предательство, любую подлость. Находятся и такие, кто говорит — война все спишет. Но вернемся на Ореховый берег. Вы давно знакомы со Скорняковой?

— Во всяком случае, до высадки на Ореховый берег.

— Уточните.

— С начала войны.

— Где встретились и при каких обстоятельствах?

— Пришла в штаб, спросила о моем подчиненном. Он из операции не вернулся.

— Кто такой?

— Нефедов.

— Один из тех, за которых вы...

— Один из тех.

— Еще где встречались?

— На фронте. Она вынесла меня.

— Мне известно — перед высадкой десанта Скорнякова провела некоторое время с майором Лобловым. Будемте, Стрепунин, душевны, не могло же это не вызвать в вас ревности? И чтобы насолить майору...

— Почему бы не предположить другое?

— Так?

— Логика вещей толкала меня туда, к первому эшелону.

— Интересная логика. Слушаю.

— Я со своей группой иду обратным курсом через каналы, спешу к Скорняковой. Вы этого не допускаете? Именно, к ней. Спасаю ее, а заодно и весь первый эшелон вместе с командпром десанта. Я — рыцарь, я — герой.

— О-о! — только и произнес Грибков.

Да-а, голыми руками Стрепунина не взять. Под обвинение нужно подвести железобетонный фундамент. Основа есть — гибель десанта. В какой мере повинен Стрепунин? В очень большой. Преднамеренно откололся, не захотел пойти под начальство майора Лоблова. Не помог товарищам в беде. Тяжкое преступление Стрепунин совершил.

— Вы, лейтенант, пренебрегли первой заповедью советского воина — сам погибни, а товарища спаси. Как могли вы забыть в такую минуту о другом чувстве — чувстве локтя?

— Война не есть игра в кегли, — отвечает Стрепунин. — Это тяжкая беда народа. Нам вон приходится бомбить свои же города, занятые врагом. Не только убиваем немцев, но, должно быть, под бомбы попадают и наши. Сознательно идем на это.

Рыцарь. Герой. Если бы перебрался через каналы.

Если бы... Прикрывается Скорняковой. А хотел ли он ее счастья? Провела часы с майором наедине. Разве нельзя допустить версию — захотел отомстить, обоим — майору и ей. Ей за измену.

— По логике вещей, как вы сказали, вы должны были стремиться к Скорняковой. Чтобы спасти ее. Так?

— Пусть так.

— Вам хотелось ее спасти?

— Вы перевернули вопрос.

— Скорее, вами должна была руководить месть. Скорнякова предпочла майора Лоблова и вас отбросила. Это же факт. Вы отвергнуты. Обозлены. Почему бы и не наказать их обоих, если представился такой исключительный случай.

Покруче с ним. Расколется.

— Отомстить таким образом? Да сама мысль... Нет!

— Нечего сказать, лейтенант?

— Чего же говорить, когда вы заранее все знаете.

Трещит звонок.

— Слушает Грибков. К вам? Есть. Посылаю. — Кладет трубку и к Стрепунину: — Командующий вас. От него сразу ко мне. Здесь буду.

У командующего

Командующий принял Стрепунина сдержанно, не пошел к нему навстречу, но все же пожал руку, хотя и через стол. Пригласил сесть. Щеки выбриты, тонкий нос стал еще тоньше.

Стрепунин не оценил поступка командующего — чего особенного? Командует флотилией три дня, завоевывает авторитет. И в кабинетах разительная разница: у начштаба просторный, теплый; здесь же не кабинет, а обычная компата — тесная, как корабельная каюта, только не по-корабельному холодна, угловая, с двумя высокими окнами,

и всю ее продувает насквозь. У командующего лицо засиневело, должно быть, не столько от бритья, сколько от стужи. Оригинальничает. В его воле занять здесь любой зал. Да что там этот дом! Весь город в его распоряжении. В конце концов мог бы приказать протопить печку. Высоко взлетел. Голова кружится. Он же ему, Стрепунину, ровесник, а уже взобрался на вершину. Какое ему дело до лейтенанта? Тогда, в Кронштадте, Чирков обошелся с ним тепло. И теперь ведет себя предупредительно. Ну и что из того? Никому Стрепунин не верит.

Командующий не раскрывается, спокойно спрашивает, как если бы Стрепунин пришел сюда перемолвиться двумя-тремя словами:

— Где последнюю ночь провели? В Волхове? Спали?

— Так, подремал.

— А перед этим ночь? Так, были в операции. Хотели разгромить аэродром. Не вышло?

У командующего глаза черные, с блеском — спелые вишни. Когда он глядит в лицо Стрепунину, тот невольно проводит рукой по подбородку — чувствует щетину, колется. Стыдно. От этого еще больше разливается желчь.

Замечает ли тот нервозность Стрепунина? Во всяком случае, не меняет тона, говорит ровно:

— На чем переправились через каналы?

— На шестерке.

— Где ее взяли?

— Мы высаживались на ней. Оставили ее у себя.

— Переправлялись?

— Ночью.

— Точнее?

— Около двадцати одного.

— Чтобы поскорее бежать от своих?

Вопрос командующий смягчил улыбкой, но и с этой приправой резанул Стрепунину ухо. Зачем оправдываться — разве поймет? В штабе сложилось свое мнение о нем,

Стрепунине. Не переубедишь командующего. С горькой обидой отвечает:

— Некуда было бежать, товарищ капитан второго ранга.

Сознавал ли теперь командующий, что десантная операция подготовлена была плохо, не обеспечена самыми необходимыми высадочными средствами, хотя бы теми же шлюпками, в достаточном количестве. Операция неудачна — это ясно и дураку. Десант высаживался днем — на глазах у врага. Высадился, пусть с большими потерями. На берегу потерпел окончательный разгром. Может быть, всего-навсего из-за средств переправы через канал. И если группа Стрепунина все же переправилась, то этим была обязана прежде всего ее командиру — лейтенанту Стрепунину.

Конечно же, командующий видел плохую подготовку десанта. Возможно, знал и еще кое-что. Не станет же он откровенничать с лейтенантом. За первый десант — возились с ним трое суток — пострадал бывший командующий флотилией Дорошкин, снят с должности. Чем счастливее он, Чирков? Не постигнет ли и его та же участь? У командующего есть недоброжелатели (у кого их нет?). Постараются ударить по нему как можно больнее. Да тем же Стрепунинным. Поэтому Чирков относится к лейтенанту скорее сочувственно, чем враждебно. Да и видит в поступках лейтенанта прямое выполнение своего приказа — разведать берег. Только лейтенант из-за усталости и задерганности не замечает этого доброжелательства. Чирков пропустил реплику «некуда было бежать» и стал задавать новые вопросы, стараясь понять самого Стрепунина, какими идеями тот руководствовался в тылу врага, почему не соединился с Лобловым? Командующий хотел определить свое окончательное место по отношению к Стрепунину.

— Была ли какая-нибудь попытка у вас соединиться с первым эшелоном?

— Да. Посылал связных. Один раз. И другой. Двое не вернулись. А другие... Не нашли.

— На батарею, конечно, напали случайно?
— Откуда же нам было ее знать?
— Как держались бойцы — не струсили?
— Хорошо дрались. Мормышкин...
— Да-а?
— Погиб. Забыть не могу. Погорелый, Хомутов...
— Перебежчиков не было?
— Не было. Лишь один.
— Передался?
— Не передался, а как бы это сказать...
— Прятался за других, что ли?
— Не совсем так. По убеждению.
— Не понимаю.
— Баптист он.
— Так что же?
— Не стрелял. Вернулся. В госпитале.
— Потом разберемся.

Казалось, командующий глаз не сводит с подбородка Стрепунина, вот-вот скажет: «Как не совестно было вам, лейтенант, явиться ко мне в таком виде?» Нет, говорит другое:

— Вы обедали?
— Негде было и некогда.
— Пообедайте и...

Вот оно, сейчас начнется нотация.

— ...И приведите себя в порядок. Даю вам два часа.
— Меня...
— Что?
— Ждет Грибков.
— Пусть подождет. Позвоню ему. Идите.

Там растет лук, здесь текут слезы

Два часа для военного человека время достаточное, чтобы привести себя в формепный вид. Прежде всего —

в парикмахерскую. Она тут же, на главной улице, надо и пройти-то всего домов пять-шесть. Еще ближе столовая. Все под рукой. Только обманчив иногда бывает путь. Идет человек по грибы, а приносит слезы.

Парикмахерская оказалась переполненной матросами и солдатами. Стрепунин занял очередь на бритье и пошел пообедать. В столовой кормили по талонам, а их у лейтенанта нет. Пришлось топать обратным курсом в здание штаба. Здесь Стрепунин повстречал Шеронова, своего закадычного.

— А-а, — протянул тот, — полководцу, наследнику Суворова! Рад видеть тебя живым и здоровым. В штабе шторм — волны, пена, туман, горизонт закрыт, берегись — на риф не наскочи. Будь осторожнее, морской волк.

— Спасибо, друг. Буду держаться, пока сохранится хоть обломок стеньги, — в тон тому ответил лейтенант. — А сейчас помоги пообедать. Сутки хожу натощак. Талоны...

— Это у нас — раз, два, три. Пойдем. Да-а. Начальник отделения кадров тебя искал. Шагай в кадры, а я за талонами.

В «кадрах» сидела женщина с малышом на коленях. Нельзя сказать, что была красива. Выдавался нос птичьим клювом, и щеки слишком худы — выступают скулы. Вместе с этим в женщине было что-то привлекательное, проглядывалась интеллигентность в аккуратно собранных в тяжелый пучок волосах, в умном и тревожном взгляде.

Первой мыслью Стрепунина было — за алиментами пришла. Сразу же понял — нелепость. Не за этим сейчас ходят женщины в военные органы.

Малыш играл с плюшевым мишкой и при входе Стрепунина весь засиял, задергался, завизжал щенком и протянул пухлые, перевитые в кистях ручонки вместе с мишкой к Стрепунину.

Мать плотнее прижала сынишку к своему пальто.

— Товарищ... — обратился было лейтенант к командиру по кадрам.

— Стрепунин? Здравствуйте, — прервал тот его. — Со счастливым возвращением. Жена мичмана Хомутова. — Кивок головы. — К вам.

Жена Хомутова. Жена... Стрепунин пытался связать воедино разные концы — мичмана с автоматом и эту женщину с малышом. Как-то плохо удавалось это.

Она стремительно поднялась, услышав фамилию Стрепунин, в ее темных глубоких глазах затаилась надежда и страх.

— Товарищ Стрепунин... лейтенант. Где Сережа? В Буграх? Он ранен?

Она готова перенести его ранение, уже заранее настроила себя смириться с этой жертвой. Только от жены Хомутова требуется большее.

Сам Стрепунин еле держится на ногах, он бесконечно устал, но ко всему пережитому должен впитать в себя еще горе вот этой молодой женщины — матери и жены. И это не самое тяжелое. Он назначен убить в ней всякую надежду. И это убийство совершает:

— Мичмана в Буграх нет.

— Он...

— У немецкого аэродрома.

Оставь ей хоть одну тень от надежды. Она приготовилась к получению удара — щурит глаза, вбирает голову в плечи. Ты, Стрепунин, не совершай его.

Нет, рубит до конца:

— Погиб.

Ее руки медленно слабеют, расцепляются и выпускают ребенка, а тело теряет упругость, надламывается, готовое свалиться.

Стрепунин едва успевает подхватить и ребенка, и ее самое.

Куда-то за огороды бредет лейтенант. В голове винегрет. Нет желаний, тело одолевает беспросветная усталость.

Вздрагивает. Канал. Старый канал! Сейчас, сейчас раздастся на том берегу призывный крик Мормышкина:

— Товарищи, помоги-ите!!

Навстречу идет человек в армейской шинели. Младший лейтенант. Вытягивается. Начинает отбивать шаг, подносит руку к козырьку и неожиданно резко ее опускает.

Механически, бездумно Стрепунин откозырнул и прошел мимо, не вглядываясь в лицо командира. И только пройдя его, оглянулся — что-то заставило Стрепунина оглянуться. Видит — знакомое лицо. Только странно ведет себя встречный — устрашающе смотрит на Стрепунина, надвигается горой — высокий, сильный, беспощадный. Приглушенно говорит:

— Моя фамилия Кудряшков.

— Вы... из десанта?

— Признал меня?

Кудряшков подступает к Стрепунину, навалится — раздавит. Лейтенант, не сознавая, делает полшага назад и еще пятится, пятится. Тот шипит:

— Ты знаешь...

Это «ты» ранит сердце. Не потому, что Кудряшков моложе возрастом и ниже званием, и не потому, что сам он, Стрепунин, уж очень большой поклонник дисциплины и субординации. Со словом «ты» он почувствовал себя как бы отвергнутым, поставленным вне закона и что его теперь может оскорблять всякий. В другое время Стрепунин осадил бы этого здоровенного молокососа, а сейчас выдохся. Нет желания спорить, и нет сил уйти. Так бывают старики беспомощны перед своими молодыми, полными энергии детьми. Все же перестал пятиться, а Кудряшков не смел больше напирать.

И опять раздражающий шип над самым ухом:

— Вся наша группа: ты слышишь — вся наша группа осталась там, на Ореховом берегу. Слышишь?

— Слышу, — эхом отозвался Стрепунин.

— Трое нас. Всего лишь трое. Но и одного меня достаточно, чтобы...

Передергивается нижняя, такая толстая губа Стрепунина.

— За тех, девяносто восемь! Знаешь!

И опять как отзыв:

— Знаю.

— И знаешь почему?

Все то же эхо:

— Знаю.

— Ты, ты всех загубил. Ты! — выкрикивает Кудряшков.

Лейтенант встряхивает головой. Громоздкая фигура младшего лейтенанта заслоняет собой канал. Кудряшков раздельно бьет:

— Пре-да-тель...

Стрепунин смотрит неимоверно расширенными глазами, дико, хочет что-то сказать и не может, рыбой глотает воздух. Рука рвет ворот ватника. С мертвенно-бледных губ слетает:

— Кто я — повтори еще.

— Повторяю — предатель. И на весь город кричу...

— Ты... ты... Да я тебя. — Рука тянется к кобуре.

— Что сделаешь, что! За все отплачу. — Тяжелая рука повисает над головой Стрепунина и... опускается безвольная. Не смел ударить этого, с горячечными глазами человека — больной, что ли... Кудряшков еще не может расстаться с мыслью о мщении, кричит:

— Найду тебя, найду!

Повернулся и пошагал в город.

От черной лужи несет затхлостью. И берега словно обгорелые — безжизненные, черные. Куда идти Стрепунину? Отринутый. Единственная вина его в том, что остался жив. Надо бы умереть вместе с другими на Ореховом берегу. Умереть? Как? Разве он был волен? И как поступить теперь? Хоть бы кто-нибудь дал совет...

Навстречу идет женщина. Знакомое видится в ней Стрепунину. Она. Софа Скорнякова. Он чуть ли не хватает ее за руку, весь оживает — и смеется, и забыто все, и весь он в несказанной радости. Быстро отстраняется, глядит на ее вспыхнувшие щеки, в ее удивленные, скорее тревожные, глаза. С ее лица, казалось, не сошла еще мучительная мысль и только сейчас заменяется другой — неприязненной. И говорит Софа обидное:

— Федор Платонович, вы...

Ответ саркастический:

— Я.

— Больны?

— Здоров, как... как... — не находит сравнения и резко отмахивается рукой.

— Живы.

— К сожалению.

Не замечает Софа иронии, говорит свое:

— А про вас...

— Что про меня?

— Вся наша группа... — вырывается у нее стон из самого сердца. Дальше не может продолжать.

— И моя группа... Там, на Ореховом берегу.

Глаз не отрывает от девушки. Ореховый берег и та страшная ночь оставили на ее лице свой след — оно посерело, вернее побледнело, как у больной, долго не видевшей солнца, стало строже, пожалуй старее.

Девушку обуревают воспоминания, обступают образы погибших. Она отворачивается и проводит носовым платком по глазам. Из души идет упрек:

— Никто не пришел на помощь. Никто. Ни из Осиновца, ни из Ладоги. И вы...

Не следовало бы Софе этого говорить. Да, измоталась. Чувствует же — со Стрепуниным явно неладно. Надо бы утешить его, а она не выдержала, упрекнула.

Да и ты, Стрепунин, не возражай. Вытерпи, объясни, Софа поймет с полуслова, поверит. Она всегда верит тебе. Что поделаешь — слаб человек, не может выдержать, весь гнев выплескивает девушке в лицо:

— И я не пришел к вам на выручку. Не захотел! Судите как хотите!

Зачем же так грубо, откройся ей.

И он начал проникновенно — так выступает адвокат, желая убедить судью:

— Люди вашей группы были настроены против меня. Их можно оправдать. Ждали помощи. В первую очередь от моей группы. Мы не пришли. Меня объявили предателем. Но ты-то можешь меня понять.

Нет, она еще его не понимает. Погибшие заслоняют собой Стрепунина, снова девушка испускает стон:

— Но почему же, почему ты не пришел?

— Выполнял задачу. Командующий приказал. Пойми, задачу...

— Эх, задачу... А нас оставил, оставил...

Не понять ей его, и он шипит и трещит, как масло на раскаленной плите, глаза сужены, брови сдвинуты, зубы сцеплены, вот-вот размахнется и ударит. И ударяет:

— Сгубить вас захотел! Раньше всех его — моего соперника.

— Молчи!

— А твоего...

— Федя!

— Твоего любовника!

— Ах!

— А-а, сладкая ночь. Была бы слаще, да я подперчил.

— Зачем, зачем клевещешь. Ты же сам видел... И он не такой.

— Кто зарезал операцию? Он, только он.

— Неправда, неправда!

— Правда!

— Ты же не знаешь...

— Знаю. Я все знаю. Флиртовал, шаромыжничал.

— Он погиб. Честно. И другие...

— А я вот — бесчестный. Не дался пуле. Только ты не огорчайся. Меня доконают. Здесь.

Она и слушала его, да не слыхала многое. У нее свое:

— Оскорбил меня. Зачем ты это сделал? Зачем?

Он совсем опустошился — ни сарказма, ни злости не осталось, в словах уже слышалась мольба:

— Разве ты не видишь...

— Так грубо со мной...

— Я же тебя...

Хватает ее за руки, пытается притянуть к себе.

Она вырывается, откидывает голову и прячет за спину руки, повторяя:

— Нет, нет. После такого... нет. — Пятится, боясь лихорадочного взгляда Стрепунина. Поворачивается и почти бежит прочь.

Он порывается догнать ее, спешит, но сердце заполняет беспросветная горечь, и он останавливается и смотрит на удаляющуюся девушку до тех пор, пока она не скрывается за углом дома. Потащился в другой конец канала. Подсознательно пошел все же к цели — оказался на улице Карла Маркса. По привычке отдавал честь старшим командирам и отвечал на приветствия младших.

Вошел в парадное дома. Поднимаясь на второй этаж, заметил надломленную точеную балясину. Ударил по ней сапогом. Она выломилась и с грохотом полетела вниз. В перилах образовалась неприятная дыра, будто в колоннаде, поддерживающей фронтон здания, свалилась колон-

па. Стрепунину хотелось разрушать. Искал скандала. С этим желанием и распахнул дверь парикмахерской.

Побрился

Тут стояла тишина — спокойная, приятная. Часы-ходики отбивали такт. Чикали ножницы. Клиенты в шинелях и бушлатах читали газеты, книжки или предавались мечтаниям. Пожилая и полная парикмахерша кружилась белой птицей над моряком, у которого рукав кителя перерезался тесьмой в четыре яруса. Моряк любовался своим отражением в зеркале и блаженствовал, готовый, казалось, сидеть здесь без конца.

— Вовремя вы, товарищ лейтенант, — сказал он Стрепунину. — За мной ваша очередь. Все тут предупреждены.

И один из матросов подтвердил:

— Да, товарищи. Сейчас очередь лейтенанта, а я — за ним.

Ответом были недовольные вздохи, сопения.

Присел Стрепунин, насупленный и вспученный, как туча, готовая разразиться грозой.

За дверью загромыхало, застонало. Задрожали стены комнаты — кто-то шел, сильный, торопливый.

В комнату ворвался командир — высокий, весь блестящий золотом и хромом.

Матросы и солдаты вскочили. Руки — по швам, глазами едят вошедшего.

Забеспокоился, задергался старшина второй статьи на стуле. Завертел намыленной щекой моряк перед зеркалом.

Застыла парикмахерша с бритвой в руке.

Лишь Стрепунин сидел в нарочито небрежной позе, выставив кирзовые сапоги.

Вошедший резанул его взглядом и туда, к зеркалу:

— А ну, главный, быстрее.

Сел свободно, по-хозяйски.

Матросы и солдаты перетаптывались на месте и лишь исподволь, с опаской садились на краешек стула или табуретки. Двое-трое боком, боком подались за дверь.

Заспешила парикмахерша, только хруст шел из-под бритвы, словно ломали хворост.

— Вам компресс?

— Нет.

— Освежить голову?

— Нет.

— Лицо?

— Да. Только прошу почаще, руками почаще работайте.

Та и без просьбы работала «часто», чуть пошипела пульверизатором, пропитывая комнату стойким запахом дешевого одеколона, помахала полотенцем, и все. Очищай место, главный.

К стулу, оставленному главным старшиной, заспешили двое — пришедший командир и Стрепунин.

Все почуяли — быть скандалу. Стрепунин кипел, губы его то выпячивались до предела, то растягивались, и от этого кожа на лице двигалась.

— Вы что, лейтенант, ослепли, не видите, кто идет?

— Простите, товарищ капитан-лейтенант, но...

— Никаких но. — Тот своим телом оттолкнул Стрепунина и сел в кресло.

Задохнулся Стрепунин:

— Моя очередь.

За спиной шепот: «Комендант, комендант».

Где там, Стрепунин конем, закусившим удила, несется, не видя света:

— Прошу освободить кресло.

Капитан-лейтенант посмотрел на Стрепунина загадочно и с ядом. Спросил:

— Мне освободить?

— Именно. Прошу.

— Вон как. Вы мне приказываете или на каком другом основании?

— На основании Конституции, перед которой все равны. Моя очередь.

— Ха-ха. Конституционалист нашелся. А ну посмотрим, как хорошо ты знаешь ее статьи. — Он поднялся. — Конституционалист. Освобождаю. — И гаркнул, как перед ротой: — Стать смирно!

Зазвенели стекла, повскакали военнослужащие.

— Где форма? Как одет?! — орал капитан-лейтенант. — Пойдемте со мной.

— Никуда я не пойду, — со срывом говорит Стрепунин. — Мне приказано...

— В комендатуру. За мной!

Оглушенный и взвинченный, Стрепунин помимо воли идет за комендантом. При спуске по лестнице замечает выломленную балясину. Вот этак и с человеком — вышибут из строя, и останется дыра. А может, и совсем не так. Никакой дыры и не будет, заполнится другими.

Отпущенные Стрепунину два часа были на исходе. Пойдешь в комендатуру — не выполнишь приказа командующего, а не пойдешь в комендатуру...

Из двух зол Стрепунин, как ему казалось, выбрал меньшее — разошелся с комендантом путями: тот свернул вправо, а Стрепунин — влево, заспешил вдоль Гостиного двора.

— За мной! — разнеслось громоподобно по улице.

Никакой окрик не смог уже остановить лейтенанта.

Так меня воспитали

Ни одной минуты не потерял даром Грибков. Еще перед первым опросом Стрепунина успел перебросить двумя-тремя словами с десантниками, приехавшими на

одной машине с лейтенантом. Теперь Грибков допросил бойцов скрупулезно. Они дали довольно любопытные показания, охарактеризовали Стрепунина не только как командира, но и как человека. В понятии Грибкова Стрепунин оказался жалостливым и в какой-то мере бесхребетным. Если же дать ему политическую оценку, то это будет типичнейший «гнилой либерал». Только человек с размягченным нутром мог так мокроглазо отнестись к баптисту Инокентьеву и Шиморскому, сыну бывшего кулака.

К Грибкову пришел Стрепунин присмиревший. Все такой же обросший, с запекшейся грязью на сапогах. Где он был два часа, этот неряшливый и анархичный воитель? Но что-то со Стрепуниным случилось, попал в какую-то новую передрягу — это не могло укрыться от Грибкова, недаром тот возвратился такой овечкой. Не так себя вел на Ореховом берегу, пренебрег святым правилом советского воина — сам погибни, а товарища спаси. Покарать его надо, строго покарать, пусть знают все — не избежит человек возмездия, когда преступит закон товарищества.

Все же Грибков порой сочувствует Стрепунину, жалеет его. Что-то в нем есть такое, что сродни самому Грибкову. Может быть, жалостливое, горячее сердце. Стрепунину это в какой-то мере простительно. Но горячее сердце в груди следователя — это уже большой порок, который надо беспощадно истреблять. И Грибков старается вырвать из себя малейшие ростки жалости. Ум, один ум, холодный, аналитический должен быть господином. Грибков обоснует виновность Стрепунина с такой щепетильностью, что не придерется ни один судья-педант.

Сидят друг против друга, дымят. У Стрепунина нет своих папирос, курит грибковские.

— У вас, Стрепунин, было время поразмыслить. Изменился ли ваш взгляд на свой поступок? Поступок на Ореховом берегу? Фашисты уничтожали ваших товарищей, а

вы в это время спокойно отсиживались на болоте. Признаете ли вы неблаговидность своих действий?

Спасения Стрепунин не видел, обстановка сложилась против него, он заранее обрек себя на тяжкие испытания, а потому решил стойко держаться до конца. Только бы не заслюнтяйствовать. Стоять неколебимо! Раз ты сам считаешь поступки свои правыми, то не извивайся ужом, будь прям и стоек. На эту струну он себя настроил. Все возможно — настройка получена им еще от майора. Отвечает старшему лейтенанту:

— Командующий флотилией приказал — разведать Ореховый берег боем. Разведал. И комиссару говорил... Что говорил? Нанести урон врагу — вот что. Так и настроил себя. Мои действия плохи — ругайте, оплевывайте. А я не буду, не буду!

— А давайте-ка подойдем к вашим действиям с другой стороны, со стороны беспристрастного наблюдателя. Что он скажет? Будем считать — командир десанта майор Лоблов тоже виноват, не сумел переправить группу за каналы. И вот сложилась обстановка — между озером и каналом погибает группа, ваши товарищи погибают. Обязаны ли вы были им помочь? Конечно обязаны. А вы создали свою схему и поставили ее выше традиций и законов. Кто вас так воспитывал?

— Совсем не так. А воспитали меня родители и Советская власть.

— Что касается ваших родителей, пусть это лежит на их совести. Но партия и Советская власть учили вас другому. Чему? Товариществу, чувству локтя. Поставьте себя на мое место — как бы вы поступили?..

...Валенков вспыльчив, но у него отходчивое сердце. Он уже начал раскаиваться, что круто обошелся со Стрепуниным. Десантная операция сожрала двести человек

или почти двести, а Стрепунин хоть бы стерпел упреки. Строевая выправка ниже всякой критики. На язык не воздержан. Анархист...

Командиры штаба шли к Валенкову непрерывным потоком и несли ему свои просьбы, жалобы, бумаги на подпись. Валенков выслушивал командира, удовлетворял его просьбу или отказывал, подписывал бумагу или заставлял ее переделать, но все время думал о Стрепунине. Надо непременно поглубже разобраться в его участи. Пусть Грибков ведет следствие, но он, Валенков, сам должен видеть каждый шаг лейтенанта и знать мотивы, которыми тот руководствовался. Начальник обязан быть объективным и мудрым, выбросив все личное, как с корабля ненужный балласт.

Потянулся было Валенков к телефонной трубке, чтобы спокойно высказать Грибкову свои соображения по делу Стрепунина, как в кабинет ворвался комендант. Рука начштаба так и осталась лежать на трубке.

Комендант — это слабость начальника штаба, всегда рад его видеть. Выправка, бурная энергия, веселый нрав капитан-лейтенанта — все нравилось Валенкову. Вот и теперь комендант вбежал возбужденный, запыхавшийся и бравый. Но странное дело, на этот раз Валенков не хотел его видеть, даже испустил вроде стона — ы-ы — и сухо спросил:

— За кем гнались?

— Сюда побежал, товарищ начальник. Лейтенант. Щуплый такой. В стеганке и кирзовых сапогах. Удрал. В штаб.

— Уж не Стрепунин ли?

— Он, Стрепунин.

— Что же натворил? — Снял руку с телефона, указал на стул. — Так что же?

— В парикмахерской. Был не по форме. Нагрубил мне. В нем ничего нет военного.

— Ну?

— Пригласил его в комендатуру, а он зайцем в кусты. Не по форме.

— Не по форме, не по форме. У него, должно быть, и формы-то нет. В Оспиовце осталась. А если бы и здесь была... Что из того. Он только что с Орехового берега.

— Но он меня оскорбил.

— Положим, вас не особенно-то оскорбишь. Вы, как чугунный шар — с кем бы ни столкнулись, всякий получит вмятину.

— Товарищ капитан второго ранга! Так вы меня аттестовали. Да неужели моя служба... И если все так будут, как этот...

Что же Стрепунин за человек? Куда бы ни сделал шаг — всюду наследит. Доброе чувство к Стрепунину, пробудившееся было у Валенкова, стало иссякать. Невольно вырвалось:

— Что мне с ним делать?

— Арестовать, — подсказал комендант.

— Он и так почти арестован. Под следствием.

— Нельзя же оставить такое без...

— Хорошо, хорошо. Пока лишим его оружия. Но вы все же расскажите, в чем конкретно выразилось оскорбление?..

...Грибков продолжал допрашивать Стрепунина. Туго подвигалось дело, приходилось пробираться сквозь дебри хитроумных вопросов и уклончивых, как Грибкову казалось, ответов. Телефонный звонок прервал допрос.

— Да, Грибков. У меня. Коменданта? Так-так. Есть.

Разговор Грибкова по телефону Стрепунин прослушал как-то вяло, будто бы это к нему вовсе и не относилось. Он как бы еще больше сосредоточился, спрессовался, даже и наружно сжался — втянул голову в плечи, подобрал ноги под стул.

— Дайте сюда оружие, — сказал Грибков. После длинной паузы ударил кулаком по крышке стола.

Нетерпение могло овладеть и более флегматичным человеком, чем Грибков, — уж очень Стрепухин медленно расставался с наганом. Неторопливо вынул, отстегнул от ремешка и осторожно, как бы боясь разбить, положил на стол. Тут же спросил непокорно:

— Что еще?

— А вот что. Вы чистый рабочий?

— Нет. Гибрид.

— То есть?

— Дедушка плотничал. Отец формовал. Бабушка и мать работали в поле.

— Каким владели имуществом?

— Имели дом, лошадь, корову, овец, поросят.

— Батраков не держали?

— В нашем поселке не было батраков. Кто нуждался в работе — шел на завод.

— И кулаков не было?

— Представьте.

— Тогда непонятна ваша особая милость к их сыну. Не делайте удивленного лица. Я говорю о Шиморском.

— Шиморский, а-а. Что же я должен был с ним делать?

— Он вернулся?

— Хотел вернуться.

— Остался на Ореховом берегу? Так говорите же!

— Убит миной.

— Убит... Как ловко у вас получается. Во всем вы правы. А дело с баптистом? И он убит?

— Баптист в госпитале.

— Этот жив, значит. Трогательно, нежно к нему отнеслись. Вы верующий?

— Я — коммунист.

— Не прикрывайтесь партбилетом. Всякие, знаете ли, бывают. Говорите откровенно.

— Я сказал все, что знал.

— В ваших показаниях отсутствует душевность.

— Для душевных разговоров нет условий. Там предполагается равенство. А где оно? Вы отобрали у меня оружие и можете отобрать все, что захотите. С моей стороны ожидается разве только покаяние. А грешной Магдалиной я себя не считаю.

— Так что же — вы не хотите откровенно говорить?

— Отвечал на все вопросы.

— И не так ответите. И не таких заставлял. Почему скрыли случай с сектантом?

— Доложил.

— Кому?

— Командующему. — А сам тронул колючки на подбородке. Не выполнил приказа — стыдно.

— Проверю.

— У меня к вам просьба.

— Да?

— Разрешите сходить побриться. Мне приказано, а я не выполнил. Потом хоть всю ночь.

— Никуда не пойдете. Вас постригут и побреют на казенный счет. Расколешься!

«Расколешься!..» Да что же это? Кажется, сдали нервы. Грибков устыдился своей вспышки. Но как тут удержишься! На прошлой неделе взорвалась баржа с боеприпасами. На воздух взлетело семьсот шестьдесят тонн взрывчатки, противотанковых бутылок с горючей смесью и мин. Пирса будто и не бывало, в районе двух километров в поселке все стекла повылетели из окон. Причина взрыва не установлена. Даже опросить некого. На Ладогу приезжал сам Модебадзев. Сказал:

— Враг силен, коварен и беспощаден. У него десятки шпионских школ — разбросаны по всей Европе. Даже под

боком у нас, в Эстонии, в селе Печки обучают шпионов и засылают сюда. А мы ротозейничаем, не видим врагов под самым нашим носом. Нет должной отдачи в работе. Я говорю — отдачи нет. Либеральничаем. Потеряли чекистское чутье. Я требую...

У него, Грибкова, как-то особенно мало отдачи. Редко попадается явный преступник — дезертир, предатель, шпион. Нет, больше разбирает дела неясные, подследственные какие-то, ни то ни се — старшина первой статьи Дубровин, а теперь вот Стрепунин. Время идет, но дело стоит. Грибкову уже довольно прозрачно намекали, что в его работе большое место занимает чувство. Всегда у подследственных находит много смягчающих вину обстоятельств. Так и сейчас. К делу Стрепунина легко бы статью подобрать, пусть потом судья решает — осуждает или оправдывает. Вернее всего — дружка милого вторично препроводили бы в штрафбат. Так и надо, есть за что.

А рядом — сомнения. Десант разгромлен. Но много ли виноват в этом Стрепунин? Он боролся, уничтожил батарею. За такое дело даже со штрафника снимают судимость, а в более доброе время его и награждают. В поступке Стрепунина нет явной вины. Зачем же идти против своей совести? Стрепунин, пожалуй, достоин лучшей участи. Прекратить дело...

Прекращу. Скажут — не справился. На мое место пошлют другого. И тот закрутит гайку. «Мало отдачи...» Пусть. Доведу уж до конца...

Дверь распахнулась, и в ней, как в раме, стал Шеронов.

— Вот ты где, — начал он. — Ношусь по штабу с талонами. Как же без обеда?

Грибков ему железно:

— Закройте дверь с той стороны. Ну!

— Простите, простите, — зачастил Шеронов. — Я от командующего. Стрепунина срочно к нему.

— Никуда.
— Приказано.
— Хорошо. Пойдемте вместе.

Стрепунин повел пальцами по щетинистому подбородку — не выполнил приказа. «Э-э». — Он махнул рукой.

Резкий поворот

Валенков и комендант только-только зашли, еще стояли, заслоняя собой стол. С появлением Грибкова и Стрепунина в кабинете стало тесно.

— Садитесь, — пригласил командующий, — в ногах правды нет.

Начштаба с комендантом сели. И Грибкову жестом руки командующий указал на стул. Стрепунина обошел приглашением, хотя это лейтенант счел естественным — с отверженными так и поступают. Инцидент в парикмахерской, конечно, пошел не в его пользу. Разве не для расправы с ним, Стрепуниным, пожаловал сюда комендант? Нестрашно. Для него, Стрепунина, заготовлена более сильная кара, и наветы коменданта мало чего к этому добавят. Наружно Стрепунин был спокоен, а кое-кто назвал бы его бесчувственным.

Настроение командующего невозможно было определить — ровен, невозмутим, разве лишь улыбаться перестал: десант продолжает висеть колосником на шее. Чуть вытянутый подбородок командующего в синеве, хоть и хорошо выбрит, но густая растительность дает себя знать — изнутри пронизывает чернотой кожу. В глаза невозможно ему смотреть — горят и слепят Стрепунина. Чего от него хочет, зачем призвал? Ах, комендант...

— Что же вы, лейтенант, продолжаете ходить Черномором. Или в бороде сила?

Ирония в голосе командующего или открытая неприязнь — не понять.

Хотел бы Стрепунин закрыть щетину, да руки опущены.

Комендант развернул плечи, повел длинным носом, заторопился высказаться:

— Разрешите...

Командующий жестом прерывает коменданта и опять Стрепунину:

— У вас времени не хватило?

Тот покачивается. Расставляет шире ноги, смотрит исподлобья, и только на командующего. Хрипло цедит:

— Очередь поломали...

— Поедете в Ленинград, в штаб фронта. Только не в таком виде, конечно.

Вместо того чтобы сказать: «Есть!» — Стрепунин выпаливает:

— Зачем?

Приседает на одну ногу, сжимает ладони в кулаки — мальчишка невыдержанный.

— Зачем едете — узнаете на месте. Идите в строевое отделение и будьте готовы... — К начальнику штаба: — Когда отходит пароход? В двадцать два ноль-ноль? Так вот, к этому времени, лейтенант, и быть на пароходе.

Наконец-то ответил по-морскому:

— Есть!

— Вы что-то хотели, комендант?

Того не захватишь врасплох, рапортует:

— На базарной площади, товарищ командующий, мною задержаны два матроса. Торговали махоркой и консервами.

— Идите, Стрепунин.

Лейтенант мог бы торжествовать по поводу маленькой победы: комендант не осмелился доложить командующему про случай в парикмахерской — человек натерелый, умеет держать нос по ветру. Только где уж Стрепунину было думать о победе, есть о чем поразмыслить

над другим — что ждет его в Ленинграде? Он повернулся, громыхая сапогами. При повороте все же заметил рукоятку своего нагана в кармане Грибкова. Не отдают оружия, вроде как бы разжаловали.

Грибков порывался что-то сказать командующему, но тот занялся комендантом.

Ушел и комендант.

— Чем нас порадуете вы, старший лейтенант?

— Прошу вас, товарищ командующий, задержать Стрепунина. Не посылать в Ленинград.

— На каком основании?

— Дело его очень неясное. Сами бы лучше разобрались.

— Нельзя ли понимать ваши слова как защиту Стрепунина?

— Не полная защита, но все же.

— Еще что?

— О Дубровине. — Грибков нетерпеливо перебирает в планшетке. — О старшине первой статьи. Который радиограмму задержал, погибла баржа и с ней триста пятьдесят...

— Помню, помню.

Грибков пытается положить исписанные листы перед командующим, но тот отстраняет их:

— Подождите, лейтенант, повременим.

— Как? Опять? Что же я доложу своему начальнику?

— Сошлитесь на меня. Сам вас вызову. Скоро. Еще что? Тогда прошу. — Командующий жмет Грибкову руку.

Выходит Грибков, и китель на его плечах оттопыривается углами.

У начштаба резко обозначился провал губ — признак старости.

— И я против посылки Стрепунина в Ленинград. Флотилия — свой дом. Есть мусор, но зачем его выносить

на улицу? Людей с Орехового берега не вернуть, но Стрепунин много сделал и хорошего.

Не выносить сора из избы — правильно говорит начальник штаба. Стрепунина в Ленфронте допросят, и вскроются такие картины, которые лучше бы чужому глазу и не видеть. Решение о дневной высадке десанта принял он, командующий флотилией. Десант уничтожен. Виноват в этом прежде всего он, Чирков. Он первое лицо на флотилии, ему и главная «награда». Конечно, лучше попридержать пока Стрепунина. Найти причину всегда можно — болезнь или что другое. Сказал же командующий вот что: «Мы не знаем, с какой целью Ленфронт вызывает лейтенанта. У нас же нет причин его задерживать».

После неловкой и продолжительной паузы Валенков спросил:

— Что раньше докладывать: план обороны баз или план перевозок?

— Давайте, пожалуйста, о перевозках.

В пути

Наконец-то Стрепунин может поесть. Ужинает. Наверное, готов тарелку проглотить? Немного не так. Хлебает вяло — не лезет в рот крупяной, на мясном отваре суп. В другое бы время, да, в другое время... Только не теперь. Аппетит притупился, голова отяжелела, тело безвольное, ватное какое-то.

Рядом Шеронов. Тот усердно работает и руками, и ртом.

Стрепунин к нему:

— Для чего — не знаешь?

— Знаю.

— Говори.

— Молчи.

— Я серьезно, Борис.

— За едой вред-дно. Можно по-подавиться.

— Мне совсем не до шуток. Так зачем же?

— М-надо полагать — за получением ордена.

— Какой там орден. Вроде как бы арестован.

— Откуда видно?

— Не сленой же я. Вон сидит младший лейтенант, да вон у окна.

— Эт-то же твой коллега, десантник.

— Да, десантник. Кудряшков. Тенью за мной крадется. Негласный надзор. Возьму вот и сдезертирую.

— Ты сбежишь?

— Я.

— Сам же и придешь на свое лобное место.

Звенит и прыгает брошенная ложка, дребезжит тарелка.

— Ничего не хочу. Дай, Борис, лезвие.

Принесли гречневую кашу с подсолнечным маслом. Шеронов принялся за нее вдохновенно — жевал, глотал и говорил:

— Чего не ешь? Желудок, брат, дает настроение всему телу. Эт-то, э-то смычок, как им водишь, так и скрипка играет. Не нравится сравнение? Хорошо, вот и другое. Живот — наша топка, сколько в ней топлива, столько и пару в котле. Одна беда — тощает камбуз. Суп с каждым днем становится прозрачнее, а каша размазистей. Ленинград затянул на животе ремень. Бадаевские склады сожжены. Там громыхнуло, а эхо здесь отозвалось. Смотри, какая порция — как лиса журавлю. Так и не прозимуешь.

— Бери мою, — сказал Стрепунин безразлично.

— Э, нет, сам, сам. В сытом теле здоровый дух. В здоровом теле? Пусть так. Ешь, запасайся жиром. Еще не известно, как долго будут тебя трясти.

— Скажи мне откровенно, Борис, видишь ли ты за мной вину? Только откровенно.

— Конечно, вижу. Возвел сам себя в ранг полководца — ходит по тылам, громит батареи без каких-либо директивных указаний. Самоуправство. Ну, ну, не трогай ножик, он здесь ни при чем. Если хочешь знать — вот мое мнение. Плохо ли, хорошо ли, но ты дрался. А война что от нас требует? Биться смертным боем. Ты это и делал. Пусть судят тебя прокуроры. Им тоже надо оправдать свой хлеб.

Вилка застыла в руке Стрепунина, с вилки киселем сползает каша. Оживился лейтенант, заговорил:

— Много хороших людей на свете, Борис. В штрафном я было совсем сошел с курса. А он мне и говорит: «За что он попал в штрафной? Спился». Жену очень любил, а та его бросила. Еще до войны. Вот и потерял меру. Командовал артдивизионом. Фашистские танки учинили ему погром. Ну и послали его на исправление». В какой-то час тоска меня заела — хоть в петлю. Он и говорит: «А чего, собственно, ты хочешь, Стрепунин?» Говорю: «Чего уж тут хотеть». А он: «Идет война. Рядом с нами дезертиры, мазурики, воры... Но мы-то с тобой... Кто мы? Сказать — честные люди? Конечно, честные. Только это фарисейством отдает: бить себя в грудь и говорить — я не такой, как вон те, другие. Так кто же мы? Назвать нас несчастными тоже нельзя. Попали на фронт — вот какая невидаль. Да сейчас от Балтики до Черного моря — миллионы. Так давай и мы воевать...» Майор он. И фамилия самая рядовая — Степанов. Остался там, при расширении коридора. Снарядом голову ему оторвало. Это странно, видеть тело без головы. Дашь мне лезвие?

— Ешь.

— Не могу. Бери, если хочешь.

— Намусорил, а мне подчищать. Ладно, давай.

— А лезвие?

— Вот пристал. Уж не чирикнуть ли себя хочешь? Не советую, брат. Коль скоро торопишься залезть в де-

ревянный бушлат, то поступай по-военному, оружие выбирай подходящее. Удавиться, принять яд, прыгнуть с четвертого этажа — все это неблагородно. Пуля — вот достойная утешительница нашего брата. Это возвышенно, это мужественно.

— Наган отобрали.

— Небольшая беда. Возьми вон мой ТТ. Все. Пошли. Дам тебе лезвие. И не одно — два.

...Бьется под ногами машина, бормочет за кормой винт, плещется о берег волна. Пароход отвалил от пристани, спустился по Волхову и вошел в Новый канал с левого берега реки. Вода маслянисто блестит, предметы на берегу расплылись. Чувство такое — плывешь по земле.

Небо за кормой загудело, затревожилось. Воздух пропороли зенитки. Трассирующие снаряды исполосовали тьму. Над Новой Ладогой повисло солнце. Осветились колокольни, здания... Берега канала раздвинулись, отчетливо вырисовались деревья и кустарники.

Взрывы авиабомб показались Стрепунину слабыми, подобно шутихам на карнавале.

Ракета погасла, не дотянув до земли. Все снова закуталось в сумрак. Ночь постепенно засыпала.

Пароход шел тихо, словно силы его были на исходе. И волна плескалась вяло, как полуживая. Шли к Ореховому берегу, и это казалось неправдоподобным. Канал тот же, что и там, такие же валы по обе стороны, та же растительность. И все же это другой канал.

Прозяб Стрепунин. Пошел в зал. Там светло. Командиры, матросы и солдаты обоего пола сидели и дремали. Нет мест.

— Идите сюда, лейтенант. Как-нибудь.

Его звала девушка, такая беленькая лицом, прямо Снегурочка, кажется, единственная в гражданском наряде — короткой рыжей шубке. Стрепунин втиснулся между

девушкой и старшиной-сверхсрочником, ощутив тепло девичьего тела и почувствовав запах духов.

Девушке скучно, ей хочется говорить. И говорит. О своем отце, уехавшем на войну, о школе, которую окончила прошлой весной, о маяке, где живет вместе с матерью.

В воображении Стрепунина другая девушка. Позади допросы. А впереди что? Он не может подавить вздоха. Девушка участливо спрашивает:

— У вас беда? Расскажите мне.

Стрепунин находился, словно бы в бреду, хотел бы вырваться из него, очнуться и не мог. Так и тянулись часы — нудные, бесконечные. И пароход какой-то невсамделишний, идет, а как бы и не идет — не накренится, не покачнется от волны или ветра, только в утробе наблюдается ритм — что-то бьется.

Кудряшков сидит против Стрепунина, как тень его. Зловещая тень.

Командирам и генералам встать!

Здесь все несет на себе защитный цвет. Панели стен покрашены медянкой. Сукно зеленеет на столе. Стулья обиты рисунчатой тканью, похожей на малахит — с прожилками. Вокруг Т-образного стола зеленые мундиры, правда, зелень их тусклая, ближе к серой. Сидят люди, скрипят ремнями, редко у кого здесь в петлицах шпалы, а то все звезды да ромбы.

Шагах в трех от стола заняла место трибуна. В нее как бы врезана лысая голова. Видны две звезды в петлицах. Раскатистый бас генерала наполняет собой зал. Генерал часто смотрит в бумаги, лежащие перед ним, а больше... не на слушателей, а вбок, на председателя и его петлицы, в которых горят целые созвездия. Для него, человека с жидкой шевелюрой и плотно сжатыми челюстями, лысый генерал, кажется, и читает доклад. Да и боль-

шая часть слушателей смотрит не на оратора, а все на него, человека с горстью звезд в петлицах. Потупляются, когда встречают его твердый, как штык, взгляд.

Генерал докладывал:

— На участке Петергоф — Красное Село фашисты сосредоточили... На участке Красное Село — Пушкин гитлеровцы имеют...

Председатель не слушал. Все, что докладчик говорил, ему давным-давно известно. Огромный лоб как бы давил на щеки, и они под его тяжестью словно сжались и образовали две очень заметные складки — от крупного, приплюснутого носа до уголков плотно сжатых губ, а мощный подбородок будто бы треснул, образовав углубление. Лицо председателя было жестким, что усиливалось густыми и очень нахмуренными бровями. Общее суровое выражение лица все же немного смягчала ямка на подбородке. Она даже придавала лицу оттенок печали. Было видно: человек решает задачу, не может решить и знает — должен решить, обязан решить, и в очень короткий срок. Может быть, отсюда и идет хмурь и, пожалуй, явная жестокость в лице.

Неуверенно отворилась массивная дверь, и в нее вошли двое. Оба средних лет, у того и другого по четыре шпалы в петлице. Один, высокий, подтянутый, типичный строевик. Его товарищ невысок, в чертах лица заметна мягкость, да и вся фигура округлая, гражданская. По катушкам на рукаве видно — комиссар.

Высокий еще выше взбросил голову, длинные руки опустил по швам, повернулся на каблуках лицом к председателю и отчетливо стал рапортовать:

— Полковник Гореватов. По вашему приказанию, товарищ...

Нос и губы председатель свел к одной точке, глаза от напряжения сузились, взгляд вонзился в полковника. Тот потерял дар речи.

Онемел и генерал на трибуне.

— Почему опоздали? — спросил председатель тихо, но от этого тихого голоса стыла кровь в жилах.

Полковник, должно быть давно отвыкший кланяться пулям, сейчас потерялся, с дрожащих губ срывается:

— По-положение восста-анавливал, товарищ...

— Где?

— Под Поповкой.

— Восстановили?

— Восста... Не-е совсем. Поповка осталась...

— У кого осталась Поповка?

— У... у противника.

— Та-ак. А приказ. Каков был приказ?

Полковник обреченно смотрел на председателя.

— Я спрашиваю вас — приказ был каков?

— Не отходить, — безнадежно говорит полковник.

С неожиданной быстротой и для полного тела и для пожилых лет председатель поднялся — широкий, мощный. Звонкий голос с небольшой хрипотцой разбежался по залу:

— Товарищи генералы, командиры и политработники! Прошу встать!

Курчавые и оголенные головы, грузные животы, стройные фигуры — все поднялись, все замерли.

Председатель едва заметно тряхнул головой в сторону вошедших и голосом, бьющим по сердцу, как набат, сказал:

— Начальник штаба — оружие отобрать!

Не по-военному, замедленно полковник просунул пряжкой ремня и вместе с портупеей и кобурой подал пистолет начальнику штаба — крупному, высокому генералу.

Комиссар был четок, будто на учении, без видимого волнения выполнял раздельно: раз — отстегнул ремень, два — вынул наган, три — протянул его начальнику шта-

ба, протянул истерпеливо, словно говоря: «Нате. Все равно вы не правы. Не правы!» — И взгляд у него был горящий, негодующий.

Комиссар повернулся заядлым, вымуштрованным солдатом, с пристуком каблуков, и твердо прошагал в дверь. Полковник пошел неуверенно, сгорбившись. Ему было стыдно, этому старому воину, с таким позором изгнанному из строя.

За ними проследовал начальник штаба.

Многие тут, стоящие у стола, не верили в реальность происходящего.

Отрезвил всех голос председателя:

— Прошу садиться. Товарищ генерал, продолжайте.

В это время Стрепунин и Кудряшков ждали пропуска в здание штаба фронта.

В городе

Вот и получен отдых, отвязался Стрепунин от своего двойника — Кудряшкова. В штабе фронта ладожцев не приняли. Вышел к ним подполковник и сказал:

— Завтра к десяти. Пропуска будут готовы. Обедали? Тогда вот талоны. На Литейный, в ДКА.

Сел Стрепунин в трамвай и вскоре оказался на Дворцовой площади. Воспоминания захватили его в свой поток. Здесь он не однажды демонстрировал в колонне КИЖа. Видел на трибуне Сергея Мироновича, а потом уже, в другое время, глубокой декабрьской ночью, прощался с его телом в Таврическом дворце.

Мимо проходил строй пехотинцев. Размеренно и глухо отзывался асфальт. В солдатах не чувствовалось обычной лихости и задора — только суровая сосредоточенность. Да и сам город казался воином-богатырем, закутанным в маскировочный халат. Светило закатное солнце, но Адмиралтейская игла и купол Исаакия не слепили глаз, как

это было в свои дни — золото тщательно замазали краской. Не видно ни Петра Первого, ни его вздыбленного копя — все упаковано в деревянную пирамиду. Исцвстренные красками дворцы и жилые дома потеряли свои пропорции и стройность...

С грустными думами побрел Стрепунин на Литейный проспект, в Дом Красной Армии. В столовой было чисто, тепло и светло. Остро пахло горчицей и луком — это напоминало о хорошем, но давно прошедшем, довоенном. Посетителей немного — все военные. Одиноко сидел армейский капитан.

— Разрешите? — сказал Стрепунин.

Тот согласно кивнул.

Лишь теперь, усевшись за стол и ожидая обеда, Стрепунин пожалел, что не получил вчера сухого пайка. Сейчас обратил внимание на хлеб: в одной порции два куска, в другой — три, в том числе и горбушечка, пухлая, поздроватая.

Официантка подала суп. Капитан не притрагивался к нему и не брал хлеб, предоставив право выбора Стрепунину, конечно же надеясь, что лейтенант будет вежлив, не польстится на три куска и предоставит их ему, капитану. Но и Стрепунин не спешил с выбором порции и стал хлебать суп без хлеба. Стрепунин был голоден, живот требовал трех кусков.

Взял все же два и быстро их проглотил.

Капитан съел горбушечку и маленький кусочек.

Второе блюдо, котлету с бобами, и капитан, и лейтенант тем более — у него не было — ели без хлеба. Да и ели оба одни бобы. Капитан разрезал третий кусок хлеба на два ломтика не толще ножа и вложил в них котлету, бережно обернув получившийся бутерброд обрывком газеты. Газетой он поделился и со Стрепунипым — надо было и ему во что-то завернуть свою котлету.

Командиры поглядели друг другу в глаза и чистосердечно рассмеялись — оба оказались в одинаковом положении и действия их совпали.

Хорошо в столовой, а пора уходить. Пораньше бы поспеть к другу Николаю и у него переночевать.

На улице темно и холодно, ветер гонит по тротуару листья, облетевшие с деревьев. Литейный, Невский, Московский вокзал. И так неожиданно:

— Стрепухин! Не узнаешь!

— Гейллер, неужели?

— Он самый. В другом месте принял бы за привидение?

— Принял бы. До-ошел. И это в начале войны. Не кормят, что ли, инженеров?

— Ребята. Все им да им. Сами с женой на одном бульоне. Ты уж прости меня, тороплюсь. Побыл дома часа три — и опять в цех. Поговорить бы. Прости уж.

— Подожди. На вот.

— Что это?

— Котлетка.

— Да ты...

— Бери, бери.

— Это же, это. Немного добавить и можно часы...

— Часы у меня есть.

— Самому потребуется.

— Не валяй дурака. И давай без балды.

— Спасибо, спасибо. Как во сне...

Через Лиговскую Стрепухин вышел на Обводный. Трамваи уже не шли. Город выглядел безжизненно без их бодрого звона. Долго тянулась пустынная и грязная лужа, пока ее не перерезал широкий, как площадь, и бесконечный Международный. Трампарк, Дом Капранова. Но где же Московские ворота? Ах, разобраны. Вон они, чугунные ребристые трубы, заложены в баррикаду.

Знакомый двор — тесный, квадратный, небо видно как

из колодца, тусклое небо без звезд. В полной тьме отсчитал Стрепухин пролеты лестницы, нащупал кнопку звонка и нажал. После долгой паузы услышал слабое:

— Кто там?

Это Евдокия Сергеевна, соседка Николая. Начались обычные в таких случаях разговоры:

— Ах, Федор Платоныч!

— Да, я. К Николаю.

— Друг твой на фронте. А семья выехала. На Урал. Да ты проходи.

В глаза бросилась с резными стойками кровать и на ней мистер Тутс.

Мистер Тутс... Так прозвал Николай Костю, сына Евдокии Сергеевны от первого брака. В отличие от наивного, но умного героя Диккенса Тутс-Костя сильно недоразвит. В шестнадцать лет он так и не смог одолеть начальные четыре класса — страдал эпилепсией, что, должно быть, и повредило его мозг. Щеки бледные — видно, парень не бывает на свежем воздухе, руки высохшие.

Евдокия Сергеевна за время войны довольно изменилась. Была пышной, сдобной, и что же с ней сталось? Грудь провалилась — кофта висит, как на доске; щеки были полные, не ущипнуть, всегда на них играл здоровый румянец — теперь посерели, словно вобрали в себя земли, и стали в рытвинах. Она запричитала:

— Разве думали-гадали? Как вспомнишь — масло, крупа, сколько душа желает. Дура я дура, не припрятала ни муки, ни колбасы копченой. Ах, колбаса... Могла бы лежать два года, ничего бы ей не стало. Да кто же знал. Кто знал...

— А паек?

— Что паек? Эх, Федор Платоныч. Что этот паек. С каждой неделей все урезают и урезают. Но и это не все. Домашняя неурядица меня съела, присосалась вот сюда, к шее, и никак ее не оторву. Отделил нас Григорий. Как

же, отделил. У него рабочая норма — и крупа, и мясо. И сам здоровый. Да что ему — на целых пять годов моложе. На мои комнаты польстился. А теперь послушай его — что говорит, что говорит...

Оживился и мистер Тутс, перебил мать:

— А у меня мячик. Вот. — Достал из-под подушки черный, величиной с небольшую картофелину, мячик. — От Витьки Гончарова. Знаете Витьку? Убило.

— Перестань, Костенька. Вредно много болтать. Так мой-то Григорий вот что говорит. Я, говорит, на оборону работаю. Не полагается мне терять силы. Если все мы, работяги, отощаем, кто же будет на фронт снаряды подавать? Ему, видишь ли, нельзя тощать. А нам можно. Если и совсем нас не будет — оттого жизнь города лишь улучшится. Вот как смотрят на нас.

— Завтра масло. — Это снова мистер Тутс. — Ведь правда, мама, дадут?

— Целую неделю обещают, сынок.

— Намажешь мне хлеба? Мам, намажешь? И чай с сахаром.

— Полежи тихо, дорогой. Подумать — оборона. Ее надо укрепить и поддержать. Двенадцать часов в цехе, силы нужны. Ну а сын, сын-то, он же хворый. — Лицо ее сморщилось, но глаза остались сухи.

— Мам, дай кусочек хлебца. Маленький, маленький.

Сухой паек. Получи его Стрепухин вчера, разве не смог бы осчастливить хотя бы на короткое время семью эту. Почему не пошел в Экипаж? Выдали бы по аттестату. Теперь уж поздно — пропал паек на весь день.

— Пятьсот грамм ему дают. На одного столько хлеба, господи. Нам на двоих меньше. И еще приварок ему... — Евдокия Сергеевна села, покачнулась, как бы желая упасть. — Ничего, ничего. Вот вспомнила про приварок, и голова пошла кругом. Затошнило. Сторожихой теперь хожу. Ой, господи, все для него вот, для него.

Говорила Евдокия Сергеевна жалостливые слова, а на сына глядела тупо, бесстрастно. Мистер Тутс похож был на больного птенца, переросшего мать, был в гнезде, чирикал и широко разевал рот, требуя еды:

— Мам, кусочек, малюсенький...

Отчиму его надо сохранить силы. Он выполняет большую цель, хотя и дальнюю — собирает бронепоезд. Ему и хлеб, и приварок. Малая, ближняя цель — делиться паем со своей семьей... Делиться?.. Разве это определено законом? Каждому свое.

Не так ли поступил и ты, Стрепунин, там, на Ореховом берегу? Ради большой цели пренебрег малой — не пошел выручать Лоблова. Теперь ждешь возмездия и считаешь себя глубоко несчастным. Разве не сам ты отлил котел, в котором будут тебя варить?

Нет, нет. Он, Стрепунин, поступил совсем не так, как поступает Григорий — муж Евдокии Сергеевны. Стрепунин не преследовал личной выгоды. Если бы надо было, то он, он...

Тягостно тут. Спеши, Стрепунин, на свежий воздух.

Стружки не дают жару

Стены и простенки завешаны шторами из ткани, кажется очень плотной и очень тяжелой. Конечно же, под шторами секретные карты. На какой-то из них отмечен значком десант на Ореховый берег.

Томительно сидеть и ждать допроса. Смотрит Стрепунин на шторы в глубоких складках, на молодого щеголеватого подполковника и чувствует, как по всему телу разливается зеленая тоска. Рядом сидит Кудряшков — подтянутый и ненавистный. Все противно Стрепунину, что связано с Лобловым. Даже мертвый тот был чем-то опасен. Чего медлят, тянут потихоньку жилы, допрашивали бы скорей — нервы не выдерживают. Как он, Стрепунин, измотан! Уж к одному бы концу скорее.

Подполковник вежлив, пожалуй уж чересчур. Где-то Стрепухин слышал выражение — убивает мягкостью. И убьет.

— Вам, как я вижу, надоело сидеть. Посмотрите вот «Ленинградскую правду».

Экземпляр «Ленправды» всего один, и подполковник подает его Кудряшкову, как ближе сидящему. А может быть, и по другой причине, как знать. И снова говорит так мягко, успокаивающе:

— Теперь уж скоро. С минуты на минуту заявится.

Действительно, дверь отворилась, и в комнату не вошел — влетел пожилой и плотный полковник. У него бритая голова, и она сильно напоминала седло. Спросил на ходу:

— Что с левого берега, Петрович?

В тоне вопроса и раздражение и тревога, дескать, сам знаю — ничего радостного ты не сообщишь, да и догадываешься — спрашиваю я лишь для очистки совести.

Петрович отвечает:

— К моему сожалению, ничего утешительного.

— Так и ничего? Из Синявина?

Петрович крутит головой.

— Из Назии?

— Вот, сами смотрите. — Петрович проворно положил пачку исписанных листов на стол, за который уселся полковник, и стал в почтительной позе, пока тот бегло переворачивал листы.

— Что же я доложу хозяину? — полковник капризным жестом отодвинул бумаги. — Что доложу?

— Подождем. Простите, как прошло вчера?

— Здорово пропило. Не будь голова моя бритой — волосы стали бы дыбом.

— Говорят про полковника Гореватова. Неужели правда?

— Да, вместе с комиссаром.

— Не слишком ли?

— Отдан приказ. Его надо выполнять. Иначе превратится в пустую формальность. В Древнем Риме в таких случаях — каждого десятого, по жребию...

Полковник осекся. Только сейчас, видимо, вспомнил про посторонних и понял — сказал лишнее.

«Каждого десятого. По жребию». Что там делали по жребию? Казнили, конечно. Да и сам ты читал об этом. Плохо твое дело, Стрепунин...

Неприветливо, очень пытливо осмотрел полковник ладожцев, особенно Стрепунина, и резко спросил:

— Из флотилии?

— Оттуда, — подтвердил Петрович.

Несимпатичен был Стрепунину этот полковник — голова седлом и лицо переломлено в переносице, подбородок прыгнул вверх, а лоб навис козырьком; нос широкий и плоский, не нос — лягушка. Небрежный тон, подозрительный взгляд — какого сочувствия можно ждать от этого Скалозуба? Живьем тебя проглотит и не поперхнется, не почувствует.

— Сколько вышло? Я спрашиваю — сколько вышло вас с Орехового берега?

Зачем спрашивает? Не это же его интересует, не это.

— Семнадцать, — ответил Стрепунин, вскочив. — Из них раненые. Это из моей группы. Из моей.

— А всего, всего-то?

Совсем другим он занят, совсем другим.

— Еще трое.

— Сколько же высадилось?

Вопрос и злой и ненужный. Так судья у подсудимого спрашивает фамилию, которая у самого в зубах навязла.

— Двести человек высадилось... должно быть.

— Только двести! Да еще должно быть. Вы слышите, Петрович? Они высадили двести. Бросили горсть стружек в огонь. Неужели не понимают — стружки не дают жару.

Одно вспышкопускательство. Всего лишь двести. И это послала флотилия! Да вас...

Слово «вас» Стрепунин отнес к себе, но что надо с ним, со Стрепуниным, сделать, полковник не досказал. В проеме двери вырисовался капитан, который и овладел вниманием полковника.

— Давайте! — нетерпеливым ребенком крикнул полковник, протянув руку к капитану и всем корпусом подавшись к нему, словно у него было избавление от какой-то катастрофы.

Да и сам капитан еще от двери протянул в сторону полковника папку, которую нес, и шел за ней, как за приманкой.

Папка на столе. Место перелома — выемка — полковничьего лица начало вдруг заполняться, подбородок как бы отодвигался вниз, а нос-лягушка стал вытягиваться, тончать.

— Где подтверждение? — бросает полковник, как и раньше, строго и нетерпеливо, но в его движениях, теперь живых, непринужденных, и голосе уже чувствовалась перемена — радость. — Поторопитесь!

Все заторопились. Капитан побежал вон из комнаты, полковник нетерпеливо складывал бумаги в красную папку, оставленную капитаном, Петрович подкладывал полковнику свои бумаги, ладожцы охорашивались.

Телефон отбил резкую трель. Полковник уверенно поднял трубку.

— Да. Слушаю. Бегу.

Поправил полковник китель, портупею, кобуру, провел рукой по голове, как бы отбрасывая назад волосы, которых не было, взял красную папку и сказал:

— К нему. К хозяину.

— Ни пуха вам, ни пера, — напутствовал Петрович.

У хозяина

Сколько раз полковник был в этой приемной, а не может привыкнуть — всегда пульс на руке начинает здесь учащеннее биться, прислони палец, так и отдается: тук, тук, тук... Обо всем забываешь — о жене, фронтовом сыне... Вот и теперь подтянулся полковник, вздыбился, как новоиспеченный лейтенант на параде.

Адъютант предупредительно:

— Ждет вас. Проходите.

В приемную вбежал запыхавшийся капитан, тот, который принес раньше полковнику красную папку.

— Подтверждение, — сказал он, вручая полковнику лист исписанной бумаги. — Чуть не опоздал.

По мягким коврам неслышным шагом прошел полковник к двери, обитой черным дерматином, и надавил на ручку. Дверь подалась.

Хозяин был не один — беседовал с генералом, в петлице которого красной эмалью отливали три звездочки, а на груди сверкали ордена и медали.

— Простите, — поспешил полковник, подаваясь назад.

— Проходите, — сказал хозяин и скупым жестом головы указал на стул.

Полковник сел и стал прислушиваться к разговору.

— Орден Красного Знамени получен вами под Перекопом?

— Под Уфой, — ответил генерал.

— И Звезда. Хорошо-о. Только ордена Ленина нет. Жаль, очень жаль.

— Не заслужил еще.

— Заслужите. Сам приколю. Вот сюда. Если... если доставите мне два боекомплекта.

Генерал с тремя звездочками в петлице виновато ворочается, кряхтит, трет покрасневшую переносицу.

— Боюсь, очень боюсь. Ладога не выдержит. Большая часть судов хлебом занята.

— Два боекомплекта...

— И все баржи под продовольствием. Причалы неимоверно перегружены...

— Два боекомплекта. Не подадите... — И так ласково, по-домашнему: — Я говорю — не подадите к указанному сроку двух боекомплектов — выну из вашей петлицы одну звезду.

Седой генерал смеется — деланно, хотя и басовито.

А тот по-прежнему так задушевно:

— Поверьте мне, поверьте, Виктор Васильевич, я вас глубоко уважаю, больше того — люблю, и слово свое сдержу.

— Что мне ответить? Постараюсь. — Генерал опять улыбается.

— Вот и договорились. И я постараюсь. Будьте здоровы, дорогой мой.

Вышел генерал грузным, сгорбленным, так и чувствовалось — на спине у него непосильная ноша, и она его давит, прижимает к земле.

Но что такое война? Это и есть непосильная ноша на плечах всего народа: надорвется — погибнет, выдюжит — победит.

Звонкий, чуть скрипучий голос хозяина прервал мысли полковника:

— Давайте сюда все хорошее.

Тот передернулся, встал.

И здесь на стенах висят шторки. Полковник подошел к одной из них, взял тут же стоявшую у стены указку — должно быть, дело привычное, отдернул шторку и начал:

— В это вот болото, за Шлиссельбург, передвинут горноегерский полк.

— Что? — Хозяин потянулся головой к полковнику, видно взбудораженный сообщением.

— Да, полк. Снят отсюда вот, из-под Колпина.

Плохо веря этой новости и боясь ее потерять, хозяин говорит:

— Вы не путаете?

— Донесение получено из Назии. Проверено по двум линиям. Одна из них — достоверный источник.

— Так-так. Передвинули все же. Так-так.

В окно пробился луч солнца, горсть звезд в петлице хозяина заиграла пурпурными переливами.

— В каком составе этот полк?

— Состав полный. Усиленный. Не менее пяти тысяч. — Осторожно, в предположительной форме полковник указывает на причину, вызвавшую передвижку немецких войск: — Должно быть, сыграли свою роль ладожские десанты. Так я полагаю.

— Они, — охотно подтвердил хозяин. — Они. Хоть и морочили ладожцы нам голову своим штормом, а вот сумели же высадить. И еще сумеют.

— На этот раз выдалась хорошая погода.

— А хоть и плохая. — В тоне хозяина появились твердые ноты. — Нужно было привлечь внимание к Ореховому берегу. Несмотря ни на что. Кто командовал десантом?

— Майор Лоблов.

— Не знаю такого.

— Он из резерва. Погиб на Ореховом берегу.

— Представьте его к ордену. К Красной Звезде. Нет. К Знамени. И других представьте — наиболее отличившихся. — Не вытерпел, поднялся, размеренным шагом подошел к карте. — Та-ак. Передвинули. И еще передвинут. Я заставлю тебя, господин фон Лееб, рассосать свой центр. Врешь — и еще передвинешь свои части на фланги. И к Шлиссельбургу и... Да, что слышно, полковник, про третий десант у Петергофа?

— Вышли семеро.

— И что же?

— В Ораниенбауме они. Срочно затребовал их сюда.

— Та-ак. Вышли. Хорошо. Послать четвертый десант. Завтра же. Я заставлю тебя, фон Лееб, оттянуть силы и к Финскому заливу. Заставлю! А теперь продолжайте ваш доклад...

И ты хорошо воевал

В свой кабинет возвратился полковник отяжелевшим и увядшим. К самой двери Петрович бросил ему тревожный вопрос:

— Что?

— У-уф! — Не сел полковник, упал на стул.

— Плохо?

— Ой, дайте отдышаться.

Как сидит полковник — широко откинув назад седлоголову, как перебирает бумаги — твердо, возможно, горделиво, — по всему заметно: доклад сошел как нельзя лучше.

— Сюда, лейтенант, — говорит полковник. И какой голос, какой твердый голос, хоть строевым шагом иди. Сам сдвинул в сторону шторку. По стене разлилось Ладожское озеро — синее, огромное. Вон и залив, омывающий Ореховый берег. Крепость, город, четкие — прямые с изломом — линии каналов, маяки в хорошо вырисованном виде — все так выпукло и в непривычно большом масштабе.

Загрустил Стрепунин — карта закрыла от него передряги в штабе флотилии и самого полковника. Перед ним была его группа...

— Говорите, лейтенант, как шли к озеру, когда повстречали немцев, на чем переправились через каналы. Вспоминайте и вспоминайте, не пропускайте самой малой подробности. А вы, Петрович, все на карандаш, на карандаш...

— Готов, готов.

Сызнова Стрепунин переживает бомбовые удары, всю ту катастрофу неба, бесконечный переход через камыш в ледяной воде, вдохновенное нападение на артбатарею — это всегда приятно вспомнить, — потрясение у аэродрома, тревожное бегство к озеру, гибель Мормышкина, Погорелого...

— Форсировали каналы? Прекрасно, лейтенант, прекрасно. Лучше бы и сам адмирал Макаров не переправился. Погромили батарею? Замечательно! «Стопятка»? Довольно смело вы. Вторую ночь порешили напасть на аэродром?

— Не удался наш набег. Ждали нас там.

— Еще бы не ждать! Разгромили артбатарею, оставили убитых и раненых. И не ждать! Нельзя так плохо думать о противнике. Сколько оставили на батарее?

— Шестерых.

— Вот видите! И после этого не ждать.

Кудряшков смотрел на Стрепунина жадно и с сомнением. Да тот ли перед ним человек, которого он обозвал предателем? Разгромил батарею, напал на аэродром. Можно ли верить?

Полковник допытывается:

— Минирована прибрежная полоса? Это ново. На особую заметку, Петрович.

Когда Кудряшков заменил Стрепунина у карты Ладожского озера, полковник закричал:

— Э-э! Вон вы какой! В сторону, в сторону — всю карту загородили.

При рассказе Стрепунин не стеснялся формой изложения — грустил, негодовал, сомневался, все искал истину, ради которой высаживался на Ореховый берег. Иначе докладывал Кудряшков. Он перенял манеру начальника полковой школы говорить объективно, бесстрастно, излагая только голые факты.

— Высадились в воду у Орехового берега в шестнадцать сорок. Вышли на берег в ... Встретив неодолимое водное препятствие в виде канала, повернули влево и форсированным маршем устремились к фронту. Не выдержав убийственного арт-минометно-пулеметного огня и превосходящих сил врага, отступили и укрепились...

Незаметно, незаметно полковник стал сбивать рассказчика, задавал ему вопросы, просто разговаривал с ним. Кудряшков противился, все порывался выйти на прямую дорогу сводки, а полковник властно уводил его на извилистую и неторную тропу естественной речи.

Увлекся. Не Кудряшков — полковник. Интересовался самыми малозаметными деталями боя лобловской группы.

— Так и ни разу не атаковали вас с фронта?

— Только в самом конце. Такие действия со стороны фашистов были непонятны.

— Понятны, младший лейтенант, очень понятны. Боялись — последует атака наших войск с фронта.

Ладожцами все пересказано, полковником выслушано, подполковником записано.

— Если бы я планировал операцию вашего десанта, — делает вывод полковник, — то лучше, чем получилось, не придумал бы. Замечательно же получилось, что десант разделился. Много вы там шуму наделали. Хорошо воевали. Отлично! Представлю к награде обоих командиров десантов — подполковника Фрумина и майора Лоблова. Обоих к ордену Красного Знамени. И вас — поочередный взгляд на Стрепунина и Кудряшкова. — И вас представлю. К Красной Звезде. Скажите своему начальнику штаба — пусть укажет лучших. Нет — сам напишу.

Неожиданная милость свалилась на Стрепунина — такое может доконать совсем. Вон как он осовел, отвалился на спинку стула, задрожали ноздри — ну, удержись же от слез!

Удержался.

Новая встреча с подругой

От Гостиного двора далеко просматривался плес Волхова. Река в любую минуту, казалось, должна выйти из своих низких берегов — вот разольется и затопит базарную площадь, улицу Карла Маркса и весь город. Так представилось Софе, долго любовавшейся рекой. Надоело стоять, пошла вдоль Гостиного. Ухо резанули слова:

— Не знаешь Ноны?

— Не знаю.

— Как же не заметить такой ягодки — румяная, глаза враздрай и пышная, прямо букет сирени.

Разговор вели два матроса, оба в бушлатах, у обоих на рукавах красные якоря, перевитые такой же красной молнией. Матросы, как по команде, браво поздоровались с капитаном третьего ранга — полным, уже отяжелевшим, с небольшим брюшком — и продолжили свой непринужденный разговор:

— Видел?

— Кто это?

— Мусулахин. Нона у него ВМЖ.

— Что-то?

— Да вон и она. А ну — живо параваны в воду и правым галсом...

— Э, да она — матрос.

— Саламандра. Паек нужен — вот и перекрасилась.

— Ее не затралишь. Фуфыра такая.

— Подсекали и почище ее.

Нона была наполовину в синем — шапочке и блузе, которая являла собой что-то среднее между матросской фланелевкой и кителем, и черном — юбке, чулках, туфлях. В этом наряде она терялась среди моряков.

Софа шла к ней, прикрытая матросами, она забыла все грязное из их разговора.

Матросы преградили Ноне путь. Один из них церемонно ее приветствовал:

— Морской царевне — двадцатипушечный салют!

— Ноночка, — вторил другой.

Было заметно, как со щек Ноны сползал румянец, подрагивали губы, готовые выплюнуть в матросов уничтожающие слова. Только звуки застряли во рту — Нона увидела Скорнякову.

Теперь заметили Софу и моряки, как-то сразу присмирели, накренили бескозырки, одернули бушлаты и незаметно, незаметно растворились в толпе.

— Нона, милая, здравствуй! — Софа бросилась, как и в Осиновце, на шею подруге.

Скандальная встреча с матросами разбередила, размочалила Нону. Пристают без стеснения и днем, как к уличной девке. И делают это на глазах у Софы. Потому-то Нона, вопреки горячности подруги, отвечает сдержанно — губы улыбаются, а руки вялы. От Софы не ускользнула эта противоречивость подруги, и она стала ее успокаивать:

— Не волнуйся, Ноночка. Стоит ли из-за всяких грубиянов...

Начала Софа припоминать грязные намеки матросов и фамилию. Фамилия его...

— Ты похудела, — говорит Нона. Надо же о чем-то говорить. — И-и стала какой-то другой.

— Эх, Ноночка, что со мной было!

Они свернули с главной улицы и пошли задворками к Старому каналу.

— Сколько там осталось...

— Да, слышала.

— Почти все наших лет, ну на год, на два постарше, а ко мне, как к матери. — Рот Скорняковой скривился, заморгали глаза, она вынула платок. — Ты уж прости меня, не могу без слез... Все там полегли. А я вот жива...

— Ну, не одна ты. Стрепунин тоже. Говорят, он вас будто бы предал?

Стрепунин — шип в сердце Софы. Она уже не плачет, только носом шмыгает, как ребенок, да вздрагивает покатыми плечами.

Нона свое:

— Никогда бы о том не подумала. На вид такой — хоть молись на него. Не думала.

— И я... Я не думаю. Не-е может он этого. — На языке опять вертится фамилия командира, названная матросом. — Нет, Стрепунин не таков.

— Сколько раз говорила я тебе, Соня, наивная ты и доверчивая, если уж раз определила, то навсегда. А люди меняются, особо в такие тяжелые дни. Так и твой Стрепунин.

Вспомнила — Мусалов. Спрашивает:

— Нона, ты не знаешь, кто такой Мусалов?

На той вздрагивает куртка.

— Мусалов? Не-ет.

— Может быть, и не Мусалов, а... а...

— Мусулахин?

— Да, да. Слышала я, будто бы ты на службе.

— Служу. Кто тебе про Мусулахина?

— Кем ты служишь?

— Сказать?

— Разве это тайна?

— Раненых ты на фронте вытаскивала из огня, с десантниками весь берег прошла, а рассуждаешь, как трехлетняя девочка. Та спрашивает: «Мама, почему одна лошадка рыженькая, а другая черненькая?» Так и ты.

— Может быть, может быть.

— Да, Софа. Ты и смотришь, а ничего не видишь. Слепая ты... Живу я с этим Мусулахиным. Ты слышишь — живу.

— Э-а, о-он холост?

— Жена и двое детей.

— И-и как же...

— Вот так — бросит меня при первом же случае. — Нона говорила в страстном ожесточении. — Поэзия, большая любовь — все это хорошо в романах... Надоем я ему или кто сверху прикрикнет, и он меня бросит, как пустую бутылку из-под водки.

— Так зачем же? Могла бы в телефонистки, санитаркой...

— Надо выжить. И я выживу!

Подруги как-то сразу не столько поняли умом, сколько ощутили сердцем, что в разговоре зашли в такие тайники, куда не следовало бы и заходить. Сказано все, и все исчерпано, в чувствах подруг появился едва ощутимый, но очень неприятный холодок. Нона заторопилась, сказала:

— Прости, Софа, но мне пора.

Та ее не удерживала. Прощаясь, не целовались — лишь вяло притронулись рука к руке.

Что-то утратила Скорнякова. Не могла она освободиться от чувства утраты чего-то дорогого и невозвратного. И было горько до слез.

Возвращение

Вагон расхлябанно шарахался туда и сюда, туда и сюда. Стрепунин как бы дремал, зажатый телами. Он был в Ленинграде и видел — фашистам его не одолеть. Наблюдал великие тяготы людей, разрушения и смерть, только не встречал безнадежности.

Тот капитан, с которым Стрепунин обедал в ДКА, не перестанет завертывать кусочки хлеба в газету, а службу так же будет нести, как и пес.

Умрет полудитя-полуидиот мистер Тутс, но завод, на котором работает его отчим, не уменьшит выпуска военной продукции.

Умрет, может быть, и инженер Гейллер. Его штатная единица останется, пожалуй, неукомплектованной — некем. Обязанности Гейллера переложатся на его товарищей, оставшихся в живых, которым придется еще более напрягаться и работать до полного износа.

В сердце Стрепунина болезненно отдаются слова молодой женщины: «Отец у меня поляк, а мать — немка. Кто же таким сейчас верит? Хотела на фронт, кем угодно: стрелком, телефонисткой, санитаркой — не берут. Устроилась грузчицей. В Осиновец еду, возможно, там и осяду...»

Переживет такую невзгоду Ленинград. Переживет город и этот невыразимый крик — нутро выворачивается:

— Карточки, карточки! Украли! Люди, дорогие, украли! Здесь он сидел, здесь, со мною рядом. Дети мои родные. Что я с вами сделала? В могилу, сама вас в могилу...

Женщина не просила помощи, она чувствовала свою обреченность и фанатично отдавалась ей.

Ладожское озеро Стрепунин пересек на тендере. Зачем бы торопиться в Новую Ладогу? Никто там о нем слез не проливает. Кто знает, может, сам грустит о ком-нибудь втихомолку? Поэтому и не стал дожидаться ночи, когда с комфортом смог бы пройтись на каплодке или сторожевике и выспаться в кают-компании на кожаном диване. И уж конечно, съесть горячий ужин. Зачем ждать ночи — залез в трюм, набитый станками вперемежку с людьми. Было в трюме темно. Кто-то сидел на ноге Стрепунина, и сам он был прижат к теплому боку не то девушки, не то старухи.

С палубы донесся разговор женщины с мужчиной.

Она: Неужели меня оставите?

Он: Некуда вас. И так набил, как шпроты.

Она: Одна я. И почевать негде.

Он: Ладно, лезь. Утрясетесь.

Она: Вот спасибо. Только...
Он: Что еще?
Она: Если самолеты?
Он: Ничего, дотопаем.
Она: А вдруг станут бомбить?
Он: Вам легче всех — вы крайняя.
Она: Так что же я?
Он: Выберетесь и...
Она: Что и?
Он: И в воду. Нижним не выбраться.
Она: В... в воду? Нет уж, без меня топайте. Ночи дождусь.

Тендер отчалил. Волна бранчливо забила ему в грудь. Начался переход по водным холмам и ухабам. Стрепунина убаюкало, он впервые за много дней крепко уснул.

Суденышко благополучно «притопало» в Кобону. В какой уж раз Стрепунин встречался с каналом! В нем деревья любовались своими отражениями. Было тихо и тревожно. В суровой однообразности канала имелась своя красота. Плывет пароход в Новую Ладогу. Вокруг неяркая природа. Сознание невольно делит канал на две части: нашу и не нашу. А канал-то единый. И весь наш. И будет нашим!

Новая Ладога. От пристани до улицы Карла Маркса какая-нибудь сотня шагов.

Виноватый женский голос остановил его:

— Простите, товарищ лейтенант. Я так хотела, так хотела вас...

Не сразу Стрепунин признал жену мичмана Хомутова. Она была без ребенка и выглядела старше, чем два дня назад. Лицо заострилось, нос еще больше вытянулся, резче обозначились рыжие пятна и на щеках и на лбу.

Они свернули в тихий переулок, остановились у палисадника, и она заговорила:

— Встречалась я с вашими... вашими десантниками. Но скажите сами. Хочу слышать вас...

...Лоблова представили к ордену. И его, Стрепунина, представят...

— Скажите, могу ли я надеяться?

...Мичмана Хомутова наградят. И Мормышкина тоже. Только наградят их посмертно.

— Хотя бы иметь самую слабую мечту, что он когда-нибудь, после войны.

...На каких весах взвесить и каким аршином измерить величину подвига...

— Могу ли?

— А... Что?

— Вы...

— Да, я плохо слушал. Пожалуйста...

— Не извиняйтесь. У всякого свое горе.

— Пойдемте — все расскажу.

Они оставили за собой переулок и уперлись в Старый канал. Все канал. Почему бы не пройти на берег Волхова? Нет, как магнитом тянет к этой луже, хмурой, пустынной. Трава на берегах пожухла, деревца торчат хворостинками.

— Не сошлись мы с мичманом. Как-то странно вел он себя на Ореховом берегу. Был скрытен, неразговорчив. Тогда не понимал я его.

— А теперь?

— Предполагаю — ваш приезд его угнетал.

— Он ждал меня в день высадки десанта. Да я замешкалась с получением пропуска. Обещал переправить через озеро, а пришлось одному переправляться и не в то место, куда хотел.

Она закрыла платком глаза.

Стрепунин не стал ее утешать — так будет лучше, пусть отгорюет.

— Все рвался он на соединение с первой группой. Мы

там случайно разъединились. Вот он и... Должно быть, считал — вместе легче пройти через фронт. В заслоне остался добровольно. Автомат у него был — один мог сдержать большую группу немцев. Если говорить откровенно... Вас как?

— Зовите просто Шура.

— Для меня, Александра, все бойцы — это пальцы на руке. Отрежь любой — одинаково больно.

— Его же никто не видел убитым.

— И не надо видеть.

— Как вас понимать?

— Вы давно замужем?

— Три года. Как стал сверхсрочником, так и пожепились.

— Срок достаточный. Характер его, наверное, изучили.

— Еще бы.

— Так вот.

— А-а, характер. — Отвернулась и задергала головой. — Простите, слабая я. Характер. Зачем вы напомнили о его характере? Отняли у меня последнюю надежду. — Во взгляде ее шевелилась ненависть. — Зачем?!

Стал злиться и Стрепунин. На войне и пуля, и снаряд выхватывают людей без разбора, как доброго, так и негодяя. Но раньше других все же погибают честные. И он сказал:

— Зачем, зачем. Да затем, что муж ваш пришелся не по характеру мне. Не по характеру. Но теперь я понял, что мичман не такой, ну, не такой, чтобы...

— Да, не такой. Вы правы. Он был слишком хорош. Слишком. И мне оставил одно утешение — созпавать это. Благодарю вас. Он не передал ничего?

— Ничего.

— Еще раз благодарю. Прощайте.

Как далеко и надолго ли?

Мост через Старый канал, лента асфальта к Старой Ладоге и полноводная река. Уж не рекой ли прпнел любоваться Стрепунин? Конечно же нет. Его вниманием овладел грузовик, что стоит у одноэтажного светлого домика. Грузовик как грузовик, довольно побитый в бортах и с лысыми скатами. Ну какое тебе, Стрепунин, дело до лысых скатов? Шел бы в штаб флотилии да рапортовал начальству о благополучном возвращении из Ленинграда. И еще есть у тебя дело — большое, обязательное.

Так он и поступил — изменил курс, намереваясь идти в центр города. И замер. Заворожила группа солдат. Солдаты шли от домика к машине. Среди них выделялась девушка. Она была в черной форме. Стрепунин не успел еще определить, кто она, но уже сердце дрогнуло. Твердая походка девушки, гордая осанка и еще какие-то приметы, которые и не определить разумом, а только сердце подсказывает — она, Софа Скорнякова.

Он было направился к ней, но появились раздумья, сомнения, обида, и по мере их роста замедлялся его шаг. Совсем притормозил Стрепунин, лишь глядел жадно на грузовик, на людей, заполняющих его кузов. Не мог сойти с места.

Кто он ей, что для нее? Есть жених — Нефедов. Пропал без вести? Может вернуться. Стрепунин будет рад ему. Хоть и задним числом, а снимут с него обвинение. Пусть берет Нефедов свое счастье — Скорнякову. Он, Стрепунин, отойдет в сторону. Отойдет? Скорнякова сама его отстранит. И без Нефедова достаточно людей, кого она предпочтет Стрепунину. Подвернулся тогда Лобзов, и сразу пошла в его землянку — зазвенели стаканчики, разлилось веселье...

Зубы сцеплены, слышен их скрежет, напряжены мускулы. Так бы и перевернул эту машину. Поверила кле-

вете. Молокосос Кудряшков обозвал его предателем. Она не произнесла этого позорного слова, но дала всем своим поведением понять, кто он, Стрепунин, есть и на что способен. В сердце его одно чувство — ненависть, жгучая, всеразъедающая. Он плюнет и отвернется.

И на самом деле — плюнул. Но не отвернулся. Столбом врос на обочине дороги.

Но если Магомет не идет к горе, тогда гора... Пошла.

Тихо погромыхивает грузовик, приближается к Стрепунину, и на нем приближается Софа.

Давно Скорнякова его заметила, и он ей затмил свет. Кто-то и что-то ей говорил, но она отвечала невпопад. На его полшага к ней, она подалась бы полным шагом к нему. Ну, выкажи он едва заметное желание, улыбнись, помани рукой.

Окаменел Стрепунин.

Разве могла она поверить в сплетню о его предательстве! Нет, и нет. До Новой Ладоги уже дошел слух — Стрепунина ждет высокая награда. Софа готова разделить его великую радость. Он обозвал ее нехорошим словом. Она прощает его — мало ли что наверется человеку на язык в пылу возбуждения — замучен, издерган, вот и не сдержался. Да, она простила его. Характер у Стрепунина строптивый, дубовый. Трудно быть человеку счастливым с такой натурой. Жаль его...

Женская жалость — не есть ли первая ступень любви?

Но и теперь Софа не отдалась полностью своему чувству. Была сила, которая удерживала ее от порыва к Стрепунину, может быть простой стыд.

Стоит Стрепунин твердо, несгибаемо. Машина поравнялась с ним и начала проплывать мимо — ветровое стекло с трещиной, помятое крыло, стертые скаты, ободранный кузов...

Подай же знак, Софа сразу отзовется, забарабанит рукой по верху кабины, заставит шофера остановиться.

И тогда, тогда все, что есть у нее самого теплого, самого задушевного...

Подсолнух смотрит всегда на солнце и поворачивает лицо вслед за ним. Стрепунин смотрел на Скорнякову, только на нее, видел каждую черту лица — чуть вздернутый нос, мягкую вогнутость подбородка, напряженно сжатые губы, очень крутой лоб, светлую прядь волос на нем и как ветер озорно играл этой прядью.

Проплыл грузовик мимо Стрепунина, как прекрасная мечта. Скорнякова замахала ему рукой.

Грузовик пошатнулся, легонько накренился, словно припал на одну сторону колес, и скрылся за купой деревьев. Как далеко он увозил Скорнякову, и надолго ли?

Какой-то буреи подхвачен Стрепунин, бросился за грузовиком. Добежал до поворота — машины не было. Все смотрел и смотрел вдоль дороги, ждал несбыточного.

Сердце заколотилось — возвращается грузовик, с громом и дымом спешит к Стрепунину. Верь в чудо — оно совершается!

Не та машина, другая, еще более обшарпанная и побитая.

Стрепунину ничего не остается делать, как идти в город. Надо же выполнить большую обязанность — написать письма женам, матерям и отцам тех, кого он оставил на Ореховом берегу.

Глава последняя, которая может быть первой

Десант на Ореховом берегу почти полностью уничтожен. Все ждали грозы сверху. Вдруг такой сюрприз... Кудряшков задал такого звону, что о награждении десантников стало слышно в самых дальних закоулках Новой Ладоги. Начальник штаба Баленков чувствовал себя несколько конфузливо, на время сник. Но почему, собствен-

но, он должен падать духом? Операцию обеспечивал он. Разве и его не могут отметить? Ну кто тогда мог думать, что небольшой Ладожский десант в грандиозной битве за Ленинград сыграет такую важную роль. Да кто об этом мог знать!

Идея штурмана Коваля, поддержанная командующим флотилией Чирковым, восторжествовала, очень смелая и неожиданная идея. Замыслов фронта командующий флотилией не знал, конечно. Обстановка толкнула его поступать так, а не иначе. Флотилия в прежнем ее виде не способна была высадить десант ночью. И не в том ли величие выдающихся людей, что они не придерживаются канонов и не фантазируют, а действуют, исходя из создавшихся условий, наивыгоднейшим образом используя их?

Глухая полночь. На приеме у командующего Валенков и Грибков. Зеленая папка с делом о старшине первой статьи Дубровине занимает на столе видное место.

— Затянули мы это дело до бесконечности, — говорит Грибков. — Погибла баржа и столько людей... Пока никто не в ответе.

— Да, затянулось с Дубровиным, — подтвердил Чирков. — Пора кончать. Мы сейчас это и проделаем. За тем вас и вызвал.

— Подпишите, пожалуйста, вот здесь. — Грибков пододвигает командующему зеленую папку.

— Минутку, минутку. Попросим вначале карту.

Валенков предупредительно:

— Разрешите вызвать оперативного?

— Не беспокойтесь. Я сам. Его номер один тридцать пять? — И в трубку: — Один тридцать пять? Говорит сто один. Зайдите, пожалуйста, ко мне. С картой озера...

Вскоре вошел командир с сине-белой повязкой на рукаве. Предупреждая его рапорт, командующий говорит:

— Покажите нам место гибели баржи.

Тот развернул на столе карту.

— Затонула баржа в точке широта шестьдесят градусов тридцать две минуты, долгота...

— Не надо градусы, назовите место.

— Двенадцать миль западнее острова Сухо.

— Это нам и надо. Где в это время находился дозор?

— Их несколько.

— Морской охотник пятьсот восемнадцать?

— Должен был находиться вот здесь. — Оперативный дежурный ткнул карандашом в карту.

— Северо-западнее?

— Так точно.

— На каком удалении от места гибели баржи?

— Десять миль. Но, когда проходил бой, охотника в районе дозора не было.

— А если бы он там был, что бы смог сделать? — Не получив ответа, командующий сказал оперативному: — Все. Спасибо. Идите. — И после выхода дежурного: — Теперь давайте. Подпишу. Вопрос, как видите, вполне ясен.

— Очень прошу вас.

— Вот мы и покончим со старшиной первой статьи Дубровиным. Пришло время. А тогда? Ну что я тогда — и вилки в руках не держал, и жареным не пахло, а вы, старший лейтенант, сразу подсунули мне горчицу. Дескать, ешьте.

— Что делать, товарищ командующий, служба наша такая. Приходится многих огорчать.

— Понимаю, вполне понимаю.

Командующий вытянул из деревянного лакированного стакана красный граненый карандаш и вывел на листе четко, кудревато, словно художник-палешанин:

«Не согласен.
Судить нет оснований».
Число. Звание. Подпись.

— Возьмите, старший лейтенант.

— Вон ка-ак, — протянул Грибков, и в тоне его отразилась какая-то неопределенность, двойственность. Может быть, так и должен был поступить командующий. Только Грибкову от этого не легче.

А Чирков мягко:

— Все, все. До свидания.

Как только дверь за Грибковым закрылась, Валенков выдохнул:

— О-о. Как хорошо. Хорошо-то как, м-м... Зашился я в тот раз.

— У нас опять два вопроса, — переменил тему командующий. — Перевозки и оборона главной базы...

Дубровин не знал еще, что участь его решена так неожиданно и так для него хорошо. Он в это время докладывал радиограмму начальнику оперотделения Теунову. Не успел Дубровин слова произнести, как тот вырвал у него шифровку и расписался. Лишь после этого стал читать.

Только Дубровин возвратился в пост, как где-то внизу застучали подковы по деревянному полу. Стук нарастал, приближался, как дурной вестник.

— Идут, опять идут, — проворчал Дубровин.

Пока он принимал денежу, вошел Шеронов. И зашебуршил:

— Накочегарили тут — не продохнуть. Дубровин, открой форточку. Что принесли? Из Ленфронта? Давай вдвоем ее раскатаем...

...Командующий и Валенков корпеют над планом обороны базы.

В коридоре шаги, сначала еле слышные, затем все более различимые. И вот уже дробный, очень настойчивый стук в дверь, возвещающий о чем-то исключительном.

Шеронов. Два-три широких шага, и он у стола и кладет перед командующим радужный бланк шифровки.

Стучат по стеклу дождевые капли. В дальней комнате звонит беспокойно телефон. Тикают вразнобой наручные часы. Припахивает осиной и краской.

— Новый десант, — невесело говорит командующий.

— Третий! — Это Валенков.

— Дивизию. В полном составе. На левый берег Невы, чуть пониже Шлиссельбурга.

— Где же мы возьмем эту дивизию?

— Дают. Из Невской оперативной группы.

— Слава богу, что дают. Только на что ее посадим?

Командующий Шеронову:

— Разбудите, пожалуйста, начальника оперативного отделения и пригласите ко мне.

Так заварилась новая десантная операция. Будут новые недоразумения, невзгоды, придет много печали и мало радости. Война продолжалась.

Таллин, 1964—1966 гг.

Антон Николаевич Щербаков

ДЕСАНТ НА ОРЕХОВЫЙ БЕРЕГ

Редактор *Юрий Авдеенко*
Художник *Николай Захаржевский*
Художественный редактор *Георгий Гречахо*
Технический редактор *Людмила Мельникова*
Корректор *Светлана Штынова*

Г-53137
Сдано в набор 10.1.68 г.
Подписано к печати 27.2.69 г.
Формат бумаги 70×103¹/₃₂. Печ. л. 10 (усл. печ. л. 16,4).
Уч.-изд. л. 13,812. Бумага типографская № 2.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 4/1063. Заказ 46.
Цена 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР
Москва, К-160
1-я типография Воениздата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, 3.

Цена 50 коп.